



Российская Академия Наук



ИНСТИТУТ
СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

The Journal
is published
by the Institute
for Slavic Studies
of the Russian Academy
of Sciences

Журнал
издаётся
Институтом
славяноведения
Российской академии
наук

Institute for Slavic Studies
of the Russian Academy
of Sciences



Институт славяноведения
Российской академии
наук

Slověne = Словѣне

International Journal
of Slavic Studies

Международный
славистический журнал

Editor-in-Chief

Fjodor B. Uspenskij

The Editorial Board

Iskra Hristova-Shomova, Angel
Nikolov, Maria Yovcheva (*Bulgaria*);
Milan Mihaljević, Mate Kapović
(*Croatia*); Václav Čermák (*Czech
Republic*); Roland Marti, Björn
Wiemer (*Germany*); András Zoltán
(*Hungary*); Marcello Garzaniti
(*Italy*); Jos Schaecken (*Netherlands*);
Alexander I. Grishchenko,
Ekaterina I. Kislova, Roman N.
Krivko, Sergey L. Nikolaev, Maxim
M. Makartsev, Philip R. Minlos,
Alexander M. Moldovan, Tatiana
V. Rozhdestvenskaya, Anatolij
A. Turilov, Boris A. Uspenskij,
Rev. Mikhail Zheltov (*Russia*);
Jasmina Grković-Major, Tatjana
Subotin-Golubović (*Serbia*); Robert
Romanchuk, Alan Timberlake,
William Veder, Alexander
Zholkovsky (*USA*)

Главный редактор

Фёдор Б. Успенский

Редакционная коллегия

Мария Йовчева, Ангел Николов,
Искра Христова-Шомова (*Болгария*);
Андраш Золтан (*Венгрия*); Бьёрн
Вимер, Роланд Марти (*Германия*);
Марчелло Гардзанити (*Италия*);
Йос Схакен (*Нидерланды*); Александр
И. Грищенко, свящ. Михаил
Желтов, Екатерина И. Кислова,
Роман Н. Кривко, Максим М.
Макарцев, Филипп Р. Минлос,
Александр М. Молдован, Сергей Л.
Николаев, Татьяна В. Рождествен-
ская, Анатолий А. Турилов, Борис
А. Успенский (*Россия*); Ясмينا
Грекович-Мейджор, Татьяна
Суботин-Голубович (*Сербия*);
Александр Жолковский, Роберт
Романчук, Алан Тимберлейк,
Уильям Федер (*США*); Милан
Михалевич, Мате Капович
(*Хорватия*); Вацлав Чермак (*Чехия*)

Moscow

2015

Москва

Institute for Slavic Studies
of the Russian Academy
of Sciences



Институт славяноведения
Российской академии
наук

Slověne

International Journal
of Slavic Studies

Международный
славистический журнал

Vol. 4

№ 2

Moscow

2015

Москва

p-ISSN 2304-0785
e-ISSN 2305-6754

PKP Supported by:
Open Journal Systems
PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT
<http://pkp.sfu.ca/ojs/>

SHERPA/RoMEO blue journal

Сайт / Website: <http://slovene.ru/>
E-mail: editorial@slovene.ru

Журнал включён в перечень
рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Included in / Журнал включён в:

Web of Science. Emerging Sources Citation Index
Российский индекс научного цитирования
Linguistic Bibliography Online
Slavic Humanities Index
Ulrich's Periodicals Directory
Directory of Open Access Journals
EBSCOhost
Index Copernicus
ERIH PLUS
MLA International Bibliography,
MLA Directory of Periodicals
Linguistics Abstracts Online

<http://wokinfo.com/>
<http://elibrary.ru>
<http://bibliographies.brillonline.com/>
<http://slavus.ca>
<http://ulrichsweb.serialssolutions.com>
<https://doaj.org>
<http://www.ebscohost.com>
<http://www.indexcopernicus.com>
<http://erihplus.nsd.no>

<https://www.mla.org/>
<http://www.linguisticsabstracts.com/>

Academic Editors

Fjodor B. Uspenskij (Editor-in-Chief),
Institute for Slavic Studies, Moscow
Alexander I. Grishchenko (Executive Editor),
Moscow State Pedagogical University

Ekaterina I. Kislova, Lomonosov Moscow State
University
Roman N. Krivko, National Research University
Higher School of Economics, Moscow
Philip R. Minlos, Yandex N. V., Moscow
Roland Marti, Saarland University,
Saarbrücken

Managing Editors

Alexander I. Grishchenko, Ekaterina I. Kislova,
Roland Marti

Technical Copy Editors

Ekaterina Z. Vologina, Alexandra E. Soboleva

Russian Language Copy Editor

Elena I. Derzhavina

Russian Language Proofreader

Maria S. Yakovleva

English Language Copy Editor, Proofreader

Claudia R. Jensen

Serbian Language Copy Editor, Proofreader

Milica Belogrlić

Layout Editor

Marfa N. Tolstaya

Design (2012)

Igor' N. Ermolaev

Научная редакция

Фёдор Б. Успенский (главный редактор),
Институт славяноведения РАН, Москва
Александр И. Грищенко (ответственный
редактор), Московский педагогический
государственный университет
Ekaterina I. Kislova, Московский государ-
ственный университет им. М. В. Ломоносова
Roman N. Krivko, НИУ Высшая школа
экономики, Москва
Филипп Р. Минлос, ООО "Яндекс", Москва
Roland Marti, Университет земли Саар,
Саарбрюкен

Редакторы выпуска

Александр И. Грищенко, Ekaterina I. Kislova,
Roland Marti

Технические редакторы

Ekaterina Z. Vologina, Александра Е. Соболева

Литературный редактор (русский язык)

Елена И. Державина

Корректор (русский язык)

Мария С. Яковлева

Литературный редактор, корректор

(английский язык) Клаудиа Р. Дженсен

Лектура и корректура (српски језик)

Милица Белогрлич

Вёрстка

Марфа Н. Толстая

Дизайн (2012)

Игорь Н. Ермолаев

Slovene = Словѣне. International Journal of Slavic Studies. Vol. 4. № 2. — Москва: Ин-т славяноведения РАН, 2015. — 276 с.



Все материалы журнала доступны по лицензии
Creative Commons "Attribution-NoDerivatives"
4.0 Всемирная / Journal content is licensed under a
Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/>

© Institute for Slavic Studies of the Russian
Academy of Sciences, 2015
© Authors, 2015
© Igor' N. Ermolaev (design), 2012

Contents / Содержание

Articles / Статьи

- 7 Екатерина Э. Лямина, Наталья В. Самовер (Москва). “... жили тогда в трогательной дружбе. . .”: Крылов, Гнедич и “Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”
Ekaterina E. Lyamina, Natalia V. Samover (Moscow). *Krylov, Gnedich, and Mythology of Friendship in Gogol's The Tale of How Ivan Ivanovich Quarreled with Ivan Nikiforovich*
- 36 Иоахим Клейн (Лейден). Похвала властителю: Панегирическая поэзия и русский абсолютизм
Jochim Klein (Leiden). *Praising the Ruler: Panegyric Poetry and Russian Absolutism*
- 72 Ekaterina I. Kislova (Moscow). “Latin” and “Slavonic” Education in the Primary Classes of Russian Seminaries in the 18th Century
Екатерина И. Кислова (Москва). “Латинское” и “славенское” образование в начальных классах русских семинарий в XVIII веке
- 92 Наталия В. Карева, Милляуша Г. Шарихина (С.-Петербург). Академический переводчик Василий Егорович Теплов
Natalia V. Kareva, Miliiausha G. Sharikhina (St. Petersburg). *Academic Translator Vasily Teplov*
- 106 Срђан Шаркић (Нови Сад). Утицај византијског права на средњовековно српско право
Srđan Šarkić (Novi Sad). *The Influence of Byzantine Law on Serbian Medieval Law*
Срджан Шаркич (Нови-Сад). Влияние византийского права на средневековое сербское право
- 119 Ђорђе Бубало (Београд). Време Душановог законика
Đorđe Bubalo (Belgrade). *The Era of Dušan's Code*
Джордже Бубало (Белград). Время Законника Стефана Душана
- 147 Яна А. Пенькова (Москва). Об одном маргинальном употреблении императивных форм в восточнославянских памятниках XI–XV вв.
Yana A. Pen'kova (Moscow). *On a Marginal Use of the Imperative in East Slavic Monuments of the 11th–15th Centuries*
- 159 Вадим И. Ставиский (Киев). О возможном источнике некоторых образов летописной “Похвалы” князю Роману Мстиславичу
Vadym I. Stavyskyi (Kiev). *About the Possible Source of Some Images of the Annalistic Pohvala to Prince Roman Mstislavich*
- 180 Александр В. Лаврентьев (Москва). “Задонщина”, Рязань и московская великокняжеская семья
Alexander V. Lavrentyev (Moscow). *Zadonshchina, Ryazan, and the Moscow Princely Family*

Discussions / Полемика

- 214 Сальваторе Дель Гаудио (Киев). *Украинско-русская смешанная речь “суржик” в системе взаимодействия украинского и русского языков*
Salvatore Del Gaudio (Kiev). *Ukrainian-Russian Mixed Speech “Surzhuk” within the System of Ukrainian and Russian Interaction*

Reviews/Рецензии

- 247 BĚŤÁKOVÁ M. E., VLAŽEK V., *Encyklopedie baltské mytologie*, Praha, Libri, 2012, 288 stran, ISBN 978-80-7277-505-7
Reviewed by Rimantas Balsys (Klaipėda):
Encyclopedia of Baltic Mythology in Czech, or “As Some Sleep, Others Must Keep Vigil. . .”
Рецензия Римантаса Бальсиса (Клайпеда):
Энциклопедия балтской мифологии по-чешски, или “Пока одни спят, другие обязаны бодрствовать. . .”
- 255 GADŽIJEVA S., KOVAČEVIĆ A., MIHALJEVIĆ M., POŽAR S., REINHART J., ŠIMIĆ M., VINCE J., *Hrvatski crkvenoslavenski jezik*, M. MIHALJEVIĆ, ur., Zagreb, 2014, 420 str., ISBN 978-953-169-289-2
Рецензия Татьяны И. Афанасьевой (С.-Петербург)
Reviewed by Tatiana I. Afanasyeva (St. Petersburg)
- 260 НЕЛЮБА А., РЕДЬКО Є., *Лексико-словотвірні інновації (2014). Словник*, А. НЕЛЮБА, заг. ред., Харків, Харківське історико-філологічне товариство, 2015, 220 с., ISBN 978-966-1630-27-6
Рецензия Виктора В. Шаповала (Москва)
Reviewed by Viktor V. Sharoval (Moscow)

IN MEMORIAM

- 270 Светлана М. Толстая (Москва). *Памяти академика Милко Матиčetова (1919–2014)*
Svetlana M. Tolstaya (Moscow). *In Memoriam of Milko Matičetov (1919–2014)*



“... жили тогда
в трогательной
дружбе...”:
Крылов, Гнедич и
“Повесть о том, как
поссорился Иван
Иванович с Иваном
Никифоровичем”*

**Екатерина Эдуардовна
Лямина**

Национальный исследовательский
университет Высшая школа
экономики, Москва, Россия

**Наталья Владимировна
Самовер**

Сахаровский центр, Москва, Россия

Krylov, Gnedich,
and Mythology
of Friendship
in Gogol’s
*The Tale of How
Ivan Ivanovich
Quarreled with
Ivan Nikiforovich*

Ekaterina E. Lyamina

National Research University
Higher School of Economics,
Moscow, Russia

Natalia V. Samover

The Sakharov Center, Moscow, Russia

Аннотация

Статья посвящена специфике генезиса гоголевской “Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем” (1833). Выявлен и описан ранее не рассматривавшийся аллюзионный пласт повести, связанный с литературным бытом Петербурга 1820-х – начала 1830-х гг., в первую очередь — с феноменом многолетней дружбы Н. И. Гнедича и И. А. Крылова. История этих отношений, прослеженная на обширном фактическом материале с привлечением

* Статья написана в рамках научного проекта № 14-01-0205, выполненного при поддержке Программы “Научный фонд НИУ ВШЭ” в 2014–2015 гг.

архивных данных, позволяет сделать вывод о том, что общепринятые представления о дружбе выдающихся поэтов являются культурным конструктом, сформировавшимся в кружке А. Н. Оленина, во многом по аналогии с европейски известным дружеским и творческим союзом Гёте и Шиллера. В работе формулируется и обосновывается гипотеза о том, что кончина Гнедича (февраль 1833 г.), став, вкупе с последними годами его жизни, когда их общение с Крыловым практически сошло на нет, предметом толков в литературной среде столицы, дала Гоголю пищу для размышлений о прославленной дружбе и ее плачевном финале — главной теме “Повести о том, как поссорился. . .”.

Ключевые слова

Н. В. Гоголь, “Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”, “Миргород”, И. А. Крылов, Н. И. Гнедич, дружба в культуре, литературный быт

Abstract

The paper questions the origins of Nikolai Gogol's *The Tale of How Ivan Ivanovich Quarreled with Ivan Nikiforovich* (1833) and its specific position in the *Mirgorod* collection. The authors identify and analyze an important and overlooked level of allusions of the tale—that of the literary everyday life of the Russian capital in 1820s–early 1830s, eagerly observed and “digested” by the young Gogol. The article demonstrates how and why the phenomenon of a long-term friendship between Nikolai Gnedich and Ivan Krylov, two prominent figures of literary St. Petersburg who were poets, librarians, and neighbors, was created by the neo-classical milieu of Alexey Olenin, the director of the Imperial Public Library. It also points out that the harmony of this cultural myth contrasted with the reality of the Gnedich-Krylov relationship (which faded away soon after Gnedich's retirement and his move to another apartment), a development that was certainly known to Gogol. The main idea of *The Tale of How Ivan Ivanovich Quarreled with Ivan Nikiforovich*—the sudden break in a great friendship followed by the destruction of the universe in which it flourished—seems to have been influenced by the tension created by the contrast between the men's real relationship and the myth of their great friendship. The numerous features linking Ivan Ivanovich and Ivan Nikiforovich to Gnedich and Krylov, respectively, are not to be interpreted as a case of a direct prototypicality, however; Gogol's paired friends-enemies also appear to reflect a development of themes from the Russian folklore bestiary.

Keywords

Nikolai Gogol, *The Tale of How Ivan Ivanovich Quarreled with Ivan Nikiforovich*, *Mirgorod* collection, Ivan Krylov, Nikolai Gnedich, friendship as cultural concept, literary everyday life, folklore bestiary

Гусь свиные не товарищ.

Поговорка

“Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем” (далее — ППИ) в сборнике “Миргород” принадлежит особое место. Написанная раньше, чем другие составившие его тексты, она, единственная из всех, была сначала напечатана отдельно — во второй

части альманаха “Новоселье”¹. Несмотря на то, что весь “Миргород” назван по месту действия этой повести, она контрастирует со “Старосветскими помещиками”, “Тарасом Бульбой” и “Виём” своей преимущественно сатирической окрашенностью и подчеркнутым бытовизмом². Здесь уже дает себя знать то “преследование темных сторон человеческого существования” [Анненков 1960: 78], которое вскоре станет для Гоголя центральной задачей. Отсюда — связь *ППИ* с “Ревизором” и “Мертвыми душами”. При этом уникальной особенностью повести в контексте всего творчества Гоголя является сочетание малороссийского антуража, характерного для его ранних вещей, с существенным пластом петербургских впечатлений, который остался незамеченным ни современниками, ни позднейшими исследователями.

1.

Создание повести принято относить к 1833 г. — главным образом на основании дневниковой записи Пушкина от 3 декабря с ремаркой об авторском чтении “Сказки, как Ив<ан> Ив<анович> поссорился с Ив<аном> Тимоф<еевичем>” [Пушкин, 12: 316]. К тому времени Гоголь прожил в столице около пяти лет, но в сближении с ведущими столичными писателями преуспел далеко не сразу. Известная фраза из его письма к А. С. Данилевскому: “Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я” [Гоголь, 10: 214], касающаяся лета 1831 г., отражая энтузиазм, с которым начинающий литератор переживал свое приобщение к элите отечественной словесности, содержит явное преувеличение.

Не подлежит сомнению, впрочем, что первые петербургские годы Гоголя характеризовались исключительно интенсивным изучением литературного быта столицы. Известную параллель этому процессу можно усмотреть в рассказе Анненкова о том, с каким вниманием молодой Гоголь относился к любым жизненным наблюдениям — материалу для будущей творческой переработки: “Поэзия, которая почерпается в созерцании живых, существующих, действительных предметов, так глубоко понималась и чувствовалась им, что он [. . .] мог проводить целые часы с любым конным заводчиком, с фабрикантом, с мастеровым, излагающим глубочайшие тонкости игры в бабки, со всяким специальным

¹ То есть почти на год раньше трех остальных повестей: вторая часть “Новоселья” была разрешена к печати 18 апреля 1834 г. и вышла 21 или 22 апреля; “Миргород” (цензурное разрешение — 29 декабря 1834 г.) вышел в конце февраля — начале марта 1835 г.

² Это обстоятельство обычно не учитывается при рассмотрении “Миргорода” как художественного единства (см., например: [Жуковский 1959: 74–75]), “единого текста, организованного совокупностью разных точек зрения” [Беспрозванный 2010].

человеком, который далее своей специальностью и ничего не знает. Он собирал сведения, полученные от этих людей, в свои записочки [. . .] и они дожидались там случая превратиться в части чудных поэтических картин” [Анненков 1960: 77–78]. Основным инструментом интеграции Гоголя в литературную культуру пушкинского круга, несомненно, служило освоение его устной истории, включавшей многочисленные рассказы и анекдоты о знаменитых петербургских литераторах. Мощным катализатором таких рассказов, по-видимому, послужила смерть Н. И. Гнедича в начале февраля 1833 г. Оригинальная личность поэта, воспоминания о нем и его отношениях с современниками, составлявшие, как обычно в подобных случаях, предмет разговоров в литературных гостиных, должны были произвести впечатление на такого чуткого слушателя, как Гоголь.

Одно из центральных мест в этих беседах, очевидно, занимали отношения Гнедича с И. А. Крыловым. Представление о близкой дружбе, на протяжении многих лет связывавшей обоих поэтов, бытовало в петербургском культурном обиходе с 1820-х гг.: так, В. А. Оленина, говоря об этом времени, неоднократно называет Крылова и Гнедича “неразрывными друзьями” [КВС 1982: 140, 147], а Н. И. Греч в мемуарных заметках говорит об их “тесной, прерванной только смертью, дружбе” [Греч 1857: 748]. По всей вероятности, фиксации этого представления способствовало последовавшее за кончиной Гнедича обобщение рассказов о нем, произведенное коллективными усилиями многих знавших его людей и одобренное обычной в таких случаях толикой мемориальной идеализации.

На протяжении более чем двух десятилетий Гнедич и Крылов были “отличнейшими или отличенными” поэтами круга А. Н. Оленина [Вигель 2003, I: 575]. В его доме они появились и стали своими людьми практически одновременно: Крылов около 1807 г., Гнедич — в начале 1808-го. Оба неродовитые и бедные, карьерой и благосостоянием они были обязаны именно Оленину, чрезвычайно высоко ценившему их таланты. Преимущественно стараниями Оленина на рубеже 1800–1810-х гг. оба поэта были приняты при дворе благосклонной к литераторам вдовствующей императрицы Марии Федоровны и стали известны другим членам августейшей фамилии. Как следствие, в 1809 г. Гнедичу и в 1812 — Крылову в качестве поощрения их литературной деятельности были пожалованы годовые пенсии в 1000 и 1500 рублей ассигнациями соответственно³.

³ Гнедичу он выплачивался из средств великой княгини Екатерины Павловны, Крылову — из средств императорского Кабинета. Далее все суммы указываются в ассигнационных рублях.

Благодаря Оленину оба поступили и на службу в Императорскую Публичную библиотеку. В апреле 1811 г.⁴ на вакансию помощника библиотекаря был принят Гнедич; в январе следующего года на такую же должность был определен Крылов. Вскоре они заняли эквивалентные позиции, которые сохраняли вплоть до отставки, в 1831 и 1841 гг. соответственно: Гнедич заведовал отделением греческих книг и латинским фондом, Крылов — русским фондом⁵. Важным подспорьем для обоих поэтов стали казенные квартиры с дровами, предоставленные им в жилом доме Библиотеки. Гнедич вселился туда в 1811 году, Крылов — в 1816-м, и следующие пятнадцать лет они прожили соседями⁶. Этот фактор и стал, по-видимому, ключевым для возникновения мифа о связывавшей поэтов “беспримерной дружбе” [КВС 1982: 140].

Вследствие случайного стечения обстоятельств в быту Крылова и Гнедича соединилось несколько элементов, традиционно служивших атрибутами романтического “дружества”: оба были одиноки, имели схожие интересы и занятия, много времени проводили вместе и даже жили в одном доме. Этого оказалось достаточно для того, чтобы большинство современников интерпретировали их отношения как идеальную дружбу.

Натянутость такого умозаключения становится очевидна, если обратить внимание на то, что примененная в данном случае модель дружеской связи, характерная для культуры сентиментализма и романтизма,

⁴ То есть еще в бытность директором Публичной библиотеки А. С. Строганова, при котором Оленин занимал должность помощника. Директором библиотеки он стал в октябре 1811 г., после смерти Строганова.

⁵ При этом формально их должностное положение длительное время оставалось неравным. Должность библиотекаря была предложена обоим в 1816 г., однако Крылов ее принял, а Гнедич — нет. Для Крылова это было простое повышение по службе с соответствующим увеличением жалованья с 900 до 1200 рублей. Что касается Гнедича, то он в то время, помимо Публичной библиотеки, числился также служащим Государственной канцелярии и Департамента народного просвещения и получал там жалованье, по 1200 рублей на каждом месте, в связи с чем назначение ему полного оклада библиотекаря было невозможно. Разочарованный этим, Гнедич отказался от повышения: “. . . я не желаю поступить в звание библиотекаря, не получая положенного по месту сему жалованья, а потому остаюсь на прежней вакансии и окладе” (цит. по: [Голубева 2000: 152]). Библиотекарем он стал лишь в апреле 1826 г., а полный оклад получил еще позднее, в 1827 или даже в 1828 г. [Гнедич 1816: л. 2–12 об.; Гнедич 1814–1831: л. 8–9; Голубева 2000: 153].

⁶ Современный адрес этого дома: Садовая ул., 18, близ главного здания Библиотеки. Гнедичу, состоявшему в должности помощника библиотекаря, была предоставлена квартира на последнем, третьем этаже дома. Что касается Крылова, то он вселился в казенную квартиру на втором этаже, непосредственно под жилищем Гнедича, уже будучи библиотекарем [Казенные квартиры 1816: л. 1]. Вход в жилища обоих поэтов был с одной лестницы. Площадь и планировка квартир совпадали, однако комнаты Крылова в бельэтаже имели более высокие потолки. План квартиры Крылова см. [Гордин 1969: 228].

с наибольшей полнотой реализовывалась не в зрелом, а в юношеском возрасте. Молодые друзья (обычно пара), еще не имеющие собственных семей, посвящали, подобно родным братьям, большую часть времени общению друг с другом. Таким отношениям часто придавалась аффектированная эмоциональная окраска, а душевная близость воспринималась как сверхценность (подробнее об этом см.: [Кон 2005: 83–92]). Идеализированные представления о счастливой, неразлучной жизни с другом на лоне природы характерны для русской и европейской литературы конца XVIII – начала XIX вв.; мечты такого рода встречаются, в частности, в юношеской переписке круга Жуковского и братьев Тургеневых. Иногда молодые друзья, стремясь реализовать подобный сценарий, действительно селились на одной квартире (Н. М. Карамзин и А. А. Петров, А. С. Грибоедов и А. И. Одоевский, Е. А. Баратынский и А. А. Дельвиг).

Существенно и то, что в стороннем восприятии личности Крылова и Гнедича легко “сдваивались” за счет яркого взаимодополняющего не сходства внешности, темперамента и бытовых привычек. Констатация их парности – общее место мемуарных текстов, в которых фигурируют оба поэта. Ср.: “Крылов и Гнедич [. . .] были замечательны своею дурнотою; оба высокие: первый толстый, обрюзглый, второй сухой, бледный, кривой, с исшитым от воспы лицом; но зато души и умы были превосходные”; “Одна и та же лестница, мимо Крылова, вела наверх, в квартиру Гнедича. Удобство сообщения, холостая жизнь обоих, любовь к литературе и равные отношения к гостеприимному дому Олениных тесно связали поэтов, хотя во многом великая была разница в их личности. Умом своим, всегда сосредоточенным и дальновидным, сердцем опытным и охлажденным, характером беспечным и скрытным, жизнью не деятельною и неопрятною, приемами простыми и чуждыми светскости Крылов представлял совершенную противоположность Гнедичу, который до многого додумывался медленно и не всегда верно, увлекался добрым и доверчивым чувством, любил во всем порядок и щеголеватость, старался выказать знатока общественных приличий и часто поддавался влечению самолюбия” [КВС 1982: 147, 220–221] (см. еще: [там же: 182–183, 194–195, 282; Стурдза 1851: 16; Греч 1857: 643–644]).

Складыванию в сознании современников мифа об исключительной дружбе Крылова и Гнедича, очевидно, способствовало и то, что на их отношения проецировалась другая модель – дружбы, связующей поэтов. Ее классическим образцом для европейской культуры второй четверти XIX века служили отношения Гете и Шиллера.

Немецкие поэты сблизились в зрелом возрасте, когда Гете было сорок пять лет, а Шиллеру – тридцать пять. Время юношеских дружб

для обоих уже миновало. С самого начала их соединял не эмоциональный порыв, а уважение, основанное на глубинной общности ценностей — как в эстетической, так и в общественно-политической сфере. Существенные различия в темпераменте и внешности стусевывались перед этим единством⁷. Творческий союз Гете и Шиллера существовал на протяжении десяти лет, из которых последние пять (до смерти Шиллера в 1805 г.) они прожили в одном городе. Однако превращение их отношений из факта личных биографий в идеальный образец возвышенной дружбы поэтов совершилось только во второй половине 1820-х гг. усилиями Гете, который спустя двадцать один год после смерти Шиллера добился торжественного перезахоронения его (как все тогда считали) праха в усыпальнице великих герцогов в Веймаре, а затем издал свою переписку с ним. Последним аккордом, окончательно закрепившим каноническое представление об их дружбе, стало погребение в той же усыпальнице самого Гете, скончавшегося в марте 1832 г. и завещавшего похоронить себя рядом с Шиллером. Это совместное погребение актуализировало для современников восходящую к античности культурную традицию понимания дружбы как вечного духовного союза, увенчанного загробным соединением друзей⁸.

Таким образом, миф о дружбе Крылова и Гнедича возник на пересечении двух моделей: романтической дружбы вообще и дружбы двух поэтов. Складывание и закрепление этого мифа произошло в кругу Оленина, для которого было характерно стремление выявить в русской культуре структуры, роднящие ее с культурой европейской. Неслучайно мемуаристы, больше других говорящие о дружбе поэтов (В. А. Оленина, Н. И. Греч), происходят именно из этого круга.

Соотнесение пары Крылов — Гнедич с парой Гете — Шиллер очевидным образом напрашивалось. Русские поэты, в миниатюре повторяя статус “веймарских Диоскуров” в германской культуре, занимали в оленинском кружке положение литературных корифеев — равновеликих, несмотря на бросающиеся в глаза различия. Творчество каждого, располагаясь в собственной литературной нише, было тесно связано с идейной программой этого круга. Гнедич, переводя “Илиаду” размером оригинала и подыскивая словесные и образные эквиваленты всем

⁷ Примечательно, что скульптор Э. Ритшель, автор “двойного” памятника поэтам, установленного в Веймаре в 1857 г., счел нужным в нарушение исторической правды сгладить разительный контраст между долговязым Шиллером и Гете, имевшим средний для своего времени рост и полноватую фигуру. Интерпретируя друзей-поэтов как “новых Диоскуров”, т. е. фактически как братьев-близнецов, он изобразил их одного роста.

⁸ Так, “Северная пчела” отмечала: “. . . по окончании священного обряда прах Гете опущен был в могилу, подле того места, где покоится друг его Шиллер” [Новости 1832].

деталюм гомеровского универсума, созидал для русской культуры античность как европейскую культурную матрицу. Крылов в своих баснях рисовал панораму свойств национального характера и конструировал обобщенный русский тип мышления, открывая соотечественникам широкие возможности для продуктивной рефлексии. Особенности темперамента (флегматик Крылов и “пламенный” Гнедич) также напоминали пару Гете — Шиллер.

2.

В реальности, однако, отношения поэтов были куда менее однозначны. Ни многолетней общей службы и соседства, ни совместного членства в Российской академии, куда Крылов и Гнедич были избраны в 1811 г., и в Английском клубе⁹, ни свойственного обоим профессионального интереса к театру, ни общего круга знакомств не было достаточно для того, чтобы сделать их друг для друга чем-то большим, нежели коллегами и добрыми приятелями. Эмоциональной привязанности — необходимого элемента романтической дружбы — между ними, по-видимому, не было. “Дружба их была, вероятно, основана более на уважении друг друга в литературном отношении, хотя дарование каждого из них было совершенно противоположно дарованию другого: они пели не на один лад. А вероятнее еще, короткая их связь закрепилась общим сожителем в доме Императорской библиотеки”, — пронизательно замечал впоследствии П. А. Вяземский [КВС 1982: 182].

Прежде всего, сказывалась разница в возрасте, составлявшая не менее пятнадцати лет. Напомним, что Крылову к моменту, когда он переехал в дом Публичной библиотеки и стал соседом Гнедича, было уже под пятьдесят, Гнедичу — тридцать два года¹⁰. Таким образом, они принадлежали к разным поколениям, в том числе литературным. Судя по их разговорам, зафиксированным современниками, Гнедич, осознавая эту дистанцию, обращался к Крылову на “вы”, Крылов к нему — на “ты” [там же: 66, 76].

Существенным было и расхождение в общественно-политических взглядах. Даже перестав печатно декларировать свободолобивые убеждения¹¹, Гнедич продолжал с энтузиазмом выражать их в дружеском

⁹ Крылов состоял в клубе с 1817 г., Гнедич — с 1818-го.

¹⁰ Вопрос о дате рождения Крылова по сей день остается спорным (1768 или 1769 год); Гнедич родился в 1784 г.

¹¹ Напомним, что Гнедич — переводчик “республиканской трагедии” Шиллера “Заговор Фiesco в Генуе” (М., 1803) и программной философской элегии А.-Л. Томэ “Devoirs de la Société” (под заглавием “Общежитие”, 1804), автор романа о злодействах испанской монархии “Дон-Коррадо де Геррера. . .” (М., 1803) и “антиколониального” стихотворения “Перуанец к испанцу” (1805; опубл. 1809).

кругу; Крылов же, по многочисленным свидетельствам, во второй половине жизни старательно уклонялся не только от участия в подобных беседах, но даже от присутствия при них. В тех редких случаях, когда этого не удавалось избежать, он высказывался, по-видимому, намеренно резко [там же: 71–72, 146]. Об одном таком разговоре Гнедич в записной книжке отзывается не без горечи:

Есть люди (и таков мой почтенный сосед), которые, не имея понятия об лучшем состоянии общества или правительства, с гордостью утверждают, что иначе и быть не может. Они согласны в том, убеждаясь очевидностями, что существующий порядок соединен с большим злом, но утешают себя мыслию, что другой порядок невозможен. — Соседу моему вспоминал я того императора японского, который едва не умер со смеху, когда ему рассказывали об образе правления в Голландии. Но сосед остался непоколебим как ирокезец, который понять не может, что можно было побеждать врагов, не жаря пленных [Тиханов 1884: 56–57]¹².

Тем не менее, на рубеже 1810-х – 1820-х гг. в отношениях Крылова и Гнедича был момент, когда перед ними открылась возможность для сближения, причем первый шаг сделал старший из поэтов. По-видимому, именно так следует трактовать известный эпизод, поразивший современников: немолодой баснописец два года втайне от всех изучал древнегреческий язык и наконец эффектно продемонстрировал свой успех, с листа переводя “Илиаду” к вящему изумлению опытных эллинистов Оленина и Гнедича¹³. Объяснение, в соответствии с которым ленивый, но азартный Крылов предпринял это исключительно “для удовлетворения минутной прихоти” [КВС 1982: 202], не кажется убедительным. Многие современники сделали из этой истории вывод о том, что Крылов овладел древнегреческим ради того, чтобы присоединиться к своему другу Гнедичу в переводе Гомера. О воодушевлении, которое вызвал этот шаг у самого Гнедича, свидетельствует написанное им по горячим следам, в 1820 г., стихотворение “Сосед, ты выиграл! Скажу теперь и я. . .” [Гнедич 1956: 122]. М. Е. Лобанов впоследствии отмечал: Гнедич “настаивал, чтобы Иван Андреевич, ознакомившись с гекзаметром, этим роскошным и великолепным стихом Гомера, принялся бы за перевод «Одиссеи». Сначала Иван Андреевич сдался на его убеждения и действительно некоторое время занимался этим делом. . .” Мечта о том, что два лучших поэта оленинского круга совместными усилиями совершат великий культурный

¹² Запись не датирована; вероятно, она сделана в середине 1820-х гг. Самая поздняя из датированных записей в книжке Гнедича относится к марту 1827 г.

¹³ Это произошло, скорее всего, не позднее 1820 г. Варианты истории см.: [КВС 1982: 77, 135–136, 202, 237, 403–403; Стурдза 1851: 16–17; Греч 1857: 643–644]. Достижение Крылова произвело на Гнедича особенное впечатление еще и потому, что он также выучил древнегреческий язык во многом самостоятельно [Лобанов 1842: 4].

подвиг и воссоздадут на русском языке обе классические поэмы древности, в самом деле была весьма привлекательна. Сотрудничество такого рода напомнило бы творческий союз Гете и Шиллера, в котором в наибольшей степени практически проявилась их дружба.

Однако порыв Крылова скоро остыл. Работу над переводом “Одиссеи” он бросил после 27-го стиха: “. . .видя, что это сопряжено с великим трудом, и, вероятно, не чувствуя особенной охоты к продолжению, он решительно объявил, что не может сладить с гекзаметром. Это огорчило Гнедича, и тем более, что он сомневался в истине этого ответа” [КВС 1982: 78]. Стало ясно, что Крылов не разделяет страсть Гнедича к античности, а значит, “проект” творческой дружбы поэтов, основанной на гармонически согласованном труде, ведущем к единой великой цели, оказался несостоятельным¹⁴.

На следующий год Крылов сделал еще один шаг навстречу Гнедичу — предложил ему вместе отправиться в заграничное путешествие, но тот не согласился. Свой отказ он счел нужным облечь в стихотворную форму и напечатать (“К И. А. Крылову, приглашавшему меня ехать с ним в чужие края”), введя в финале аллюзию на басню самого Крылова “Два голубя”, посвященную нежной дружбе [Гнедич 1821: 127]¹⁵. Объясняя нежелание покинуть Петербург привязанностью к неким друзьям (под которыми подразумевалось в первую очередь семейство Олениных), Гнедич мягко, но недвусмысленно отделил от них Крылова.

Многое в Крылове (его неопрятность, скрытность и сдержанность, доходившие до холодности и равнодушия, лень, склонность к карточной игре и мелочная скупость) отталкивало Гнедича. Об этих качествах “почтенного соседа” он не раз отзывался иронически, считая, что они бросают тень на блистательное дарование баснописца [Гнедич 1956: 122; КВС 1982: 136, 245, 217]. Тем не менее, в силу отмечавшейся многими современниками доброты и “благородного беспристрастия” в суждениях о литературных трудах, “чьих бы то ни было” [Сушков 1868: 68], он не позволял себе переносить на произведения Крылова свою оценку его личности.

Значение Крылова для русской культуры Гнедич сознавал ясно и относился к его творчеству с огромным уважением. Неслучайно именно

¹⁴ В жизни Гнедича это было второе разочарование такого рода. Он взялся за перевод “Илиады” одновременно с началом работы тогдашнего ближайшего друга К. Н. Батюшкова над переводом другого европейского поэтического эпоса — “Освобожденного Иерусалима” Тассо. Однако Батюшков, как впоследствии Крылов, быстро охладил к своему труду и оставил его, едва начав.

¹⁵ Ср.: “За счастьем бежа под небо мы чужое, / Бросаем дома то, чему замены нет: / Святую дружбу, жизни лучший цвет / И счастье душ прямое” [Гнедич 1956: 123] и “. . . верьте, той земли не съесте вы краше, / Где ваша милая, иль где живет ваш друг” [Крылов 1956: 31].

в его книжном собрании сохранился экземпляр “Басен” (С.-Петербург, 1819), использовавшийся Крыловым для подготовки следующего, расширенного издания [*Крылов 1819*]¹⁶. По свидетельству Плетнева, Гнедич также “выпросил” у Крылова и сберег “как драгоценность” рукопись его юношеского произведения — комической оперы “Кофейница” [КВС 1982: 210]¹⁷. В своем завещании он специально оговорил передачу этих раритетов в надежные руки [Тиханов 1884: 32]. Посмертная опись имущества Гнедича зафиксировала, что он, наряду со слепками антиков, бюстом Гомера и несколькими портретами актрисы Е.С. Семеновой, в папке с гравюрами хранил и изображение Крылова [*Опись 1833*: л. 14 об.].

При этом самолюбие не могло не напоминать Гнедичу, что в 1810-е гг. в оленинском кружке вклад его самого — переводчика Гомера — в формирование русской национальной культуры как современной, европейской оценивался выше, чем заслуги Крылова, “русского Лафонтена”. Однако на рубеже 1820–1830-х гг. ситуация изменилась. Теперь, в системе координат зрелой романтической народности, творчество баснописца стало рассматриваться как более весомое и значительное. В последний период своей жизни Гнедич имел возможность наблюдать начало неожиданно мощного взлета Крылова, которое привело к его “огосударствлению” и превращению в живого национального классика [Лямина, САМОВЕР 2016]. Когда осенью 1829 г. вышла в свет “Илиада” с посвящением императору Николаю, переводчик с горечью увидел, что труд всей его жизни, хотя и был высоко оценен знатоками и собрал причитающиеся хвалебные отзывы в прессе, не получил того общественного резонанса, который в свое время имели в Германии выполненные И. Г. Фоссом переводы гомеровских поэм¹⁸. Между тем здоровье Гнеди-

¹⁶ Подготовка и выход этого издания — “Басни Ивана Крылова. В семи книгах” (С.-Петербург, 1825) — были важным событием для всего оленинского кружка. Оленин выхлопотал на издание весьма значительную сумму [Лямина, САМОВЕР 2016], лично составил программу иллюстраций и привлек к работе над ними лучших художников и гравюров.

¹⁷ Гнедич также сохранил рукописный экземпляр нескольких басен Крылова, в 1813 г. прочтенных автором императрице Марии Федоровне в Зимнем дворце [*Крылов 1813*].

¹⁸ Создание эквиритмических переводов Гомера на немецкий язык (“Одиссея” вышла в 1781 г., “Илиада” — в 1793-м) сделало Фосса живым культурным достоянием Германии. Всеобщее признание его заслуг выразилось в пожаловании ему пенсионов сразу двумя государями — герцогом веймарским (1802) и курфюрстом баденским (1805). Последние годы жизни Фосса прошли в Гейдельберге, где он занимал необременительную должность советника университета, что позволило ему полностью посвятить себя литературной деятельности (см. [Voß 1996: 548–550]; за указание на это издание благодарим К. А. Осповата). И. Г. Фосс скончался в марте 1826 г., незадолго до того, как Гнедич закончил работу над своим переводом “Илиады”. 31 октября 1826 г.

ча стремительно разрушалось; через год с небольшим он был вынужден выйти в отставку и спустя еще год скончался.

Крылов, со своей стороны, тоже имел основания ощущать в отношениях с приятелем некоторую напряженность. С начала их совместной службы в Публичной библиотеке Гнедич, будучи значительно моложе, опережал его в награждении орденами и чинами, поскольку, в отличие от него, не бывал в отставке и, соответственно, имел большую выслугу лет. Так, первый орден (св. Владимира 4-й степени) Гнедич по ходатайству Оленина получил уже в начале 1812 г., а Крылов стал кавалером этого ордена только в марте 1820-го, когда Гнедичу в рамках того же представления чиновников Библиотеки к наградам был пожалован уже второй орден — св. Анны 2-й степени. Крылов удостоился аналогичной награды лишь в 1828 г., причем Гнедич к этому времени уже имел орден св. Анны 2-й степени с алмазными украшениями (пожалован 7 июня 1827 г.). Гнедич, не имевший полного университетского образования, был без установленного экзамена произведен в статские советники в апреле 1828 г.; Крылову аналогичной милости пришлось ждать еще два с половиной года, до декабря 1830-го.

Вскоре затем, 31 января 1831 г., Гнедич, вследствие “расстроенного здоровья”, был по собственному прошению уволен от службы. Помимо сохранявшихся за ним двух пожизненных пенсионов: за перевод “Илиады” (3000 рублей; назначен 13 ноября 1826 г.) и “во уважение к состоянию здоровья, расстроенного трудами и прилежанием к наукам на пользу словесности” (еще 3000 рублей; назначен 12 июня 1827 г.) [Голубева 2000: 222] — поэту, по ходатайству Оленина, было также обращено в пенсион полное жалованье по Библиотеке (1200 рублей). Учитывая, что ему продолжала выплачиваться пенсия в 1000 рублей, назначенная еще великой княгиней Екатериной Павловной в 1809 г., годовое содержание Гнедича в общей сложности составило 8200 рублей. Для сравнения: постоянный годовой доход Крылова на тот момент складывался из

Оленин, несомненно, имея в виду аналогию с государственной поддержкой трудов Фосса, обратился к министру просвещения А.Н. Голицыну с просьбой выхлопотать для Гнедича вспомоществование из Кабинета или казначейства на подготовку его труда к публикации [Георгиевский 1914: 131]. Уже 13 ноября Николай I подписал именной указ министру финансов: “за труды в переложении им в стихах на русский язык Илиады Гомеровою, Мне поднесенной, повелеваю производить ему в пенсион по смерти по три тысячи рублей в год из Государственного казначейства, сверх получаемого им по службе жалованья” [Гнедич 1814–1831: л. 17]. Однако если переводы Фосса оказались в полной мере востребованы развивающейся немецкой культурой, то с русской “Илиадой” этого не произошло. “Не собрав общих, заслуженных рукоплесканий, не вполне насладившись восторгами своих сограждан [...] Гнедич долго и мужественно носил в груди своей тайное сетование, и наконец, как человек, не мог скрыть его от искренних друзей своих” [Лобанов 1842: 11–12].

жалованья и пенсионна и составлял 4200 рублей (не считая гонораров). Очевидно, к этому времени относится эпизод, о котором, приводя не совсем точную цифру, вспоминает М. Е. Лобанов:

Гнедич, переводчик “Илиады”, ближайший сосед, сослуживец, всedневный соседник и добрый товарищ его [Крылова], человек высокой души и светлого ума, удрученный болезнью, оставляя службу и оканчивая литературное свое поприще, удостоился получить 6000 р. пенсии от государя императора. Вдруг Крылов перестал к нему ходить, встречаясь в обществах, не говорил с ним. Изумленный Гнедич, да и все, видевшие эту внезапную в Крылове перемену, не постигли, что это значило. Так прошло около двух недель. Наконец, образумившись, Крылов приходит к нему с повинною головою: “Николай Иванович, прости меня”. — “В чем, Иван Андреевич? Я вижу вашу холодность и не постигаю тому причины”. — “Так пожалей же обо мне, почтенный друг: я позавидовал твоей пенсии и позавидовал твоему счастью, которого ты совершенно достоин. В мою душу ворвалось такое чувство, которым я гнушаюсь”. Пламенный Гнедич кинулся к нему на шею, и в ту же минуту все прошлое забыто [КВС 1982: 76–77].

Эта размолвка произошла, видимо, в последние недели проживания Крылова и Гнедича в одном доме. По выходе в отставку Гнедич переехал в находившийся сравнительно недалеко от Публичной библиотеки дом А. К. Оливье (Оливио) на Пантелеймоновской улице у Летнего сада. Из старых знакомых его продолжали посещать Лобанов, эконом и казначей Библиотеки С. В. Васильевский, а также Оленин, однако нет никаких сведений о том, что у него бывал Крылов. Показательно также, что человека, в течение многих лет считавшегося его близким другом, Гнедич не включил в число своих душеприказчиков¹⁹. Не принял Крылов и участия в распродаже движимого имущества Гнедича, устроенной после его смерти с целью выручить наличные деньги для основного наследника, его несовершеннолетнего племянника [Опись 1833]. Впрочем, он присутствовал на отпевании и похоронах Гнедича в Александро-Невской лавре 6 февраля 1833 г. [Шимкевич 1918: 34], а весной 1835 г. в числе других “друзей и почитателей” покойного пожертвовал 50 рублей на сооружение надгробного памятника [ГЕОРГИЕВСКИЙ 1914: 135–137].

Лобанов, многолетний сослуживец и сосед Крылова и Гнедича, несомненно, принадлежал к числу людей, наиболее близко знавших обоих поэтов. Учитывая это, особенно примечательно, что он практически не пишет об их близкой дружбе. Более того, в биографическом очерке о Гнедиче Лобанов вообще не упоминает имени Крылова, называя самого себя душевным другом переводчика “Илиады” на протяжении

¹⁹ Душеприказчиками Гнедич назначил своих дальних родственников: действительного статского советника Д. П. Позняка и статского советника П. П. Татарина — и двоих бывших сослуживцев: Лобанова и С. В. Васильевского. Завещание Гнедича, отчет душеприказчиков о его кончине и исполнении ими воли покойного, в т. ч. о распродаже см.: [Тиханов 1884: 30–32].

тридцати лет [Лобанов 1842: 26]. Тема дружбы между поэтами проскальзывает только в его мемориальном очерке, посвященном Крылову, причем применительно к похоронам баснописца: “. . . незабвенного писателя положили в землю рядом с другом его, Н. И. Гнедичем” [КВС 1982: 90]. Здесь Лобанов не дает собственной оценки, но лишь повторяет газетную формулировку [Некролог 1844: 1038].

Решение о месте погребения Крылова принимал его душеприказчик Я. И. Ростовцев. За образец он, по всей вероятности, взял общую усыпальницу других идеальных друзей — Гете и Шиллера. Сблизившись с Крыловым в начале 1840-х гг., через много лет после смерти Гнедича, Ростовцев мог судить о давних отношениях двух поэтов преимущественно на основании общего мнения. Для него близкая дружба Крылова и Гнедича явно была аксиомой, не подлежащей сомнению. Миф окончательно утвердился. Более осведомленные современники (как, например, Лобанов) предпочли с этим не спорить.

3.

Возможность непосредственно наблюдать Крылова и Гнедича появилась у Гоголя начиная с 1831 г., когда он стал бывать в литературных салонах столицы. В частности, обоих поэтов он мог встречать на собраниях у В. А. Жуковского до отъезда хозяина за границу в июне 1832 г. К 1833 г., когда шла работа над *ППИ*, Гоголь, скорее всего, уже был лично с ними знаком, но отнюдь не близок.

В начале 1830-х гг. Гнедич болел и выезжал мало, однако на его общение с Гоголем косвенно указывает дарственная надпись на экземпляре “Вечеров на хуторе близ Диканьки”: “Знаменитому земляку от Сочинителя”²⁰. Учитывая большую разницу в возрасте и общественном положении, тон инскрипта выглядит неожиданно фамильярным. При этом попытка опереться на общее малороссийское происхождение для сближения с прославленным поэтом — знак очевидно неверного понимания Гоголем масштаба личности Гнедича. Тот существовал в европейском культурном измерении, по социальному статусу давно принадлежал к петербургской элите. И то, и другое практически исключало культивирование провинциальности.

²⁰ Экземпляр с этим инскриптом ныне находится в Отделе старопечатных, редких и ценных книг Национальной исторической библиотеки Украины (Киев). Как и Гоголь, Гнедич был уроженцем Полтавской губернии. Рукописная отметка о принадлежности 1-й Полтавской мужской гимназии косвенно свидетельствует о том, что книга происходит из библиотеки Гнедича, по его завещанию перешедшей в собственность этого учебного заведения. Значительно менее вероятно адресация инскрипта М. А. Максимовичу, которого Гоголь в письмах начала 1830-х гг. неоднократно называл “земляком”. Приносим искреннюю благодарность И. С. Булкиной за помощь в изучении этого экземпляра.

Крылов был для молодого Гоголя фигурой еще более труднодоступной²¹. 19 февраля 1832 г. будущий автор *ППИ* скромно присутствовал на обеде по случаю новоселья книжной лавки А. Ф. Смирдина, где Крылов сидел во главе стола и даже произнес несколько тостов [Греч 1832: л. 2]. Произведения знаменитого баснописца, без сомнения, были Гоголю хорошо известны. Так, сцена потчевания Ивана Ивановича чаем в *ППИ* аранжирована в крыловском духе, и гостеприимному до навязчивости хозяину дано безошибочно узнаваемое имя Демьян Демьянович. Однако к самому Крылову Гоголь не испытывал не только пиетета, но и сколько-нибудь явного интереса. Единственное упоминание о нем в интересующий нас период (в письме к М. П. Погодину от 20 февраля 1833 г.), выдержанное в крайне развязном тоне, строится на банальнейших клише: “Этот блюдолиз, несмотря на то, что породю слон, летает как муха по обедам” [Гоголь, 10: 263].

Схематически упрощенные и сниженные образы Гнедича и Крылова, которыми оперировал в то время Гоголь, плохо вязались с мифом об идеальной дружбе двух поэтов, несомненно, известным ему по рассказам общих друзей и знакомых. Среди разговоров, инициированных смертью Гнедича²², наверняка проскальзывали упоминания и о разговорах между ним и Крыловым, и о том, что их многолетние отношения сошли на нет после того, как они перестали быть соседями. Такие детали разрушали внутреннюю гармонию мифа, что неизбежно порождало ощущение фальши. Именно с этим может быть связано возникновение замысла *ППИ*, в центре которой стоит одно из самых высоких чувств — чувство дружбы, опошленное человеческим ничтожеством.

“Ты знаешь всех наших существователей [. . .] Они задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека. И между этими существователями я должен пресмыкаться. . .” — не так давно сетовал восемнадцатилетний Гоголь в письме к своему гимназическому товарищу Г. И. Высоцкому, называя его “единственным другом” и изливая ему самые выпренные дружеские чувства [Гоголь, 10: 98]. Та попытка дружбы не состоялась, но через шесть лет разрыв между идеалом и его земным воплощением образовал скрытый нерв повествования в *ППИ*.

²¹ Свидетельства о его непосредственном общении с баснописцем относятся к более позднему времени [КВС 1982: 255–256, 311].

²² Кончина Гнедича, по-видимому, стала для литературных кругов Петербурга толчком к обобщению разрозненных впечатлений о нем и, в частности, о его отношениях с Крыловым. Сформулированные и отточенные в те дни рассказы, не претерпев значимых изменений, были впоследствии зафиксированы в немногочисленных мемуарных очерках о самом Гнедиче, а также в составе куда более обширного корпуса воспоминаний о Крылове. Это и позволяет при реконструкции контекста 1833 года опираться на мемуарные свидетельства, записанные значительно позже.

4.

Сразу оговоримся, что Крылова и Гнедича не стоит рассматривать в качестве прямых прототипов героев *ППИ*. Тем не менее эта пара, дополнительно оттеняемая парой Гете — Шиллер, задает плотность и многоуровневость литературно-бытовых аллюзий, которыми наполнена повесть Гоголя.

Заметим, что аналогичную аллюзионную природу имеет знаменитая устная микроновелла Гоголя, относящаяся ко времени завершения работы над *ППИ* и дошедшая до нас в передаче В. А. Соллогуба. Упомянув в своих воспоминаниях о “величавости речи и приемов Гнедича, который, кажется, и думал гекзаметрами, и относился ко всему с вершины Геликона”, Соллогуб в качестве примера приводит “случай довольно характеристический”:

Когда Гнедич получил место библиотекаря при Императорской публичной библиотеке, он переехал на казенную квартиру. К нему явился Гоголь поздравить с новосельем.

— Ах, какая славная у вас квартира, — воскликнул он с свойственной ему ужимкою.

— Да, — отвечал высокомерно Гнедич, — посмотри, на стенах краска-то какая! Не простая краска! Чистый голубец!

Подивившись чудной краске, Гоголь отправился к Пушкину и рассказал ему о великолепии голубца. Пушкин рассмеялся своим детским, звонким смехом, и с того времени, когда хвалил какую-нибудь вещь, нередко приговаривал: “Да, эта вещь не простая, чистый голубец” [Соллогуб 1998: 20–21].

Ключевую роль для интерпретации этого рассказа играет упоминание свежееотделанной квартиры. Исправляя неточность Соллогуба, отметим, что Гоголь действительно мог застать переезд Гнедича — но, конечно, не в дом Публичной библиотеки, а, наоборот, оттуда в дом Оливье, где переводчик Гомера прожил с начала 1831 г. до самой смерти (2 февраля 1833-го). А 20 ноября того же года в доме Оливье поселился Пушкин²³. Вскоре, 3 декабря, Гоголь посетил его на новой квартире и читал ему *ППИ*. Возможно, тогда же он повеселил хозяина историей “о великолепии голубца”. Возникновение в разговоре темы квартиры и ее отделки могло быть связано с новосельем самого Пушкина и его несостоявшимся соседством с Гнедичем.

В исследовательской литературе принято с доверием относиться к воспоминаниям Соллогуба, касающимся Пушкина и Гоголя, однако

²³ Н. Н. Пушкина переехала на эту квартиру в отсутствие мужа, в первых числах сентября 1833 г.; Пушкин присоединился к ней 20 ноября, вернувшись из поездки, связанной со сбором материалов для “Истории Пугачевского бунта”. В доме Оливье они прожили до середины августа 1834 г.

если сообщение о том, что Пушкину понравилось услышанное от Гоголя выражение “чистый голубец”, скорее всего, является достоверным, то о диалоге Гоголя и Гнедича этого сказать нельзя. В изложении Соллогуба он, очевидно, восходит к рассказу самого Гоголя и имеет чисто литературную природу.

Имела ли вообще место встреча Гнедича и Гоголя? Чтобы подарить “знаменитому земляку” свою книгу, Гоголь вполне мог посетить его в доме Оливье в период между выходом в свет второй части “Вечеров. . .” (т. е. не ранее 2 марта 1832 г.) и кончиной Гнедича, однако финальная забавная реплика выглядит очевидно сконструированной. Свойственное Гнедичу аристократическое щегольство в быту²⁴ никак не вяжется с простодушно-напыщенной похвальбой столь заурядной вещью, как стеновая краска, скорее уместной в речи какого-нибудь “существователя”²⁵. По всей видимости, микророман о голубце представляет собой не что иное, как дошедший до нас в форме анекдота устный набросок к *ППИ*, связанный с разработкой образа одного из двух главных героев — Ивана Ивановича.

Уже при первом появлении на страницах повести Иван Иванович предстает как щеголь, обладатель “отличнейшей” бекеши, отделанной “сизыми с морозом” смушками (каракулем). Преувеличенное любование рассказчика этим недорогим мехом как чем-то роскошным и драгоценным:

Я ставлю бог знает что, если у кого-либо найдутся такие! [. . .] что это за объедение! Описать нельзя: бархат! серебро! огонь! Господи боже мой! Николай Чудотворец, угодник божий! отчего же у меня нет такой бекеши! [Гоголь, 2: 223]²⁶

— напоминает бахвальство “чистым голубцом”, которое Гоголь вложил в уста Гнедича, и сразу же задает ироническое отношение к Ивану Ивановичу. То, что в обоих случаях в качестве наивысшей ценности выступает не добротность или цена вещи, а ее цвет и производимый ею внешний эффект, служит очевидным маркером пустоты и поверхностности

²⁴ Н. И. Греч, посещавший Гнедича в доме Публичной библиотеки, отмечал изящество его домашней обстановки [Греч 1857: 747]. Несомненно, таким же был и интерьер квартиры поэта в доме Оливье: см. подробный реестр имущества Гнедича [*Опись 1833*].

²⁵ Ср. восторг одной из дам в “Мертвых душах”: “. . . прислали материйку: это такое очарование, которого, просто, нельзя выразить словами; вообразите себе: полосочки узенькие, узенькие, какие только может представить воображение человеческое, фон голубой и через полоску всё глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки. . . Словом, бесподобно! Можно сказать решительно, что ничего еще не было подобного на свете” [Гоголь, 6: 180].

²⁶ Далее все цитаты из *ППИ* приводятся по указанному изданию без специальных ссылок на страницы.

соответствующего комического персонажа. Здесь можно усмотреть иллюзионное сходство с рассказами о подчеркнутом внимании Гнедича к своей внешности, о его “щепетильной аккуратности” [КАМЕНСКАЯ 1991: 71], стремлении “одеваться по последней картинке” [КВС 1982: 182] и особенной тщательности подбора цветовой палитры: “Он приноровлял цвет своего фрака и всего наряда к той поре дня, в которую там и сям появлялся: коричневый или зеленый фрак утром, синий к обеду, черный вечером. [. . .] Цветные перчатки в обтяжку” [Сушков 1868: 64–65]. О Гнедиче напоминает даже наиболее выгодный ракурс обзора смушек Ивана Ивановича: “Взгляните, ради бога, на них [. . .] взгляните сбоку”. Гоголю, несомненно, было известно, что Гнедич, в детстве изуродованный оспой и потерявший правый глаз, при разговоре старался поворачиваться к собеседнику здоровым профилем.

Иван Иванович любит все красивое, его жилище уютно и даже нарядно (вокруг дома “со всех сторон навес на дубовых столбах, под навесом везде скамейки”; “небольшие окошки с резными выбеленными ставнями”). Аналогичные наблюдения друзья делали над квартирой Гнедича, где, помимо изящной и дорогой мебели, имелись картины, бюсты, ковры, часы, большое зеркало. Иван Иванович деятелен: он рано встает, ездит на свой хутор наблюдать за сельскохозяйственными работами, “из своих рук” кормит “индеек и поросенков” и даже в часы отдыха токарничает или читает. Кроме того, он педантично аккуратен и ведет своеобразный дневник, в котором вместо житейских происшествий и духовно-нравственных размышлений фиксируются события “желудочной жизни”: съев очередную дыню, приказывает “принести чернильницу и сам, собственною рукою, сделает надпись над бумажкою с семенами: «Сия дыня съедена такого-то числа». Если при этом был какой-нибудь гость, то: «участвовал такой-то»”. Параллель этому обнаруживается в неоднократно упоминаемом мемуаристами неутомимом трудолюбии Гнедича и образцовом порядке, в котором он содержал свои бумаги.

Отличительным свойством Ивана Ивановича названо красноречие и склонность к театральной жестикуляции: “Господи, как он говорит!”; “говорил необыкновенно сильно, когда душа его бывала потрясена”; “возвысив голос”; “с поднятою вверх рукою, как изображались римские трибуны”. Гнедич был известен как великолепный чтец, знаток театра и наставник актеров. Он “был несколько чопорен, величав; речь его звучала несколько декламаторски. Он как-то говорил гекзаметрами”, — вспоминал П. А. Вяземский [КВС 1982: 182]. Иван Иванович набожен, чурается “богопротивных слов” и поет на клиросе; кроме того, он “чрезвычайно тонкий человек [. . .] Боже мой, как он умел обворожить всех

своим обращением!” Гнедич, человек искренне религиозный, запомнился современникам добротой и несколько комичными претензиями на аристократизм, которые выражались, среди прочего, в изысканности речи, иногда нарочитой. Иван Иванович — холерик: общительный, любопытный, склонный к быстрой смене настроений; “если ж чем бывает недоволен, то тотчас дает заметить это”. Знавшие Гнедича в один голос подчеркивали его порывистую эмоциональность: “пылкое воображение”, “пламенный Гнедич”, “откровенен, как Гнедич”, “Гнедича батюшка [А. Н. Оленин] прозвал ходячая душа” [КВС 1982: 77, 142, 147]. Иван Иванович способен выходить из себя по пустякам: “если ему попадет в борщ муха: он [. . .] и тарелку кинет, и хозяину достанется”; впрочем, он так же быстро успокаивается. Что касается Гнедича, то и он, по словам Греча, “был очень восприимчив и пылок, сердился за безделицу, но вскоре утихал” [Греч 1857: 747]. Наконец, “Иван Иванович худощав и высокого роста”, у него голова “похожа на редьку хвостом вниз”, “большие выразительные глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву *ижцу*”. Эта карикатурная внешность может быть соотнесена с бросавшимся в глаза безобразием Гнедича, которое друзья, впрочем, старались не замечать²⁷.

Объединяло Ивана Ивановича с Гнедичем и социальное происхождение. Гоголю, несомненно, было известно, что утонченный переводчик “Илиады” был внуком казацкого сотника, носившего фамилию Гнеденко, и что он вырос в таком же полумужицком мелкопоместном быту, как тот, который окружает героев *ППИ*. Карикатурная дворянская спесь Ивана Ивановича Перерепенко находит себе параллель в склонности Гнедича простодушно хвастаться своими великосветскими связями [там же: 747].

В свою очередь в Иване Никифоровиче — друге-антипode Ивана Ивановича — можно заметить сходство с Крыловым.

Его доминирующее качество — статичность (“. . . лежит весь день на крыльце, — если не слишком жаркий день, то обыкновенно выставив спину на солнце, — и никуда не хочет идти”; даже его “купание” сводится к тому, что он, сидя по горло в воде, пьет чай из самовара). В то же время он весьма остер на язык: “больше молчит, но если влепит словцо, то держись только: отбреет лучше всякой бритвы”. Он неэмоционален; по его виду “чрезвычайно трудно узнать, доволен ли он или сердит; хоть и обрадуется чему-нибудь, то не покажет”. Будучи довольно высокого роста, он “распространяется в толщину”; имеет “глаза маленькие,

²⁷ Живописные и словесные портреты запечатлели переводчика “Илиады” как высокого, стройного шатена с темными глазами, который, если бы не следы болезни, “был бы красавцем” [Греч 1857: 747]; см. также [Сушков 1868: 64].

желтоватые, совершенно пропадающие между густых бровей и пухлых щек”. Все эти черты, складываясь в классическую картину флегматического темперамента, в то же время явственно напоминают о Крылове. Рост выше среднего, тучность и малоподвижность, обычно интерпретируемая как лень, полное лицо с косматыми бровями и небольшими глазами, внешняя эмоциональная холодность и непроницаемость в сочетании с даром лаконичного саркастического слова — соответствующие цитаты из воспоминаний о баснописце заняли бы не один десяток страниц. Сходство с рассказами о легендарном равнодушии Крылова к своему туалету, о его склонности в домашней обстановке пребывать в одной рубашке или, якобы, вовсе без одежды (*in naturalibus*, по выражению В. А. Олениной [КВС 1982: 145]), не стесняясь присутствием прислуги, и даже принимать в таком виде посетителей обнаруживается в описании домашних привычек Ивана Никифоровича: “. . . Иван Иванович заметил Ивана Никифоровича, лежащего на разостланном на полу ковре. — Извините, что я перед вами в натуре. — Иван Никифорович лежал безо всего, даже без рубашки”. Царящий во дворе Ивана Никифоровича хаос (“корки арбузов и дынь, местами зелень, местами изломанное колесо, или обруч из бочки, или валявшийся мальчишка в запачканной рубашке”) сопоставим с беспорядком и неопрятностью, неизменно царившими в крыловской “берлоге” [там же: 264]. Великолепные “индейские голуби”²⁸, “пестревшие” на захламленном дворе Ивана Никифоровича и им “кормимые собственноручно”, вызывают в памяти отмеченную многими современниками любовь Крылова к городским птицам: “Летом у него всегда была открыта форточка, в которую влетали с Гостиного двора голуби, располагаясь на шкапах его, на окнах, за книгами, в вазах, как в собственных гнездах” [там же: 201; см. также: 68, 155, 159, 205].

Впрочем, отнюдь не все качества, которые в устной традиции ассоциировались с Гнедичем или Крыловым, в *ППИ* автоматически закрепляются за Иваном Ивановичем или Иваном Никифоровичем соответственно. Не ставя перед собой задачи пародийной обрисовки конкретных лиц, Гоголь обращался с доступным ему жизненным материалом абсолютно свободно²⁹. Так, с Иваном Ивановичем оказался связан анекдот,

²⁸ Индейские, или павлиньи, голуби — старинная декоративная порода голубей, известная по сей день.

²⁹ Укажем и на третий персонаж *ППИ*, в котором можно различить черты одной из колоритнейших фигур литературного Петербурга начала 1830-х гг. Городничий Петр Федорович (отставной военный, инвалид, раненный “в последней кампании”) — персонаж довольно типичный, однако в его облике и биографии многое напоминает конкретное лицо — генерал-лейтенанта И. Н. Скобелева. Героическое прошлое, необычная внешность, подчеркнутая “солдатская” прямота и фамильярность в сочетании с аффектированным патриотизмом и

известный в изложении Лобанова как эпизод из быта Крылова. Закончив изучение древнегреческого языка, “Иван Андреевич не думал более о греческих классиках, которых держал на полу под своею кроватью и которыми наконец Феня, бывшая его служанка, растапливала у него печи” [там же: 78]. Ср.: Иван Иванович “читает книжку, печатанную у Любия, Гария и Попова (названия ее Иван Иванович не помнит, потому что девка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавного листка, забавляя дитя)”.

История о надругательстве над книгой могла дойти до Гоголя в составе цикла анекдотов о Крылове и его знаменитой кухарке, в которых баснописец предстает как рассеянный, но добродушный хозяин нерадивой и темной служанки. К тому же циклу относится и анекдот о случайном обнаружении глубокой осенью крыловской шубы, еще летом вывешенной Феней для просушки на чердак и там забытой [там же: 69], свидетелем чему был тот же Лобанов. Позволим себе предположить, что впечатление от этого рассказа повлияло на завязку *ППИ*, где фигурируют хозяин, бестолковая служанка и ценная вещь, вынесенная для проветривания.

Пародируя ходульные представления о том, что соседи непременно должны быть близкими друзьями, Гоголь рисует отношения своих персонажей как дружество ультраромантического типа. Иван Иванович и Иван Никифорович много лет живут бок о бок, их дворы лишь чисто символически разделены плетнем. Они видятся по несколько раз на дню, то и дело навещая друг друга, а по воскресеньям “почти об руку” ходят в церковь. Как и подобает друзьям, они проявляют нежную заботу друг о друге: “Иван Иванович [. . .] первый замечал лужу или какую-нибудь нечистоту посреди улицы [. . .] всегда говорил Ивану Никифоровичу: «Берегитесь, не ступите сюда ногою, ибо здесь нехорошо». Иван Никифорович, с своей стороны, показывал тоже самые трогательные знаки дружбы”. Впрочем, укрепление и возобновление дружеских от-

начальстволюбием придавали образу Скобелева яркий гротескный характер, способный привлечь внимание Гоголя. Скобелев потерял в сражениях левую руку и два пальца на правой, и эти боевые увечья настойчиво подчеркиваются на его портретах. Хромота городничего также является самой характерной чертой его внешности. Оба — и Скобелев, и городничий — простого происхождения, выслужились из рядовых и поздно освоили грамоту. Неожиданный литературный дебют 55-летнего генерала: “Подарок товарищам, или Переписка русских солдат в 1812 году, изданная русским инвалидом, Иваном Скобелевым” (цензурное разрешение — 27 мая 1833 г.) — стал громким событием как раз во время работы Гоголя над *ППИ*. Кроме того, слухи о том, что Скобелев в юности якобы сбежал в армию от нелюбимой жены, в карикатурном и перевернутом виде, возможно, отразились в истории о сестре Ивана Ивановича, которая “ушла за егерскую ротую, стоявшую назад тому пять лет в Миргороде; а мужа своего записала в крестьяне”.

ношений для них сводится к ряду ритуалов, в том числе к взаимному угощению табаком. Никаких общих духовных интересов Иван Иванович и Иван Никифорович не имеют, являя полную противоположность идеалу романтических друзей, в особенности друзей-поэтов.

5.

В сущности, “два почтенные мужа”, Иван Иванович и Иван Никифорович, — не вполне люди. То, что ссора между ними происходит из-за неосторожного сравнения одного из них с гусакком, и роль, которую играет в конфликте бурая свинья, позволяет говорить о наличии у обоих своего рода “тотемных животных”.

Иван Никифорович, возражая на упрек в том, что он носитя со своим ружьем, “как дурень с писаною торбою”, в запальчивости обзывает друга “гусакком”, что Иван Иванович воспринимает как величайшее оскорбление. Использование слова “гусак” в бранном смысле встречается и в современной речи и связано с такими качествами, как глупость, болтливость, заносчивость, обидчивость и завышенное самомнение. Все эти “гусиные” свойства присущи Ивану Ивановичу, а его многочисленное потомство напоминает о характерной для гусаков семейственности³⁰.

Уподобление Ивана Ивановича гусаку поддерживается и связью между этим персонажем и личностью Гнедича. Еще в юности будущий переводчик Гомера был прозван “ходульником”, “потому что он всегда говорил свысока и всякому незначительному обстоятельству придавал какую-то особенную важность” [Жихарев 1955: 422]. Позднее многим современникам запомнилась его привычка носить рубашки с очень высоким воротником (“жабо”) и галстук по моде первого десятилетия XIX века, “которого стало бы на три шеи” [КВС 1982: 182]. Эту особенность костюма Гнедича, заставлявшую его подчеркнута высоко держать голову, можно увидеть на его портретах. Обращала на себя внимание и его манера при декламации еще сильнее вытягивать шею, “которая с каждым стихом как будто бы все более и более выходила из толсто-широкого «жабо»” [Сушков 1868: 64]. Все это придавало внешности Гнедича забавный “гусиный” оттенок.

Что касается “свинства” Ивана Никифоровича, то оно само по себе достаточно очевидно: он непомерно толст, ленив, склонен целыми днями

³⁰ Ребятишки, которые “бегают часто по двору” и называют Ивана Ивановича “тятей”, разумеется, не являются законными наследниками дворянского рода Перерепенко; они — дети ключницы Гапки, их появление на свет — результат такого же природного процесса, как размножение домашней живности. По своему статусу они ничем не отличаются от кур, расхаживающих по тому же двору, и даже подачку из рук Ивана Ивановича получают наряду с петухом.

лежать, подставив голую спину солнцу, а в жару проводит время в холодке, сидя по горло в воде подобно свинье, блаженствующей в луже. На сходство со свиньей работает и брошенное как бы невзначай замечание: “пронесли было, что Иван Никифорович родился с хвостом назад”.

Интересно, что в славянской фольклорной традиции свинья является одним из животных, связанных с нечистой силой; в таком качестве свиньи и кабаны не раз фигурируют и в произведениях Гоголя. Наличие хвоста у Ивана Никифоровича могло бы изобличать его как колдуна-“рожака” (то есть прирожденного, а не “ученого” колдуна), однако в *ППИ* этот мотив почти не получает развития³¹. Никаких магических способностей Иван Никифорович не проявляет, а его тучность заставляет видеть в хвостике атрибут не столько колдовской, сколько просто пороссячий. В сцене торга он в штыки принимает предложение Ивана Ивановича обменять ружье на бурюю свинью, “откормленную в сажу” (т. е. в специальном хлеву на убой): “. . . свинья! Если бы вы не говорили, я бы мог это принять в обидную для себя сторону”. Таким образом, свинья для этого персонажа оказывается одновременно и “темным животным”, и колким намеком на его тучность и леность³².

³¹ На слухи о связи Ивана Никифоровича с нечистой силой намекает лукавый комментарий рассказчика: “я даже не почитаю нужным опровергать [“выдумку” насчет хвоста. — *Е. Л., Н. С.*] пред просвещенными читателями, которым, без всякого сомнения, известно, что у одних только ведьм, и то у весьма немногих, есть назад хвост”. Впрочем, большинству “просвещенных читателей” гоголевских времен вряд ли было известно, что малороссийские народные поверья допускали наличие хвоста не только у женщин-ведьм, но и у колдунов-мужчин. Настораживает также речевая невольность Ивана Никифоровича — то, как часто и бесстрашно он поминает черта, смущая этим своего набожного друга. Вполне по-колдовски Иван Никифорович принимает гостя в темной комнате, где луч солнца, пройдя через дыру в ставне, рисует на стене образ внешнего мира, перевернутый вверх ногами, и сообщает всему помещению “какой-то чудный полусвет” (одним из признаков колдуна, напомним, считается то, что в его глазах можно увидеть собственное перевернутое отражение). Да и Иван Иванович в надежде завладеть вождленным ружьем не предлагает за него соседу деньги, а пытается прибегнуть к натуральному обмену, как принято в отношениях с колдунами. Неестественная, нечеловеческая толщина Ивана Никифоровича (в суде он не пролезает в дверь) — черта одновременно комическая и демоническая. Даже форма его головы (“редька хвостом вверх”), наводит на мысль о нечистой силе: заостренная кверху голова — один из устойчивых иконографических признаков демонов [Антонов, Майзульс 2015: 33–41]. Впрочем, по-видимому, Иван Никифорович — колдун несостоявшийся. Полумрак не позволяет рассмотреть, есть ли у него в самом деле хвост, однако то, что он не стесняется показаться обнаженным, заставляет предполагать, что ему нечего скрывать. Явное сходство этого героя со знахарем Пузатым Пацюком (“Ночь перед Рождеством”) и его латентный демонизм намекают связь между *ППИ* и ранними “малороссийскими” повестями Гоголя. Образ Ивана Никифоровича таким образом приобретает таинственную глубину и значительность, что выводит историю, рассказанную в повести, за рамки бытового анекдота.

³² Тучность и лень являются базовыми качествами и для образа Крылова, однако связь между ним и Иваном Никифоровичем здесь не просматривается.

И в дальнейшем герои повести используют “тотемы” друг друга для того, чтобы нанести урон противнику: Иван Никифорович демонстративно строит вплотную к владениям бывшего друга “отвратительный” для того гусиный хлев, а свинья Ивана Ивановича похищает из суда “ябеду” соседа. Фактически ссора двух дворян перерастает в войну между соответствующими животными.

Гусь и свинья как персонажи фольклорного бестиария образуют устойчивую контрастную пару. Об этом свидетельствует целый ряд идиом: “Свинья да мякина, гусь да вода — здоровы живут”, “Семка украл поросенка; сказал на гусенка”; “И то бывает, что свинья гуся съедает”, “Гусиный разум, да свиное хрюкальце” и, разумеется, “Гусь свинье не товарищ”. В сущности, вся *ППИ* представляет собой развернутую иллюстрацию к последней поговорке.

6.

Несмотря на банальность построения комической пары по принципу контраста и взаимодополнительности³³, Гоголь придает классической теме неразлучной дружбы неожиданное и оригинальное развитие. Дружба Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича служит своего рода палладиумом Миргорода³⁴. До поры до времени она является для горожан образцом отношений, к которым должны стремиться даже кровные родственники. Ср. с тем, как престарелая матушка судьи, унимая ссору своих взрослых детей, говорит им: “Вы, детки, живете между собою, как собаки. Хоть бы вы взяли пример с Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Вот уж друзья так друзья! то-то приятели! то-то достойные люди!” Неслучайно ссора “единственных друзей” приводит в

Несмотря на легендарный аппетит и неопрятность баснописца, современники сравнивали его не со свиньей, а с другим животным — медведем [КВС 1982: 264] (карикатуру А. О. Орловского, изображающую Крылова в виде медведя, см. в: [Бабинцев 1955: 59–60]). Известно также сравнение Крылова с хомяком, к которому прибегают П.А. Вяземский, намекая, очевидно, на прожорливость этого зверька, известного в то время исключительно как сельскохозяйственный вредитель [КВС 1982: 182], а также его способность делать запасы и впадать в спячку. Ср. одно из значений современного жаргонизма “хомячить” — жадно есть, набивать рот едой.

³³ О важных для Гоголя претекстах этой характерологической модели см.: [Вайскопф 2002: 300–313; Александрова 2011].

³⁴ Словарь Академии Российской дает следующее определение слова *миръ*: “Тишина, спокойствие, согласие народа или государства с другими народами” [САР, 4: 145]. Именно “мир” как дружеское согласие нарушается ссорой Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, причем то, что формальным поводом к ссоре послужило ружье, придает их конфликту комическую военную окраску. На месте мира и дружбы в городе водворяются брань и вражда, а значит, Миргород перестает быть мирным городом, теряет свою сущность, свое стержневое, опорное качество.

такой ужас земляков, заставляя их прилагать экстраординарные усилия для примирения. Фактически разрушение дружбы между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем влечет за собой упадок всего миргородского универсума. В финале повести живописные картины довольства и изобилия сменяются панорамой, пронизанной тоской и безнадежностью: осень “со своею грустно-сырою погодою, грязью и туманом”, “ненатуральная зелень” полей, “которым она пристала как шалости старику, розы — старухе”, “мокрые галки и вороны”, “слезливое без просвету небо”. Город встречает приезжего посткатастрофическим пейзажем: “Несколько изб было снесено. Остатки заборов и плетней торчали уныло”. Жители Миргорода разделили его судьбу: “Сколько вымерло знаменитых людей!” — восклицает рассказчик и называет именно тех, кто пытался не допустить окончательного разрыва между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем.

Ощущение умирающего города достигает апогея в описании церкви, которая, несмотря на праздничный день, оказывается пустой: “Свечи при пасмурном, лучше сказать — больном дне, как-то были странно неприятны; темные притворы были печальны; продолговатые окна с круглыми стеклами обливались дождливыми слезами”. Именно там рассказчик находит Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича. Один стоит перед иконой в притворе, другой — на крылосе; они, похоже, не видят друг друга. Оба производят впечатление призраков. Из описания Ивана Никифоровича полностью исчезает привычная телесность, рассказчик различает в сумраке только его седые волосы; о прежнем Иване Ивановиче напоминает только бекеша, а сам он, некогда худощавый, превратился в “тощую фигуру”, лицо его покрыто морщинами, волосы совершенно побелели. С изможденным обликом Ивана Ивановича пугающе контрастирует “веселая улыбка, которая так всегда шла к его воронкообразному лицу”, а теперь придает ему сходство в лубочными изображениями Смерти³⁵.

Присутствие теней прежних Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича превращает церковь в склеп, в общую гробницу их некогда великой, а ныне мертвой дружбы — грустная ироническая параллель погребению Гете и Шиллера в великокняжеской усыпальнице в Веймаре, ставшей

³⁵ Изображения аллегорической фигуры Смерти в виде иссохшего белесого мертвеца, распространенные в народном искусстве кон. XVIII – нач. XIX вв. (лубочные картинки, иллюстрированные рукописные книги духовного содержания, “наивные” иконы и храмовые росписи), несомненно, были знакомы Гоголю. Лицо Смерти на таких изображениях покрыто морщинами и походит на обтянутый кожей череп, который резко сужается к низу наподобие воронки. Ослабленные черепа — распространенная деталь изображения Пляски смерти (*danse macabre*) в западноевропейской иконографии, достаточно хорошо известной в Малороссии [Антонов, Майзульс 2011: 192–201].

местом паломничества для поклонников поэзии и энтузиастов дружбы. И блаженный Миргород, где некогда жили “в трогательной дружбе два единственные человека, два единственные друга”, после их ссоры лежит во прахе, как Рим после того, как в храме Весты погас священный огонь.

В интерпретации Гоголя дружба, безмерно превознесенная романтической культурой, предстает хрупкой и тленной, неспособной послужить человеку опорой и защитить его от убийственного влияния окружающего хаоса и бессмысленности существования. Вырвавшись из мертвого города, как с *того света*, рассказчик завершает повесть неожиданным восклицанием: “Скучно на *этом свете*, господа!” [курсив наш. — Е. Л., Н. С.]. Слово *скучно* здесь употреблено в полузабытом ныне значении духовного омертвения³⁶; прямое обращение к читателям ставит их перед этим состоянием как перед главной проблемой уже не вымышленного миргородского мирка, а их собственного реального мира.

Библиография

Сокращения

РГИА — Российский государственный исторический архив (С.-Петербург).

ОАД РНБ — Отдел архивных документов Российской национальной библиотеки (С.-Петербург).

ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (С.-Петербург).

Архивные материалы

Гнедич 1816

ОАД РНБ, ф. 1, оп. 1, № 17, “Об утверждении помощника библиотекаря Гнедича библиотекарем и вообще о службе его”, 1816 г.

— 1814–1831

РГИА, ф. 733, оп. 15, № 34, “Дела (sic!) о службе библиотекаря Н. И. Гнедича”, 1814–1831 гг.

Казенные квартиры 1816

РГИА, ф. 733, оп. 15, № 44, “По донесению директора Публичной библиотеки о том, что коллежскому советнику Крылову и губернскому секретарю Сопикову даны казенные квартиры. . .”, 24 июня 1816 г.

Крылов 1813

ОР РНБ, ф. 397, № 11, Список трех басен (автограф И. А. Крылова), подготовленный для чтения вслух императрице, 1813 г.

— 1819

ОР РНБ, ф. 397, № 31, Экземпляр издания басен (С.-Петербург, 1819) с правкой рукою И. А. Крылова.

³⁶ Ср. толкования на слово *скука*: “Тягостное чувствование души, происходящее от недеятельности ее” [САР, 3: 1103]; “Тягостное чувство от косного, праздного, недеятельного состояния души” [Даль, 4: 193].

Опись 1833

ОР РНБ, ф. 777, № 1555, лл. 11–20 об., “Опись вещам статского советника Николая Ивановича Гнедича, описанным после смерти его и проданным. . .”, 1833 г.

Печатные источники

Анненков 1960

Анненков П. В., *Литературные воспоминания*, Москва, 1960.

Бабинцев 1955

“И. А. Крылов. Новые материалы”, С. М. БАБИНЦЕВ, публ., в: *Сборник государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина*, 3, Ленинград, 1955, 52–60.

Вигель 2003

Вигель Ф. Ф., *Записки*, 1–2, Москва, 2003.

ГЕОРГИЕВСКИЙ 1914

ГЕОРГИЕВСКИЙ Г. П., А. Н. Оленин и Н. И. Гнедич. *Новые материалы из Оленинского архива*, С.-Петербург, 1914.

Гнедич 1821

Гнедич Н., “К И. А. Крылову, приглашавшему меня ехать с собою в чужие края”, *Сын отечества*, 43, 1821, 127–128.

——— 1956

Гнедич Н. И., *Стихотворения*, И. Н. МЕДВЕДЕВА, вступ. стат., подг. текста и прим., Ленинград, 1956.

Гоголь, 1–14

Гоголь Н. В., *Полное собрание сочинений*, 1–14, Москва, Ленинград, 1937–1952.

Греч 1832

Греч Н., “Корреспонденция. Письмо к В. А. Ушакову”, *Северная пчела*, 45, 26 февраля 1832, лл. 1–2.

——— 1857

Н. Гр. [Греч Н. И.], “Газетные заметки”, *Северная пчела*, 159, 23 июля 1857, 747–749.

Даль, 1–4

Даль В. И., *Толковый словарь живого великорусского языка*, 1–4, Москва, 1863–1866.

Жихарев 1955

Жихарев С. П., *Записки современника*, Москва, 1955.

КАМЕНСКАЯ 1991

КАМЕНСКАЯ М., *Воспоминания*, Москва, 1991.

КВС 1982

Гордин А. М., Гордин М. А., вступ. ст., подг. текста, коммент., *И. А. Крылов в воспоминаниях современников*, Москва, 1982.

Крылов 1956

Крылов И. А., *Басни*, А. П. МОГИЛЯНСКИЙ, подг., Москва, 1956.

Лобанов 1842

Лобанов М., “Гнедич”, в: *Сын отечества*, 11, 1842, 2–59.

Некролог 1844

А. В., “Крылова не стало!”, *С.-Петербургские ведомости*, 260, 17 ноября 1844, 1037–1038.

Новости 1832

“Новости заграничные”, *Северная пчела*, 72–73, 29 марта 1832, л. 1об.

Пушкин, 1–16

Пушкин А. С., *Полное собрание сочинений*, 1–16 Ленинград, 1937–1949.

САР, 1–6

Словарь Академии Российской, 1–6, С.-Петербург, 1789–1794.

Соллогуб 1998

Соллогуб В. А., *Воспоминания*, С.-Петербург, 1998.

Стурдза 1851

Стурдза А., “Беседа любителей русского слова и Арзамас в царствование императора Александра I-го: И мои воспоминания”, *Москвитянин*, 21, 1851, 3–22.

Сушков 1868

Сушков Н., “Выдержки из Записок”, *Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском Университете*, 4, 1868, 52–92.

Тиханов 1884

Тиханов П. Н., *Николай Иванович Гнедич (1784–1884). Несколько данных для его биографии по неизданным источникам*, С.-Петербург, 1884.

Voss 1996

Voss J. H., *Ausgewählte Werke*, А. HUMMEL, Hrsg., Göttingen, 1996.

Литература

АЛЕКСАНДРОВА 2011

АЛЕКСАНДРОВА И. В., “«Нет повести печальнее. . .» («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя и комедия А. А. Шаховского «Ссора, или Два соседа»)”, в: М. Н. ВИРОЛАЙНЕН, А. А. КАРПОВ, ред., *Феномен Гоголя: Материалы Юбилейной международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя*, С.-Петербург, 2011, 193–203.

АНТОНОВ, МАЙЗУЛЬС 2011

АНТОНОВ Д. И., МАЙЗУЛЬС М. Р., *Демоны и грешники в древнерусской иконографии: Семиотика образа*, Москва, 2011.

——— 2015

АНТОНОВ Д. И., МАЙЗУЛЬС М. Р., *Анатомия ада: Путеводитель по древнерусской визуальной демонологии*, Москва, 2015.

БЕСПРОЗВАННЫЙ 2010

БЕСПРОЗВАННЫЙ В., “«Миргород» Н. В. Гоголя: цикл как текст”, в: Н. МАЗУР, сост., *Пермяковский сборник*, 2, Москва, 2010, 308–325.

ВАЙСКОПФ 2002

ВАЙСКОПФ М. Я., *Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст*, 2-е изд., Москва, 2002.

ГОЛУБЕВА 2000

ГОЛУБЕВА О. Д., *Н. И. Гнедич*, С.-Петербург, 2000.

ГОРДИН 1969

ГОРДИН А. М., *Крылов в Петербурге*, Ленинград, 1969.

ГУКОВСКИЙ 1959

ГУКОВСКИЙ Г. А., *Реализм Гоголя*, Москва, Ленинград, 1959.

КОН 2005

КОН И. С., *Дружба*, С.-Петербург, 2005.

ЛЯМИНА, САМОВЕР 2016

ЛЯМИНА Е. Э., САМОВЕР Н. В., “«Преоригинальная туша»: Статья первая. Крылов и николаевская народность”, *Новое литературное обозрение*, 2016 (в печати).

МЕДВЕДЕВА 1956

МЕДВЕДЕВА И. Н., “Н. И. Гнедич”, в: [Гнедич 1956: 2–65].

Шимкевич 1918

Шимкевич К., "Еще одна дата", в: *Пушкин и его современники: Материалы и исследования*, 29–30, Петроград, 1918, 34–35.

Acknowledgements

Academic Fund Program of the National Research University Higher School of Economics, 2014–2015 (Project No. 14-01-0205).

References

- Aleksandrova I. V., "«Net povesti pechal'nee. . .» («Povest' o tom, kak possorilsia Ivan Ivanovich s Ivanom Nikiforovichem» N. V. Gogolia i komediia A. A. Shakhovskogo «Ssora, ili Dva soseda»)," in: M. N. Virolainen, A. A. Karpov, ed., *Fenomen Gogolia*, St. Petersburg, 2011, 193–203.
- Antonov D. I., Maizuls M. R., *Demony i greshniki v drevnerusskoi ikonografii: Semiotika obraza*, Moscow, 2011.
- Antonov D. I., Maizuls M. R., *Anatomiia ada: Putevoditel' po drevnerusskoi vizual'noi demonologii*, Moscow, 2015.
- Besprozvannyi V., "«Mirgorod» N. V. Gogolia: tsikl kak tekst," in: N. Mazur, ed., *Permiakovskii sbornik*, 2, Moscow, 2010, 308–325.
- Golubeva O. D., *N. I. Gnedich*, St. Petersburg, 2000.
- Gordin A. M., *Krylov v Peterburge*, Leningrad, 1969.
- Gukovskiy G. A., *Realizm Gogolia*, Moscow, Leningrad, 1959.
- Kon I. S., *Druzhiba*, St. Petersburg, 2005.
- Lyamina E. E., Samover N. V., "«Preoriginal'naia tusha»: Stat'ia pervaiia. Krylov i nikolaevskaia narodnost'," *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2016 (forthcoming).
- Medvedeva I. N., "N. I. Gnedich," in: Gnedich N. I., *Stikhotvoreniiia*, I. N. Medvedeva, ed., Leningrad, 1956.
- Shimkevic K., "Eshche odna data," in: *Pushkin i ego sovremenniki: Materialy i issledovaniia*, 29–30, Petrograd, 1918, 34–35.
- Weiskopf M., *Siuzhet Gogolia: Morfologiia. Ideologiia. Kontekst*, 2nd ed., Moscow, 2002.

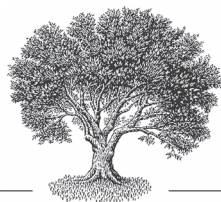
Екатерина Эдуардовна Лямина, канд. филол. наук

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики",
профессор Школы филологии
105066 Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4
Россия/Russia
catherine.lyamina@gmail.com

Наталья Владимировна Самовер

Сахаровский центр,
координатор выставочной и экспозиционной деятельности
105120 Москва, ул. Земляной вал, д. 57, стр. 6
Россия/Russia
natalia.samover@gmail.com

Received on July 16, 2015



Похвала властителю: Панегирическая поэзия и русский абсолютизм*

Иоахим Клейн

Лейденский университет,
Лейден, Нидерланды

Praising the Ruler: Panegyrical Poetry and Russian Absolutism

Joachim Klein

University of Leiden,
Leiden, Netherlands

Резюме

Русская литература раннего Нового времени поражает преобладанием панегирической традиции. С середины XVII до конца XVIII века панегирика представлена во многих жанрах; почти все поэты воспевали правителя. Эта поэзия интересна как специфическая форма политической литературы. Ее изучение проливает свет не только на культ русских монархов, но также и на политический менталитет их лояльных — и грамотных — подданных. Панегирическая поэзия является *per definitionem* глубоко аффирмативной, некритической разновидностью политической литературы. Тем не менее она предоставляла авторам определенное пространство для выражения различных и даже противоположных политических идеалов. Указанные ее особенности показаны в данной работе на материале панегириков, возникших в начале 1760-х гг. на фоне русско-прусского мирного договора, заключенного ее предшественником Петром III, и в связи с взорванным переворотом Екатерины II. В этой ситуации среди панегиристов возникло фундаментальное различие представлений о задачах монарха и о миссии российской государственности.

Ключевые слова

русская литература*, история литературы, XVIII век, панегирик, Екатерина II

* Клаус Харер (Берлин) и Рональд Вроон (Лос-Анджелес) великодушно предоставили мне целый ряд труднодоступных панегирических стихотворений; без их помощи я бы не смог написать предлагаемую работу. Ирина Паперно помогла мне перевести ее на русский язык.

Abstract

It is difficult to overrate the importance of the panegyric tradition for early modern Russian literature. Between the middle of the 17th to the end of the 18th century, it was practiced in many different genres—almost all Russian poets praised the ruler. This poetry deserves our interest as a specific form of political literature. As such it is not only relevant for the cult of the Russian monarchs, but it also sheds some light on the political mentality of their loyal—and literate—subjects in the age of Russian absolutism. Panegyric poetry is *per definitionem* a thoroughly affirmative, noncritical form of political literature. But this did not prevent it from offering a certain scope for the expression of diverse and even contradictory political ideals. This can be exemplified by the panegyric poems written in the early 1760s in the context of the coup d'état staged by Catherine II and against the backdrop of the Russo-Prussian peace treaty initiated by her predecessor, Peter III. In this situation, a fundamental difference of opinion about the tasks of the monarch and the mission of the Russian state emerged.

Keywords

Russian literature, history of literature, 18th century, panegyric, Catherine the Great

*Светлой памяти
Виктора Марковича Живова (1945–2013)*

Значение панегирической традиции для русской литературы раннего Нового времени трудно переоценить. Ее главная разновидность, похвала властителю¹, преобладала в ней в течение полутора столетий — с середины XVII до конца XVIII вв. Похвала властителю представлена во многих жанрах, прежде всего в лирических, а также в эпосе, драме, опере, надписи, в торжественном слове и в проповеди, также в литературных посвящениях, в историографии, не говоря уже об изобразительном искусстве. Почти все русские авторы XVIII века воспевали царей.

Первые русские панегирики находим в средневековье [Бегунов 1973]. Они написаны прозой; панегирическая поэзия появилась только в середине XVII в., то есть в начале Нового времени русской литературы, проходившего под знаком начинающейся европеизации русской культуры: панегиристы следовали сначала польским, затем французским и немецким образцам. После эпохи литературного барокко наступила классицистическая фаза панегирической поэзии. Предлагаемая статья посвящена именно этому периоду, то есть охватывает время с 1730-х гг. до начала XIX в.

Лучшие поэты этого времени, Ломоносов и Державин, прославились своими панегирическими одами в честь Елизаветы Петровны и Екатерины II; они также были обязаны своей служебной карьерой в

¹ См. основную работу: [Намвсчн 1996]. Краткий очерк развития русской панегирической литературы до начала XIX в. см. в: [Nicolosi 2002, 29–32].

значительной степени успеху этих стихотворений. Другие поэты, подражая им, также сочиняли панегирические тексты, прежде всего оды. В своем “пиндарическом” варианте этот жанр выражал тот *furog poeticus*, который охватывал лирического субъекта перед лицом августейшего адресата, поэтому Ломоносова называли “русским Пиндаром”.

Преобладание панегирической традиции в русской литературе второй половины XVII и XVIII вв. соответствовало характерному сужению понятия поэзии: когда современники говорили о поэзии, они могли иметь в виду не поэзию вообще, а только панегирическую, то есть разновидность придворной литературы [Клейн 2013: 211]. Это свидетельствует прежде всего о высокой степени ориентации авторов на императорский двор и об их соперничестве друг с другом в желании добиться похвалы придворной публики. Русская литература начала освобождаться от подобной тенденции лишь к концу XVIII в., что связано с постепенным возникновением в России гражданского общества и литературного рынка. Тогда панегирическая поэзия утратила свой прежний престиж и переместилась из центра на периферию литературы. Однако больше столетия спустя, в сталинскую эпоху, она пережила — хоть и ненадолго — своеобразный ренессанс. Второй ренессанс панегирической поэзии наступил в наше время: в Интернете можно найти многочисленные стихотворения в честь президента России В. В. Путина.

Вернемся, однако, в XVIII век. Панегирическая поэзия этого времени заслуживает внимания в том числе и как разновидность политической литературы. Ее изучение проливает свет на русский культ абсолютного монарха и на государственное сознание его лояльных — и грамотных — подданных. Как мы еще увидим, панегирическая поэзия, несмотря на свой сугубо аффирмативный, некритический характер, предоставляла поэтам пространство и для выражения различных и даже противоположных политических идеалов.

Бессмертная слава

Панегирическая поэзия была чрезвычайно популярна в Германии XVII в. [Rütz 1980; HELDT 1997]. Еще в первые десятилетия XVIII в. она была популярна, после чего утратила свое литературное значение. Как объяснить “опоздание” русской панегирической поэзии, торжественное шествие которой достигло кульминации значительно позже, во второй половине XVIII в.? Думается, что дело не столько в инерции русского абсолютизма, сколько в тогдашнем значении императорского двора как центра европеизированной русской культуры. Эта тема приводит нас к вопросу о социальном положении русских поэтов. Почти все они были чиновниками или офицерами, которые писали стихи в свободное от

службы время. Эти авторы смотрели в первую очередь на придворную публику, а в особенности на монарха, как на главный источник материальных благ и социального продвижения. Никто не знал этого лучше Державина. Во второй строфе его стихотворения “Дар” Аполлон дарит поэту лиру и советует ему — не без иронии — следующее:

Пой вельможей и царей,
Коль захочешь быть им нравен;
Лирою чрез них ты сей
Можешь быть богат и славен [Державин 1865: 59].

Во взаимоотношениях российского императора и поэтов-панегиристов осуществлялся очень древний симбиоз. Поэты добивались благосклонности правителя, а тот, со своей стороны, нуждался в поэтах — они должны были восхвалять его подвиги, чтобы спасти его от забвения — второй смерти [BURSKNARDT 1966: 132–143; ZILSEL 1926: 52–60]. Правители мечтали о земном бессмертии, что в эпоху абсолютизма характерно как для Людовика XIV с его “*amour de la gloire*”, так и для прусского короля Фридриха II, и для русской императрицы Екатерины II [GRIFFITHS 1986].

Средством для осуществления мечты было поэтическое слово. Оно было призвано для решения этой задачи в силу не только своей выразительности, но также и предполагаемой способности победить время и обеспечить бессмертную славу. Гораций выразил эту идею в знаменитой и часто цитируемой в XVIII веке 7 строфе своей 9-й оды “*Ne forte credas . . .*” из IV книги од. Герой “Илиады” Агамемнон фигурирует в ней не как вымышленный, а как исторический персонаж, Гомер же предстает “святым” архетипом поэта-панегириста:

*Vixere fortes ante Agamemnona
Multi; sed omnes inlacrimabiles
Urgentur ignotique longa
Nocte, carent quia vate sacro* [HORAZ 1957: 202–204].

Ломоносов в “Предисловии о пользе книг церковных в российском языке” (1758) перевел эту строфу на русский язык, причем певец у него не “святой”, однако обладает “бессмертным гласом”:

Герои были до Атрида;
Но древность скрыла их от нас,
Что дел их не оставил вида
Бессмертный стихотворцев глас [Ломоносов 2011, 7: 471].

Во второй строфе своей оды Екатерине II на Новый год 1764-й Ломоносов говорит о назначении “Парнаса”, имея в виду поэзию и поэтов. Парнас представляется ему как “геройских подвигов хранитель” и “времен

и рока победитель” [Ломоносов 2011, 8: 717–727]. Ломоносов затрагивает эту тему также в панегирическом слове Елизавете Петровне 1749 г. В ней он поднимает вопросы не только верного изложения событий, но и поэтические, так как поэзия призвана “живо” описать “прошедшие деяния” и “славные примеры великих героев”, представляя их “как настоящие”. Историография и поэзия в “Слове похвальном императрице Елисавете Петровне” (1749) “исторгают” “прехвальныя дела великих Государей из мрачных челюстей едкая древности” [Ломоносов 2011, 8: 226].

В связи с этим стоит упомянуть также Феофана Прокоповича и его важный трактат “De arte poetica,” написанный им для лекций 1705–1706 гг. в Киево-Могилянской академии. В нем Феофан говорит, что “предмет, которым обычно занимается поэзия, придает ей огромную важность и ценность. Поэты сочиняют хвалы великим людям и память об их славных подвигах передают потомству” [Прокопович 1961: 341].

Поэт перед престолом

С панегирической поэзией обновилась в России одна чрезвычайно богатая традиция европейской литературы, которая восходит через многочисленные промежуточные ступени к архаичной эпохе греческой античности, к хоровой лирике и Пиндару. Одна из самых важных, если не самая важная, задача античного поэта состояла в воспевании героев и их подвигов. Поэту приписывалась почетная роль “dispensator gloriae” — “распределителя славы” [BURSKNARDT 1966: 141].

Однако в эпоху абсолютизма место античного героя занял абсолютный монарх, официальному культу которого служили поэты. Во времена Пиндара поэт мог чувствовать себя равным адресату в силу своего “вещего” искусства. Обоих соединял закон гостеприимства; панегирик рассматривался как дружеский дар, а песня и гонорар были выражением взаимного уважения [FRÄNKEL 1962: 488–492; МАЕНЛЕР 1963: 88].

Не так было в России XVIII века. Император стоял неизмеримо выше поэта. Русские поэты тогда не пользовались особым уважением, так что некоторые даже думали, “что дворянину стыдно присвоивать себе имя писателя” [ВЕЧЕРА 1772: 6]. О социальной бездне, разделявшей русского панегириста и его адресата, свидетельствуют посвящения похвальных текстов. Оде Третьяковского 1742 года на коронацию Елизаветы Петровны предшествует не только объемное дедикационное заглавие, но и специальное посвящение во введение. Поэт посвящает свою оду “всепресветлейшей державнейшей великой государыне императрице Елисавете Петровне, самодержице всероссийской, государыне всемилостивейшей [. . .] ея священнейшему величеству”. Он же сам

выступает как “всеподданнейший раб”, который “раболепно” и “усерднейше” подносит возвышенному адресату свою “крайно недостойную песнь”, припадая “к стопам” ее “императорского величества” [ТРЕДИАКОВСКИЙ 2009: 165–172].

Самоуничижения такого рода могли в 1740-е гг. уже восприниматься как пережиток прошлого и коробить тех современников, которые испытывали влияние новых идей Запада о достоинстве индивида [КОЧЕТКОВА 2004: 27; АЛЕКСЕЕВА 2010: 135–140]. Младшие панегиристы поэтому выступали только как “всеподданнейшие” или “всенижайшие рабы”. Однако эти более сдержанные выражения должны были также выразить верноподданническую покорность [МАРАСИНОВА 2004: 101]. Перед нами официальные формы обращения к самодержавной власти, которые были введены в качестве обязательных указом Петра I от 1 марта 1702 г.: все подданные были “рабами” императора, причем крестьяне наравне с дворянами. В этом и заключается различие русского — “самодержавного” — абсолютизма от более умеренного абсолютизма на Западе [ТОРКЕ 1986: 204–210].

Просвещенная императрица Екатерина II отменила петровскую формулу указом от 15 февраля 1786 г.: в дальнейшем следовало заменять словосочетание “всеподданнейший раб” выражением “всеподданнейший (или «верный») подданный”. Некоторые из писателей-дворян — такие как Сумароков, Державин и Херасков — избегали традиционной формулы еще до екатерининского указа, подписываясь в своих текстах просто именем. Но это были исключения: “просвещенный” указ Екатерины был скоро забыт и подданные продолжали обращаться к ней как “рабы” [МАРАСИНОВА 2004: 99].

Сакральность власти

Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению; а противящийся сами навлекут на себя осуждение (Рим 13: 1–2).

Были, впрочем, со стороны Екатерины II, кроме названного указа, еще другие попытки придать более гуманную окраску отношению императора и подданных. Она любила уверять подданных в своей “материнской любви” [ВОРТМАН 1995: 110–122]; панегиристы называли ее “владычицей сердец”. Однако выражения этого рода не изменили жестких рамок официальной иерархии, и поэт-панегирист продолжал выступать усерднейшим подданным. Именно в этом качестве он с помощью своей лиры стремился вступить в личный контакт с монархом. Его

стремлению соответствовала поэтическая форма: субъект одического монолога часто обращается прямо к адресату, используя при этом второе лицо единственного числа. Таким образом симулировалась прямая встреча верноподданного поэта с монархом.

Прием прямого обращения к адресату соотносит панегирическую оду с молитвой, с которой верующий обращается к Богу. Это не случайное совпадение: русские панегиристы окружали царственного адресата ореолом квазибожественной святости, что вписывалось в общую схему сакральности царского сана: в России XVIII века санкционированное апостолом Павлом представление о монархе как заместителе Бога на земле целиком определяло политическое сознание [Лотман 1996: 40–46; Пушкарев 1999].

Главным русским пропагандистом учения о богоизбранности царей был Феофан Прокопович: см., например, его проповедь 1718 г. “О власти и чести царской, яко от самаго Бога в мире учинена есть, и како почитати царей и оным повиноватися людие должныствуют. . .” [Прокопович 1961: 76–93]. Принципа богоизбранности монарха придерживалась и Екатерина II [Снарф 1998: 78–84], чем она отличалась от своего прусского современника Фридриха II, который подвергал это положение “принципиальному и радикальному сомнению” [Kunisch 2005: 535]. Правда, и Екатерина хотела слыть просвещенной монархиней и любила легитимировать свою власть политическими заслугами. Однако это было не главное: Екатерина выступала официально в первую очередь как заместительница Бога на земле, постоянно подчеркивая сакральный характер своего сана.

Вполне возможно, что русские “вольтерианцы” не верили в богоизбранность монарха — однако занимать такую крамольную позицию публично было рискованно. Тем не менее в политической практике были веские аргументы в пользу такой позиции, и самый важный из них касался того, что история России в XVIII в. представляет собой, как известно, цепь дворцовых переворотов: “сакральная” власть русского монарха стояла *de facto* на глиняных ногах.

Подобно своей предшественнице Елизавете Петровне, Екатерина II была обязана короной дворцовому перевороту. Если иметь в виду ее близость к европейскому Просвещению, то кажется естественным понимать этот переворот в духе Джона Локка и его теории об общественном договоре как разрыв с принципом богоизбранности. Локк устранил из политического мышления религиозную составляющую: авторитет монарха основывался у него не на Божьей милости, а на политических достижениях: если эти достижения не были удовлетворительны, подданные имели право свергнуть монарха. Казалось бы, так обстояло

дело и в случае с Екатериной: не разоблачила ли она в своем первом манифесте якобы “преступный режим” Петра III, обосновывая свой собственный приход к власти страстным желанием подданных, недозвольных ее предшественником [ЕКАТЕРИНА 1997: 490–491]?

Теория общественного договора была известна в России с эпохи Петра I [ГЕУЕР 1982: 179; ЛОТМАН 1996: 31–34, 46–59]. Однако она никогда не имела особенного влияния даже в той его части, которая относится к Просвещению. Джон Локк был известен в России XVIII в. скорее как педагог, а не политический философ. Русский перевод его книги “Some Thoughts on Education” (публ. 1693) выдержал тогда не менее трех изданий [СК, 2: 161–162]. Если даже существовал русский перевод его сочинения об общественном договоре “Two Treatises of Government” (публ. 1690), он в течение XVIII в. так и не был издан; то же самое относится к книге Ж.-Ж. Руссо “Du contrat social ou principes du droit politique” (1754): русская популярность Руссо основывалась в XVIII в. на других его произведениях.

Приход Екатерины к власти в результате дворцового переворота был для нее исключительно прагматическим делом, которое не нуждалось в теоретических оправданиях. Мы знаем, что она не одобряла политической теории Локка [Омельченко 1993: 96–97]; в таком программном документе, как “Наказ” 1767 г., нет ни одного слова об общественном договоре, зато подчеркивается принцип богоизбранности [КАМЕНСКИЙ 1992: 172; ЕКАТЕРИНА 1767: 104 (§ 352)]. Вообще говоря, в России XVIII в. не было принято понимать взаимоотношения монарха и подданных рационалистически — скорее метафорически, прибегая к такой “естественной” и “святой” институции, как семья [ЕКАТЕРИНА 1767: 103 (§ 349); УИТТАКЕР 2003: 30, 130; SCHIERLE 2007: 287–288].

Мать и отец не нуждались в юридическом оправдании; о каком-либо договоре здесь не могло быть и речи. Выше говорилось о стремлениях несколько смягчить жесткость политической иерархии. Так, Екатерина не уставала подчеркивать свою “материнскую заботу” о подданных. С этой фразеологией мы часто сталкиваемся и в панегирической литературе, где императрицы прославляются как “матери” подданных. В России XVIII в. метафора “семьи” имеет такое же большое идеологическое значение, как в других культурах метафоры “корабля”, “тела” или “машины” государства.

В России XVIII в. богоизбранность монарха не подвергалась сомнению. Тем более поражает нас бесцеремонность, с которой осуществлялись дворцовые перевороты. Это свидетельствует о том, что авторитет российского монарха основывался в конечном счете не на его сакральности, а на том, были ли придворная знать и столичные гвардейцы довольны его правлением. Тем не менее ни монарх, ни подданные все

не отрекались от принципа богоизбранности самодержавной власти. Власть была выше индивидуального ее носителя: отвлеченный принцип самодержавия превалировал над конкретным лицом ее носителя [МАРАСИНОВА 1999: 134–157].

Абсолютный примат религиозного узаконения власти выражается в стремлении панегиристов объяснить тот или иной дворцовый переворот Божьим промыслом [VROON 2014] — вот представление, убедительность которого для русского человека XVIII века не следует недооценивать. С этой точки зрения события 28 июня 1762 г. происходили следующим образом: послав злого царя, Бог наказал русский народ за грехи; однако Он потом сожалелся, сверг злого царя и посадил на престол нового — хорошего; Бог при этом появился на исторической сцене в роли театрального *deus ex machina* [ТАМ ЖЕ: 580]. Эта благочестивая схема позволяла спокойно отступить от клятвы старому императору и дать еще при его жизни клятву новому. В столетии дворцовых переворотов принцип богоизбранности был самообманом — *Lebenslüge* — русского абсолютизма XVIII в.

Этому самообману служила и панегирическая поэзия, что приводит нас к характерному и очень распространенному в ней приему — к христианской сакрализации властителя [УСПЕНСКИЙ, ЖИВОВ 1996: 286–302]. Поэты часто уподобляли Елизавету Петровну и Екатерину II не только богиням классической античности (страстную охотницу Елизавету — Диане, мудрую Екатерину — Минерве), но также Христу или Богородице (что могло восприниматься как кошунство [ТАМ ЖЕ: 255–257, 288–289]). Так, Хераскову в четвертой строфе его оды 1763 года на день рождения Екатерины II приходит на ум рождение Христа в Вифлееме [ХЕРАСКОВ 1961: 59–64]. Другие авторы, восхваляя и ту, и другую императрицу, прибегают к формуле “благословенна в женах”. Так поступает Ломоносов в последней строфе оды 1748 г. “На день восшествия на престол Елисаветы Петровны” [ЛОМОНОСОВ 2011, 8: 194–203] и в 18 строфе оды 1752 г. по тому же поводу [ТАМ ЖЕ: 448–455]. Мы наблюдаем подобное также у Сумарокова в 20 строфе оды 1755 г. в честь Петра I [СУМАРОКОВ 2009: 21–32] и, наконец, у Майкова в 14 строфе оды 1762 г. на восшествие на престол Екатерины II [МАЙКОВ 1966: 185–190]. Большое количество библейских намеков и цитат вообще типично для панегирической оды.

“Честный поэт”

Вера в святость русской монархии серьезно поколебалась только в течение XIX века. Тогда утратила свой престиж и панегирическая поэзия. Крупный ученый этого столетия говорит о литературном “сервилизме”, имея в виду тех “ораторов и поэтов” прошлого, которые “воскуряли фимиам по обязанности, нередко по приказанию, чаще из желания

получить награду или какие-нибудь преимущества”. Автор поэтому думает, что панегирики не могут “подлежать рассмотрению серьезной истории литературы” [ПЕКАРСКИЙ 1862, 1: 362].

Подобное можно прочесть у других авторов не только XIX, но и XX вв. Нужно ли подчеркивать, что такая оценка грешит анахронизмом? В России XVIII в. никто не считал предосудительным воспевать императора или императрицу. Восхвалять Бога было обязанностью каждого христианина; писать стихотворения в честь Его заместителя на земле не могло быть позором. Также не стоило презирать поэта за то, что он получил драгоценный подарок за свой панегирик — бриллиантовое кольцо, золотую табакерку или деньги: не только Бог был милостив и щедр, но также и монарх.

Кроме того, панегиристы могли выдвинуть в свою пользу аргумент о том, что они выполняли нравоучительную задачу: восхваляя адресата, они восхваляли добродетель. Это общее место, восходящее к античности [HARDISON 1962, 30–31], повторяется, например, у Державина. В одном из “примечаний”, которыми он снабжал свои стихотворения на старости лет, Державин пишет, что в его панегириках “ласкательные выражения” всегда содержат “нравоучение” [Кононко 1974: 86]: добродетельная Екатерина II была в глазах Державина образцом и для своих подданных, и для монархов других стран.

Отметим кстати, что в интересующую нас эпоху поэты писали свои панегирики не “по приказанию”, а по собственной инициативе [Живов 2002: 603]. Таким образом, панегирический текст являлся не средством государственной пропаганды, как в петровское время, когда панегиристы действительно писали по заказу [ГРЕБЕНЮК 1979]. При Елизавете Петровне и Екатерине II панегирик был как правило личным — и добровольным! — заявлением верноподданнической лояльности со стороны автора или того учреждения (Петербургской академии наук или Московского университета), от имени которого он публиковал свой текст. Этому исповедальному моменту соответствовала в панегирических одах форма лирического монолога от первого лица единственного числа.

Сомневаться а priori в искренности текстов не следует; скорее можно предположить, что в России XVIII в. многие подданные действительно благоговели перед монархом и любили его; в случае императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II такие чувства могли иметь даже эротический оттенок [Пумпянский 2000: 59; Клейн 2013: 201]. Вспомним тильзитские главы романа Толстого “Война и мир”, где Николай Ростов “весь поглощен был чувством счастья, происходящего от близости государя. [. . .] Он был счастлив, как любовник, дождавшийся ожидаемого свидания” [Толстой 1961: 344].

Были, конечно, и панегиристы, которые руководствовались скорее корыстолюбием, чем преданностью. Главным грехом панегириста с античности считалась лесть — *adulatio* [RONNING 2007: 46]. Поэтому авторы нередко чувствовали потребность уверять читателей в своей искренности. Отсюда и чувство вины, которое выражается в “Исповеди” Августина: “Я собирался произнести похвальное слово императору; в нем было много лжи, и людей, понимавших это, оно ко мне, лжецу, настроило бы благосклонно” [АВГУСТИН 1992: 72].

Однако в отношении ко лжи и лести не было единодушия [MAUSE 1994: 18]. В “*Institutio oratoria*” Квинтилиана панегирист должен держиваться истины, однако допускаются исключения, если это в общих интересах [QUINTILIEN 1975: 195 (2: 7, 25)]. Менандр в своей риторике заходит дальше: панегирист может прибегать к “выдумкам”, если только они правдоподобны — ведь публика не имеет никакой возможности проверить их [MENANDER 1981: 83].

Как обстоит дело с панегирической этикой в России? В 1741 г. здесь вышла книга, которая выдержала три издания в течение XVIII в., — “Придворный человек” [СК, 1: 254]. Это был русский перевод с французского перевода знаменитой книги “*Oráculo manual y Arte de prudencia*” (публ. 1647) испанского иезуита Бальтазара Грасиана. Его книга была главным учебником “политического” поведения, которое пользовалось чрезвычайной популярностью в эпоху абсолютизма и было распространено преимущественно в придворных кругах [Пумпянский 1983: 26–27; BARNER 1970: 135–150; BUCK 1991].

В борьбе за близость к трону и за благосклонность монарха успех был наивысшей ценностью. Придворная “политика” поэтому рекомендовала человеку непременно притворяться и скрывать свои цели. В книге Грасиана максима № 3 носит заглавие “Действовать скрытно”; здесь говорится не без фривольности: “От игры в открытую — ни корысти, ни радости” [ГРАСИАН 1981: 2]. Мы находим далекое эхо этой мудрости в петровское время в книге “Юности честное зерцало” (1717), где под № 20 читаем: “Умный придворный человек намерения своего и воли никому не объявляет, да бы не упредил его другой, которой иногда к тому ж охоту имеет” [ЮЧЗ 1976: 14–15]. Представление о неискренности придворного человека было общим местом в XVIII в. Его можно найти также в шутивном предисловии к моралистическому журналу “Трутень” (1769): лень мешает молодому редактору служить при дворе, где нужно “знать наизусть науку притворства [. . .]. Придворной человек всем льстит [. . .] и угождает случайным людям. . .” [САТИРИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ 1951: 46].

Значение “политической” этики для панегиристов очевидно: можно было преспокойно воспевать и плохого властителя — дело тут было не в

истине и любви к добродетельному правителю, а в демонстрации изящного стиля и в собственной выгоде. Другого мнения придерживались просветители — они требовали панегирической честности. Вольтер написал “Lettre sur les panégyriques” в 1766 г.; это произведение было известно также в России². Автор обращается здесь к одному господину, который должен сочинить похвальную речь, однако испытывает при этом угрызения совести. Как быть? Отвечая ему, Вольтер прибегает к известной нам уже метафоре: нет сомнения, что есть много авторов, которые “воскуряют фимиам” недостойным адресатам. Он, напротив, настаивает на панегирической правдивости и иллюстрирует эту позицию импровизированным панегириком Екатерине II [VOLTAIRE 2008: 211] (Екатерина поблагодарила его в письме 29 мая 1767 г.). Немецкий просветитель Иоганн Кристоф Готшед также добивался панегирической правдивости. В той части его поэтики, где речь идет о “героических похвальных стихотворениях”, панегиристы не должны приписывать адресатам “неправильных свойств”: “презренная лесь” этого рода недостойна “честного поэта” [GOTTSCHIED 1751: 543, 544].

Многие русские авторы XVIII в. согласились бы с Готшедом и Вольтером. Они часто разоблачают “лесь” и обрушиваются на тех корыстолюбивых придворных, которые льстят властителю, мешая ему видеть злоупотребления, от которых страдают его подданные [WHITTAKER 2003: 162–163]. К этим критикам примыкает и князь М. М. Щербатов. Подобно Вольтеру и Готшеду, он начинает свое историческое “Рассуждение” о Петре I с того, что допускает “хвалу” правителям, если она только правдива и искренна, и предостерегает писателей от “лести” и “похлебства” [ЩЕРБАТОВ 2006: 286]. Его особенно раздражает христианская сакрализация правителей, и он осуждает “лесь”, которая “не стыдится, лстя царей Богу их уподоблять, и должный фимиам единому вышнему Существому — пред ними возжигает”. В дальнейшем Щербатов пишет также о катастрофических последствиях придворной лести: она поддерживает властителя в его “пороках”; в качестве устрашающего примера автор приводит Людовика XIV с его захватническими войнами [там же: 287].

В связи с этим представляет интерес и сатирическая басня Фонвизина “Лисица-Кознодей” 1787 г.³ Разоблачение лести метит здесь в панегирических ораторов. Лисица выступает с надгробным словом о Льве, умершем короле звериного царства, и возносит этого “кроткого владыку” до небес. Однако не все звери согласны с такой оценкой:

² Комментарий к “Lettre” называет два русских издания (1785, 1791), их переводчиком был И. Г. Рахманинов [VOLTAIRE 2008: 211]. Дальнейший перевод этого текста не сохранился. Он был осуществлен А. А. Нартовым (см. “Опыт исторического словаря о российских писателях” (1772) Н. И. Новикова [1987: 147]). Как мы еще увидим, Нартов также выступил в качестве панегириста.

³ О датировке см.: [GRASSHOFF 1962: 172].

О лесь подлейшая! — шепнул Собаке Крот. —
 “Я знал Льва коротко: он был пресуший скот,
 И зол, и бестолков, и силой вышней власти
 Он только насыщал свои тирански страсти.
 Трон кроткого царя, достойна алтарей,
 Был сплочен из костей растерзанных зверей!
 [. . .]
 Вот мудрого царя правление похвально!
 Возможно ль ложь сплетать столь явно и нахально!

Услышав эту филиппику, циничная Собака удивляется простодушию Крота: кто возмущается тем, что “низка тварь корысть всему предпочитает”, тот, “видно, никогда [. . .] не жил меж людьми” [Фонвизин 1959, 1: 207–208].

Применяемое здесь требование панегирической правдивости играло большую роль в поэтическом сознании Державина-панегириста [Клейн 2013]. Но это было исключением на фоне общих поэтических привычек. Несмотря на многочисленные уверения русских панегиристов в противном, это требование *de facto* не имело большого значения в их практике. Приведем пример. Карамзин пишет в своей “Записке о древней и новой России” (1811), что “царствование Елизаветы Петровны не прославилось никакими блестящими деяниями ума государственного”; он называет ее “праздной” и “сластолюбивой” [КАРАМЗИН 1991: 40, 39] (см. также: [Анисимов 1999]). Однако Ломоносов посвятил Елизавете Петровне целый ряд похвальных од, причем он компенсировал недостаток панегирических аргументов блеском одического стиля и грандиозной картиной России как идеального государства раннего Нового времени.

Правда, современники не скупались на критику ломоносовских од, но они имели в виду при этом лишь такие формальные вещи как язык, стиль и версификацию. Что же касается панегирического содержания этих од, то оно подвергалось критике только к концу XVIII в., когда Елизаветы Петровны и самого Ломоносова уже давно не было в живых. Державин радовался тому, что, в отличие от Ломоносова, ему не нужно было прославлять Елизавету Петровну, и считал себя счастливым, что адресатом его похвальных стихотворений была такая добродетельная монархиня, как Екатерина II [Клейн 2013: 188–191]. А Радищев обратился в своем “Слове о Ломоносове” к поэту со следующими словами: “Не завидую тебе, что, следуя общему обычаю ласкати царям, нередко недостойным не токмо похвалы, стройным гласом воспетой, но ниже гудочного бряцания, ты льстил похвалою в стихах Елисавете” [Радищев 1992: 121].

Однако если Ломоносов как “певец Елисаветы” не мог претендовать на панегирическую “истину”, он зато мог гордиться своим патриотизмом. В политическом сознании эпохи монарх олицетворял принцип

российской государственности. Эту роль он играл независимо от своих личных качеств, единственно в силу своего сана. Восхваляя царя, поэт восхвалял и отечество. По этой логике понятно, что Ломоносов мог в 1741 году поздравить одой “Первые трофеи его величества Иоанна III” с победой над шведами императора Иоанна Антоновича, который тогда был еще младенцем (и которого в следующем году свергла Елизавета Петровна) [Ломоносов 2011, 8: 39–47]. Дело в том, что отвлеченный принцип абсолютной монархии превалировал над личными — случайными — качествами индивидуального монарха. Этим объясняется удивительный для нас факт, что абсолютная монархия в России ничего, по-видимому, не потеряла для своего авторитета вследствие дворцовых переворотов: “[И]дея самодержавия была выше идеи самодержца, его личности и даже его жизни” [Марасинова 1999: 68].

Панегирист и его карьера

Как мы видели, индивидуальные свойства и заслуги адресатов не обязательно имели решающее влияние на практику панегиристов. Понятно поэтому, что они не стеснялись сменить сторону в случае дворцового переворота, как например А. А. Ржевский. Он написал в 1762 г. оду на восшествие на престол Петра III, законного преемника Елизаветы Петровны [Ржевский 1762А]. В другой оде того же года он горячо благодарит нового императора за отмену принудительной дворянской службы [Ржевский 1762Б]. Однако через несколько месяцев Петр III был свергнут своей супругой, будущей императрицей Екатериной II. Ржевский, не унывая, отреагировал на ее приход к власти новой одой [Ржевский 1762В], во второй строфе которой он убедительно уверяет адресата в своей безыскусственной искренности и своем отвращении к лести. Такие уверения встречаются, как мы уже знаем, также у других панегиристов, но в данном случае они получают особую актуальность:

Я, Музы, к вам не прибегаю:
На что песнь ету украшать,
Коль то, что в сердце ощущаю,
Стремлюся здесь я воспевать?
Стихи такие украшают,
Где льстя, хвалами возвышают,
Притворством строя песнь свою.
Я ныне лести удалюся,
Во след я правде устремлюся,
И радость нашу воспою.

Специфическая ситуация Ржевского-перебежчика сказывается еще в другом отношении. Это видно в сравнении с Ломоносовым. Подобно

Ржевскому, Ломоносов в 1761 г. воспел восшествие на престол не только Петра III [Ломоносов 2011, 8: 682–690], но и Екатерины II в 1762-м [там же: 701–709]. В последней оде он не только ликует по поводу ее прихода к власти, но и возмущается политикой свергнутого ею предшественника. Ржевский, напротив, проявляет в своей оде Екатерине по отношению к режиму Петра III мудрую сдержанность: восхваляя новую императрицу как спасительницу, он сводит полемику против прошлого режима к необходимому минимуму. Он говорит лишь о каком-то “зле”, своеобразии которого расплывается в аллегорическом тумане.

При всех уверениях Ржевского в преданности новой власти было, конечно, ясно, что он сменил сторону. Однако ему повезло в том, что Екатерина относилась к бывшим приверженцам Петра III снисходительно, так что никто не был наказан. Что же касается Ржевского, то он мог выдвинуть в свою защиту, что он своей сменой стороны дал хороший пример остальным дворянам. Ведь Екатерина должна была радоваться каждому заявлению лояльности, пока ее положение после захвата власти еще не было упрочено. Также надо учесть, что в России XVIII в. не хватало грамотного персонала для администрирования империи. Впоследствии никто не мешал Ржевскому сделать блестящую карьеру.

“Урок царям”?

Сомнения нет: с помощью похвальных од можно было сделать карьеру в Петербурге Елизаветы Петровны и Екатерины II не хуже, чем в Берлине Фридриха I и в Дрездене Августа Сильного. Однако такие стихотворения имели кроме продвижения автора еще другие — более благородные — функции. Как было уже сказано, русская панегирическая литература носила сугубо позитивный характер. Всякое сомнение в мудрости правителя — заместителя Бога на земле — было исключено. То, что сегодняшний читатель мог бы прочесть как завуалированную критику, прошло бы тогда незамеченным: такому пониманию противостояли коммуникативные условия панегирической литературы. Однако это только одна сторона медали: несмотря на все политические ограничения, панегиристы могли отстаивать определенные интересы надличного характера. Когда, например, Ломоносов апеллировал в своих одах к “щедрости” императрицы, он заботился не только о себе, но также о пользе науки и Петербургской академии, профессором которой он состоял. Аналогично обстоит дело с теми панегиристами, которые принадлежали к духовенству [Матвеев 2009; Di Salvo 2014] или к немецким жителям российской империи [Екуч 2010; Graubner 2013].

В связи с функциями панегирической литературы нередко говорят также о дидактическом или увещательном замысле авторов по

отношению к адресату. Г. А. Гуковский, например, говорит в своей классической истории русской литературы XVIII в., что Ломоносов выступал в своих одах “учителем и вдохновителем” Елизаветы Петровны, что “он взял на себя обязанность [. . .] объяснять царице ее обязанности” [Гуковский 1939: 99].

Однако такая интерпретация не учитывает той огромной социальной дистанции, которая разделяла абсолютного монарха и панегириста: “всеподданнейший раб” не мог осмелиться поучать царственного адресата. Это было возможно лишь в одном случае: когда панегирист обращался к будущему правителю. Так, Сумароков в своем торжественном слове на седьмой день рождения наследника престола Павла Петровича в 1761 году обращается к своему юному адресату как к школьнику: “Обучайся прилежно, не теряй времени, и не противься приставникам Твоим. . .” [Сумароков 1781: 284].

Не менее проблематичным, чем представление о дидактической или увещательной функции панегирической литературы, является понятие “advice literature”, согласно которому русская политическая, в том числе и панегирическая литература XVIII века носит консультативный характер [Whittaker 2003]. И в этом случае нельзя не потерять из вида коммуникативные закономерности русского абсолютизма: давать советы императору было задачей придворных вельмож, и то лишь тогда, когда император обращался к ним с соответствующей просьбой; партикулярные лица, как, например, Ломоносов, тут были ни при чем.

Аналогично обстоит дело с представлением о политической литературе как о “диалоге” между абсолютным монархом и его поданными [Whittaker 2003]. О таком диалоге мечтал Радищев. Разоблачая в своем “Путешествии из Петербурга в Москву” многообразные злоупотребления Российской империи, он мечтал вступить в политический диалог с Екатериной II [Клейн 2006: 409–410]. Однако всякий политический диалог предполагает интеллектуальное равноправие — принципиальную готовность собеседников признать правоту противных аргументов. Именно об этом не могло быть и речи со стороны императрицы, которая прокомментировала книгу Радищева ироничной фразой “Птенцы учат матку”, что соответствовало известному нам уже представлению об абсолютной монархии как политической “семье”: с матерью не спорят.

Мне известен только один русский автор, который обратился в своих панегириках к монарху с политическими увещаниями или советами, — это был Карамзин. В пятой строфе его оды 1801 г. на восшествие на престол Александра I [Карамзин 1966: 261–264] панегирический субъект обращается к новому императору как “воспитаннику Екатерины”: поскольку Александр “еще млад” (ему было тогда только

23 года), перед ним еще много времени для добрых дел. В дальнейшем панегирист полагает, что, благодаря Суворову и его успехам в войне с Наполеоном, Россия пожинала достаточно “лавров славы”. Поэтому он советует Александру I избегать “ужасов войны”: теперь пора быть “гением покоя” и заботиться о “счастье” подданных (стр. 8). 10-я строфа содержит призыв к Александру исправить придворные нравы — увещевание, в оправданности которого тогда никто бы не сомневался. В строфах 11–12 речь идет об одном из главных зол абсолютной монархии — о фаворитизме, которого нужно остерегаться.

Перед нами смена политических эпох: панегирический субъект у Карамзина уже не выступает “всенижайшим” подданным абсолютного правителя, но — при всем уважении к легитимной власти — “совершеннолетним” гражданином в духе Просвещения. Так был обозначен путь, по которому другие русские поэты, однако, не решались идти: Карамзин-панегирист стоит в этом отношении не в начале нового литературного развития, а в конце старого.

Апелляция к общим ценностям

Когда речь идет о политических функциях русских панегириков, заслуживает особенного внимания ломоносовская ода на восшествие на престол Екатерины II [Ломоносов 2011, 8: 701–709]. Панегирический субъект обращается в 17-й строфе к власть предержащим мира сего, а с тем и к императрице, призывая их соблюдать Божье право:

Услышьте, Судии земные
И все державные главы:
Законы нарушать святыя
От буйности блюдитесь вы
И подданных не презирайте,
Но их пороки исправляйте
Ученьем, милостью, трудом.
Вместите с правдою щедроту,
Народну наблюдайте льготу;
То Бог благословит ваш дом.

Судя по внешней форме, перед нами увещевание монарху, причем еще очень настоятельное. Однако отметим, что панегирический субъект говорит здесь тоном библейского пророка; приведенная строфа напоминает 81-й (82-й) псалом. Это значит, что панегирический субъект выступает не от собственного лица, а от имени более высокой инстанции. Далее следует учесть, что в приведенной цитате утверждаются принципы, которые тогда никто бы не оспорил, как, например, обязанность царя воспитать подданных и освободить их от “пороков”.

То же самое можно сказать о призыве к властителям, чтобы они соблюдали “святые законы”. Согласно традиционной формуле европейского абсолютизма “*legibus absolutus*”, монарх стоял выше законов, однако это относилось только к земным, а не “святым”, т. е. Божьим законам. Екатерина поэтому обвиняет во втором Манифесте от 6 июля 1762 г. своего свергнутого супруга Петра III в том, что он нарушил закон Божий. Далее она упрекает его в нарушении “естественных гражданских” законов [ЕКАТЕРИНА 1997: 492–493], причем она сама выступает в качестве просвещенной монархини, власть которой ограничена не только небесными, но и земными законами.

В свете ценностей, которыми Екатерина руководствуется в своем манифесте, мы понимаем, что Ломоносов высказывает в своей оде принципы, которым она бы не противоречила, скорее напротив. Его панегирический субъект не увещевает императрицу, а утверждает общность фундаментальных принципов, причем использование псалмического тона характеризует эти принципы как святые: перед нами установка панегириста на бесспорность политических ценностей и презумпция идеологического родства с высочайшим адресатом.

Панегирические оплошности

Главной целью панегиристов было угодить адресату, добиться его благосклонности. Однако при этом возникала трудность, известная всем оппортунистам: нужно было знать, откуда веет ветер. Эта трудность была особенно актуальна в начале нового царствования. Также при предполагаемой общности фундаментальных ценностей возникали вопросы о том, какие конкретные решения примет новый монарх и какие цели он будет преследовать. Панегиристу помогали в этой ситуации официальные прокламации, которые публиковались после смены власти. Тем не менее он мог ошибиться, он мог говорить вещи, которые не нравились адресату. Эта возможность была тем более актуальна, поскольку политика русского, как и европейского, абсолютизма была окружена *agapum*’ом — вуалью официального секрета, так что панегиристы часто писали наугад, не обладая нужной информацией.

Поэтому не обходилось без политических оплошностей. Приведем в качестве примера одну оду А. В. Нарышкина. Это стихотворение было написано по поводу смерти Елизаветы Петровны и восшествия на престол ее преемника Петра III [Нарышкин 1762А]. Однако в этом тексте прославляются не только покойная императрица и новый император, но и Екатерина Алексеевна, супруга последнего и будущая императрица Екатерина II. Автор уделяет ей немало внимания. В последних трех строфах он обращается и к Петру III, и к Екатерине, причем Нарышкин

явно не знал того, что не было тайной в Зимнем дворце: Петр III ненавидел и презирал супругу⁴.

Ксенофобские пассажи в одах Ломоносова и Сумарокова на восшествие на престол Екатерины II представляют собой такую же оплошность [Ломоносов 2011, 8: 701–709; Сумароков 2009: 60–69]. Эти выпады были направлены в первую очередь против немцев, которыми окружил себя Петр III и за которыми он действительно признавал возможность влияния на государственные дела. Однако соответствующие места можно было понимать у обоих авторов также как нападки вообще на живущих в России немцев. В 22-й строфе сумароковской оды речь идет об “иноплеменниках”, которые “ругались, / Во градах наших, явно нам”; далее читаем: “В себе Россия змеей питала, / И ими уязвлена стала”. В 19-й строфе ломоносовской оды поэт обращается укоризненно к тем, которые “уже от древних лет” живут в России, злоупотребляя “вольностью златой” богослужения, которая была им предоставлена со стороны великодушной России.

Ломоносов и Сумароков, воодушевленные патриотическим гневом, очевидно, забыли, что не только Петр III, но и сама Екатерина II были немецкого происхождения. Вспомним, кстати, что Екатерина скоро после прихода к власти пригласила немецких подданных на поселение в Россию.

О задачах монарха и миссии российской государственности
В завершение настоящей работы мне хотелось бы вернуться к одному обстоятельству, о котором уже шла речь в ее начале: русские панегиристы выражали в своих текстах совершенно различные и даже противоположные политические убеждения. В связи с этим заслуживают

⁴ Этот *faux pas* встречается также у других авторов: у Богдановича в последней строфе оды 1762 г. на восшествие на престол Петра III [Богданович 1762] и у Сумарокова в последней строфе оды 1761 г., написанной по тому же поводу [Сумароков 2009: 239–244]. Панегирический субъект Богдановича просит Божьей благодати не только для нового царя, но также для его супруги. У Сумарокова панегирический субъект обращается к Екатерине Алексеевне за заступничеством у нового императора. Один исследователь обнаруживает у Сумарокова в связи с этим признак “определенного гражданского мужества” [Каменский 2009: 649]. Он обосновывает эту интерпретацию указанием на манифест Петра III, опубликованный по поводу его восшествия на престол. Здесь не были упомянуты ни его супруга, ни его сын, наследник престола Павел Петрович (в законности рождения которого сомневался император). Политическое значение этого “громкого молчания” было очевидно для кругов, близких к правительству. Однако ни Нарышкин, ни Богданович, ни Сумароков к этим кругам не принадлежали. Поэтому трудно себе представить, что им было известно, когда они писали свои оды, в какой мере были подорваны отношения Петра III и Екатерины Алексеевны. Думается скорее, что они просто считали приличным оказать честь в своих стихотворениях не только новому императору, но и его супруге.

особенного внимания те тексты, которые появились в начале 1760-х гг., то есть вокруг дворцового переворота Екатерины II 28 июня 1762 г.⁵

Одна из главных политических тем в творчестве панегиристов касалась задач абсолютного монарха и принципов российской государственности. Некоторые из авторов думали, что самая важная задача царя заключается в том, чтобы усилить власть Российской империи и ее международный престиж — ее “славу”. Это явствует из некоторых стихотворений, которые были написаны по случаю мирного договора, заключенного 24 апреля 1762 г. между Россией и Пруссией. Договор подтвердил конец русского участия в Семилетней войне — к великой радости Фридриха II и к великой досаде французских и австрийских союзников России.

Петр III руководствовался в этом деле не только своим безграничным благоговением перед прусским королем, но и политическим расчетом. Будучи русским императором, он также был одновременно и герцогом Гольштейн-Готторпским, поэтому надеялся на помощь Фридриха II в своих притязаниях на земли Дании. Этим объясняется тот очень странный факт, что Петр III отказался в мирном договоре без всяких условий от Восточной Пруссии, которая была оккупирована русскими войсками и формально аннексирована еще при Елизавете Петровне.

Территориальный отказ был тем более неожиданным, что Россия находилась после побед под Гросс-Егерсдорфом (1757) и под Франкфуртом (1759) в чрезвычайно выгодной позиции для переговоров с Пруссией. Неиспользование этой позиции Петром III вызвало гневную реакцию в России, оно же содействовало свержению Петра с российского престола и захвату власти его супругой — будущей Екатериной II. Политические страсти, возбужденные мирным договором Петра III, отразились в манифесте, который был обнародован Екатериной в самый день дворцового переворота. С ее точки зрения, этот договор равнялся русской капитуляции. Речь идет о “совершенном порабощении” русского победителя побежденной Пруссией, Фридрих II называется здесь “злодеем” [Екатерина 1997: 490].

Подобные мотивы звучат также в ряде стихотворений, написанных на восшествие Екатерины II на престол. Авторами были, кроме Ломоносова и Сумарокова, В. И. Майков [1966: 185–190], А. А. Нартов [1762] и Н. В. Лентьев [1762]. Возмущение позором мирного договора достигает высшей точки в 21-й строфе сумароковской оды, где панегирический субъект вопиет: “О мир! о трепроклятый мир!” Он в этой строфе также гневается на “пышный пир”, которым Петр III отпраздновал союзный договор с Пруссией, заключенный через полтора месяца после мирного договора и за несколько недель до дворцового переворота [Сумароков 2009: 60–69].

⁵ Эти тексты разбираются с другой точки зрения также в: [VROON 2014].

Негодовал и Ломоносов [Чернов 1935: 165–180; Schulze Wessel 1993]. Как было уже сказано, он до своей оды на восшествие на престол Екатерины II написал также оду на восшествие на престол Петра III [Ломоносов 2011, 8: 682–690]. В этом стихотворении особенно интересны строфы 8–11. Они содержат такой художественный прием, как прозопопея. Мы уже сталкивались с этим распространенным приемом панегирической оды: панегирический субъект прерывает свой монолог и уступает слово более высокой инстанции — Богу, библейскому пророку или, как в данном случае, духу Петра I. Покойный император высказывает убедительное желание, чтобы Петр III продолжал политику Елизаветы Петровны — чтобы и он восторжествовал над прусскими “злодеями” (стр. 11); вспомним первый манифест Екатерины, где эта инвектива относится к Фридриху II.

Перед нами еще одна политическая оплошность. Не будучи членом придворного общества, Ломоносов явно не знал, что политические планы Петра III были очень далеки от его, Ломоносова, патриотических ожиданий. Политика территориального отказа, проведенная императором-прусофилом, оказалась для поэта неприятным сюрпризом, что видно из 6-й строфы его оды на восшествие на престол Екатерины II⁶. Панегирический субъект здесь не может постичь, что “кровью куплены Трофеи”, т. е. Восточная Пруссия, были уступлены “в напрасной дар” прусским врагам, которые называются “злодеями” и здесь. Строфа кончается чувством радостного облегчения, испытываемого панегирическим субъектом при мысли, что этот “удар” теперь “отвращен” благодаря новой императрице:

Слышал ли кто из в свет рожденных,
 Чтоб торжествующий народ
 Предался в руки побежденных? —
 О стыд, о странной оборот! —
 Чтоб кровью куплены Трофеи
 И победителей злодеи
 Приобрели в напрасной дар
 И данную залогом веру?
 В тебе, Россия, нет примеру,
 И ныне отвращен удар.

В этой оде Ломоносова выражается надежда на возобновление войны с целью снова овладеть Восточной Пруссией. Именно к этой цели стремился и фельдмаршал П. С. Салтыков: узнав о дворцовом перевороте, он снова оккупировал Кенигсберг [Соловьев 1965: 149]. Подобно

⁶ В интерпретации этой трудной и несколько темной строфы я следую комментарию Г. П. Блока и Т. А. Красоткиной [2011: 1050].

Ломоносову и Сумарокову, он не знал, что новая императрица с самого начала решила подтвердить русско-прусский мирный договор во всех пунктах — тот же самый договор, который она осудила в своем первом Манифесте не менее резко, чем Ломоносов и Сумароков⁷.

Имперское сознание, о котором свидетельствует реакция Ломоносова и Сумарокова на мирный договор Петра III, сказывается также в других произведениях этих авторов. В 16-й строфе оды Петру III Ломоносов говорит о будущей внешней политике царя на Дальнем Востоке: “Хины, Инды и Яппоны” должны подчиниться “законам” Российской империи [Ломоносов 2011, 8: 682–690]. Мы сталкиваемся с этой темой также в оде Ломоносова Екатерине II на Новый год 1764-й [там же: 717–727]. Здесь снова идет речь о напряженной ситуации на Дальнем Востоке: Китай, этот “напыщенный исполин”, должен “страшиться” “гневу Роскаго” (стр. 26, 27). Мы читаем подобное в “Дифирамве” Сумарокова на тезоименитство Екатерины (1763): “Хинская стена дрожит: / Тамо меч Российский блещет, / Ужасенный Хин трепещет, / И в Пекин от стен бежит” (стр. 7). В восьмой строфе того же стихотворения предсказывается, что “[б]удут поздни Россов дети, / Всею Азией владети” [Сумароков 2009: 90–93].

Ломоносов и Сумароков выразили идеал имперской государственности. Однако другие панегиристы этого времени придерживались других убеждений. Они руководствовались идеалом, близким к человеколюбивым учениям Просвещения⁸. Это были поэты нового поколения. Херасков, их самый значительный представитель, был на 22 года моложе Ломоносова и на 16 лет моложе Сумарокова. Издатель литературных журналов и лидер поэтического кружка, Херасков имел значительное влияние на молодых литераторов.

В 1762 г. он опубликовал в своем журнале “Полезное увеселение” панегирическое стихотворение, в котором восхваляется мирный договор Петра III [Херасков 1762А]. В отличие от литературных условностей того времени, это была не ода, а “идиллия”. Херасков прибегает здесь к образному языку мира, изображая пасторальный пейзаж с традиционными мотивами *locus amoenus*’а, пения и любви.

Однако прежде всего бросается в глаза не жанр, а сам факт посвящения Херасковым похвального стихотворения прусско-русскому миру. Ломоносов, Сумароков, Майков и другие панегиристы, приверженцы

⁷ Тогда Екатерина явно считала целесообразным присоединиться к общему возмущению; во втором Манифесте от 6 июля 1762 г. она избегает этой темы, явно по соображениям политической осторожности [Екатерина 1997: 491–497].

⁸ О противоположности идеи “властного государства” (*Machtstaat*) и гуманного представления о государстве (*humanitäre Staatsidee*) в XVIII в. см.: [Мейнеске 1957: 334–335].

“властного государства”, встретили это эпохальное событие молчанием. Идиллия Хераскова примечательна также отсутствием патриотических мотивов: блестящие победы русских войск не упоминаются ни одним словом; иначе не могло и быть в таком миролюбивом жанре, как идиллия. Здесь речь идет о войне только в связи с ее ужасами (стр. 2, 3).

Другие авторы в 1762 г. также восхваляют Петра III как миролюбивого правителя, но только мимоходом: Ржевский в четвертой строфе своей благодарственной оды [РЖЕВСКИЙ 1762Б] и И. С. Барков в третьей строфе своей оды на день рождения Петра III [БАРКОВ 1961]. В идиллии Хераскова, напротив, тема мира является главной: мир здесь предстает абсолютной ценностью, наряду с которой неудовольствие прусско-русским мирным договором кажется так же незначительным, как и победы прошлого.

Правда, Херасков написал в свое время небольшую оду на русскую победу под Франкфуртом — “Солнце славы” [ХЕРАСКОВ 1760], но теперь, в мае 1762 г., это было событием почти трехлетней давности (битва произошла 12 августа 1759 г., и с тех пор война тянулась без ясных результатов). Поэтому идиллию Хераскова можно прочесть как выражение усталости от войны — усталости, которая распространилась в течение очень длительной, кровавой и разорительной кампании. С тех пор умножились волнения крестьян, которые страдали от рекрутчины [СОЛОВЬЕВ 1965: 119–120]. Русские войска в Пруссии дожидались своего жалования уже восемь месяцев, и в Петербурге цена хлеба повысилась вдвое [БИЛЬБАСОВ 1900, 2: 205]. Ратифицируя мирный договор Петра III несмотря на возмущение патриотов, мудрая императрица отдала дань потребностям настоящей ситуации.

Тема мира вообще играет важную роль в панегириках, написанных Херасковым в течение 1760-х гг. Только его ода 1762 г. на восшествие Екатерины на престол является исключением [ХЕРАСКОВ 1809: 60–62]: подобно императрице в ее втором Манифесте от 6 июля 1762 г., Херасков избегает в этой оде темы мира, по-видимому, боясь выступить против общего настроения. Однако после того, как всем стало ясно, что Екатерина не собирается отменить этот договор, мир перестал быть щекотливой темой. Об этом свидетельствует, например, похвала миру в панегирической эпистоле Хераскова на тезоименитство Екатерины 24 ноября 1762 г. [ХЕРАСКОВ 1762Б]. Миролюбивая Екатерина II, “владычица сердец”, противопоставляется здесь тем монархам, которые хотят “славиться победами”: только такой монарх, перед которым “сердца рабов пылают”, заслуживает названия “земного Бога” (ст. 1–12). Пафос мира встречается также в оде Хераскова 1763 г. на день рождения императрицы и в его одах на первую и особенно на вторую годовщину ее восшествия на престол [ОН ЖЕ 1961: 59–64; 1809: 64–81].

Миролюбие Хераскова свидетельствует о его просвещенном отращении к идеалу воинственного правителя и властного государства, общего для Ломоносова, Сумарокова и других поэтов (это миролюбие характерно также для известной нам уже оды Карамзина на восшествие на престол Александра I). Противопоставление “ложной” и “истинной” славы, с которым мы столкнулись в панегирической эпистоле Хераскова 1762 г., повторяется в его оде Екатерине на вторую годовщину ее восшествия на престол [ХЕРАСКОВ 1809: 74–81]: истинная слава основывается не на “громких песнях” и на “высокости трона”, а на благодеяниях, которыми монарх осчастлиливает подданных (стр. 13). Обращаясь к императрице в 11-й строфе этого стихотворения, панегирический субъект восхваляет ее за заботу о “благополучии народа” и то, что она “озаряет блаженством” всех подданных.

Понятие “блаженства”, которое встречается в оде три раза (стр. 3, 11, 17), соответствует знаменитой фразе “pursuit of happiness” из американской конституции: это было ключевое понятие европейского Просвещения [HAZARD 1963: 23–34] и екатерининской пропаганды 1760-х гг. В манифесте от 24 октября 1762 г. новая императрица говорит о том, что она “ежедневно” печется “о добре общем”, что ее цель — “радость, удовольствие и порядок” подданных; она хочет способствовать “внутренней тишине и благосостоянию” империи [ЕКАТЕРИНА 1830: 91]. Мы читаем подобное в ее наставлении 1764 г. князю А. А. Вяземскому; этот текст не был предназначен для публикации. Императрица говорит здесь о “благоденствии” подданных; ее мысли “все к тому лишь только стремятся, чтоб как изнутри, так и вне государства сохранить тишину, удовольствие и покой” [ЕКАТЕРИНА 1965: 324].

Человеколюбивые лозунги подобного рода встречаются не только у Хераскова, но и у других панегиристов его кружка, например у А. В. Нарышкина, приверженца Просвещения; позднее он был лично знаком с Дидро и Беккариа [СТЕПАНОВ 1999А: 328]. Его ода 1762 г. на смерть Елизаветы Петровны и на восшествие на престол Петра III вышла в журнале Хераскова “Полезное увеселение” [НАРЫШКИН 1762А]. В этом стихотворении упоминается три раза “блаженство” подданных (стр. 10, 14, 15) и шесть раз — их “счастье” (стр. 3, 10, 13, 14, 16, 20). Сюда примыкает также слово *человечество*, которое употребляется не в современном собирательном значении, а в моралистическом смысле “гуманности”, что соответствовало тогдашнему узусу французского языка⁹. Так, покойная

⁹ См. [САР, 6: 690]. Слово *человечество* толкуется здесь как ‘человеческая природа’, ‘человеколюбие’, ‘чувствительность к несчастьям другого’. Сегодняшнее собирательное значение этого слова отсутствует как здесь, так и во французской “Энциклопедии”. Одним из названных здесь значений слова *humanité* является ‘универсальное человеколюбие’: “. . . un sentiment de bienveillance pour tous les hommes” [ENCYCLOPÉDIE 1765: 348].

императрица восхваляется в восьмой строфе за то, что она предпочитала “человечество” всем другим ценностям. В 20-й строфе панегирический субъект восклицает: “О человечество драгое. . .”

Просвещенное представление об идеальном правительстве, которое подразумевается в таких выражениях, встречается также у С. В. Нарышкина, старшего брата А. В. Нарышкина и такого же любителя Просвещения; когда Дидро был несколько месяцев в Петербурге в 1773–1774 гг. по приглашению Екатерины II, он гостил у С. В. Нарышкина [Степанов 1999б: 331]. В 1762 г. тот же самый Нарышкин посвящает Екатерине II без особого повода панегирическую эпистолу [Нарышкин 1762в]¹⁰. Выбирая эту жанровую форму, автор избегает восторженного тона высокой лирики в пользу более спокойной тональности; использование типического тогда для эпистолярного жанра шестистопного ямба (вместо четырехстопного ямба оды) замедляет ритм. Высокий стиль уступает место среднему, вместо риторической пышности царствует простота. Обращаясь к императрице без официального повода, автор создает иллюзию спонтанности. Прибегая к известному нам уже общему месту, панегирический субъект уверяет адресата в своей безыскусственной искренности и правдивости: “Монархиня! Не Гимн тебе я подношу, / Я истинну, и то, что чувствую, пишу” (ст. 87–88).

Похвала властителю сопровождается в эпистоле С. В. Нарышкина политической рефлексией. Автор начинает с вопроса: что именно имеется в виду, когда мы называем монархов “земными богами”? Ответ гласит: это оправдано только в том случае, когда государь является не жестоким, а любящим монархом, который подражает Богу тем, что дарует подданным “блаженство”. С этой мыслью мы уже столкнулись в эпистоле Хераскова Екатерине [Херасков 1762б]. Однако там шла речь также о богоизбранности монарха (ст. 36), тогда как здесь понятие монаршей власти имеет исключительно секулярное значение, типичное для Просвещения: правитель легитимизируется уже не Божьей милостью, а своей заботой о благополучии подданных (однако идея общественного договора и соответствующих прав подданных отсутствует и здесь). Представление божественности, которое обладало в связи с принципом богоизбранности монарха субстанциональным значением, превращается здесь в простую метафору. Громоздятся гуманные лозунги — семь раз “блаженство” или “блаженна часть” (ст. 8, 11, 23, 78, 81, 85, 90), шесть раз “щастье” или “шастливый” (ст. 35, 77, 82, 86, 94, 104).

Любовь С. В. Нарышкина к Просвещению выражается особенно настоятельно в конце эпistolы, где Екатерине присуждается почетный титул европейского Просвещения — титул платоновского “философа на престоле” (стр. 77–84):

¹⁰ Интерпретацию этого текста см.: [Vroon 2014: 571–572].

Какоеж общество щастливо дни проводит?
И где блаженну часть всяк подданной находит?
С писаньем древним мысль нам должно согласить,
И истинной слова мужей тех славных чтить,
Которы общества блаженство прямо знали,
И тот один народ счастливым называли,
Где философ царем, иль царь сам философ.
В тебе монархия нам дан монарх таков! . .

От мира к войне

После Семилетней войны в русской литературе на несколько лет воцарилось миролюбие. Это относится не только к Хераскову и его последователям, но и к Сумарокову (Ломоносов писал свою последнюю оду Екатерине в 1763 г.; он умер в 1765 г.). Правда, Сумароков еще избегает темы мира в своей оде 1762 г. на тезоименитство Екатерины [Сумароков 2009: 70–73]. Однако в оде на Новый год 1763-й [там же: 74–83] он приветствует “тишину”, чем меняет свою политическую ориентацию в соответствии с правительственной линией. Он это делает в осознании того, что “бесславный мир” Петра III стал теперь “беспорочным” (стр. 17). Что здесь имеется в виду? Действительно, Екатерина не тронула мирного договора своего предшественника с Фридрихом II, однако она отменила его союзный договор с прусским королем, заключенный через полтора месяца после мирного договора. В таких условиях Сумароков мог успокоиться мыслью, что победоносная Россия заняла теперь независимую и честную позицию, уже не будучи “подвластной” побежденной Пруссии.

Однако мирные времена, которые наступили в России после Семилетней войны, продолжались не очень долго — они кончились в 1768 г. подавлением польского восстания и началом Первой турецкой войны (1768–1774). Екатерина теперь сменила, как скоро стало ясным, внешнеполитический курс в пользу имперской идеи и колоссального расширения государственной территории в ущерб Польше и Османской империи.

Не все были тогда согласны с этой сменой политического направления [Jones 1984], но это не смутило панегиристов. В новой ситуации они не хотели стоять в стороне [Зорин 2001; Проскурина 2006]. Сумароков написал в 1769 г. триумфальную оду на взятие турецкой крепости Хотин и на покорение Молдавского княжества [Сумароков 2009: 142–146]. Заслуживает внимания в связи с этим также текстуальная история его оды Екатерине на Новый год 1763-й [там же: 74–83]. Вторая редакция этого стихотворения вышла в 1769 г. Как установил Р. Вроон в своем комментарии, в ней отсутствовали строфы 17–21 [Вроон 2009а:

307; 2009б: 410–411]: они содержали осуждение военной агрессии, которое было направлено против Фридриха II, зачинателя Семилетней войны. Теперь такая установка уже не казалась уместной. Авторы прежде любили повторять вслед за Херасковым общее место об “истинной” славе миролюбивого правителя и “ложной” славе завоевателя¹¹. Эта просвещенческая формула вышла теперь из употребления, поэты предпочитали воспевать русские победы, причем Державин отличился перед всеми своей монументальной одой на взятие Измаила [Державин 1864: 237–247].

Военный дух времени окрылял и Хераскова. Когда русский флот одержал блестящую победу над турецким флотом в 1770 г., он написал по этому поводу небольшую эпическую поэму “Чесмесский бой” (опубл. 1771). Через восемь лет Херасков достиг вершины своего поэтического пути, создав “Россияду”, панегирический эпос в двенадцати песнях о взятии Казани Иоанном Грозным в 1552 г. Екатерина предстала на фоне этого сочинения славной продолжательницей триумфальной традиции, которая восходила через Петра I к Древней Руси.

Библиография

Источники

Августин 1992

АВГУСТИН АВРЕЛИЙ, “Исповедь”, в: АВГУСТИН АВРЕЛИЙ, *Исповедь*, ПЕТР АБЕЛЯР, *История моих бедствий*, Москва, 1992, 7–258.

Барков 1961

БАРКОВ И., “Ода на всерадостный день рождения [. . .] государя Петра Федоровича. . .”, в: Г. П. МАКОГОНЕНКО, И. З. СЕРМАН, сост., *Поэты XVIII века*, 1, Ленинград, 1961, 172–176.

Богданович 1762

БОГДАНОВИЧ И. Ф., *Ода его императорскому величеству [. . .] Петру Федоровичу [. . .] на всерадостнейшее восшествие на престол, которую приносит всеподданнейший раб Ипполит Богданович. 1762 года генваря __ дня*, Москва, 1762.

Вечера 1772

Вечера, еженедельное издание на 1772 год, С.-Петербург, 1772.

¹¹ См. шестую строфу оды А. В. Нарышкина Петру III [Нарышкин 1762б]; третью строфу оды Ржевского на день рождения Елизаветы Петровны и в день ее восшествия на престол [Ржевский 1761]; четвертую строфу его же благодарственной оды Петру III [он же 1762б], и, наконец, ст. 38–54 эпистолы С. В. Нарышкина Екатерине [Нарышкин 1762в]. Непосредственным источником этого общего места было стихотворение “Ode à la fortune” (ок. 1712) Ж. Б. Руссо. Эта ода была предметом переводческого состязания между Ломоносовым и Сумароковым в журнале Хераскова “Полезное увеселение” (присоединился к этому состязанию извне и Тредиаковский). Однако мотив “ложной” славы относился в русском контексте не к Людовику XIV, как у Руссо, а к Фридриху II, врагу “миролюбивой” Елизаветы Петровны (см. комментарий к ломоносовской “Оде господина Русо Fortune, de qui la main couronne. . .” 1759 г.: [Блок, Красоткина 2011: 992–1003]).

ГРАСИАН 1981

ГРАСИАН Б., *Карманный оратор. Критикон*, Е. М. ЛЫСЕНКО, пер., Москва, 1981.

ДЕРЖАВИН 1864

ДЕРЖАВИН Г. Р., *Сочинения*, 1, Я. К. ГРОТ, ред., С.-Петербург, 1864.

— 1865

ДЕРЖАВИН Г. Р., *Сочинения*, 2, Я. К. ГРОТ, ред., С.-Петербург, 1865.

ЕКАТЕРИНА 1767

ЕКАТЕРИНА II, *Наказ императрицы Екатерины II, данный комиссии о сочинении проекта нового уложения*, Н. Д. ЧЕЧУЛИН, ред., С.-Петербург, 1767.

— 1830

ЕКАТЕРИНА II, “Манифест 24 октября 1762 г.”, в: *Полное собрание законов Российской Империи*, 16, С.-Петербург, 1830, 91–93.

— 1965

ЕКАТЕРИНА II, “Наставление князю А. А. Вяземскому”, в: [СОЛОВЬЕВ 1965: 324–326].

— 1997

ЕКАТЕРИНА II, “Манифест 28 июня 1762 г.”, “Манифест 6 июля 1762 г.” в: Г. А. ВЕСЕЛЯЯ, ред., *Путь к трону. История дворцового переворота 28 июня 1762 года*, Москва, 1997, 490–497.

КАРАМЗИН 1966

КАРАМЗИН Н. М., *Полное собрание стихотворений*, Ю. М. ЛОТМАН, ред., Москва, Ленинград, 1966.

— 1991

КАРАМЗИН Н. М., *Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях*, Москва, 1991.

ЛЕОНТЬЕВ 1762

ЛЕОНТЬЕВ Н. В., *Ода ея императорскому величеству [. . .] императрице Екатерине Алексеевне [. . .], которую приносит верноподданнейший раб Николай Леонтьев 1762 года июля __ дня*, С.-Петербург, 1762.

ЛОМОНОСОВ 2011, 7

ЛОМОНОСОВ М. В., *Полное собрание сочинений в десяти томах*, 7, 2-е изд., испр. и доп., Москва, С.-Петербург, 2011.

— 2011, 8

ЛОМОНОСОВ М. В., *Полное собрание сочинений в десяти томах*, 8, 2-е изд., испр. и доп., Москва, С.-Петербург, 2011.

МАЙКОВ 1966

МАЙКОВ В. И., *Избранные произведения*, А. В. ЗАПАДОВ, ред., Москва, Ленинград, 1966.

НАРТОВ 1762

НАРТОВ А. А., *Ода на всерадостное возшествие на престол [. . .] императрицы Екатерины Алексеевны [. . .] 28 июня 1762 года, которую [. . .] приносит всеподданнейший раб Андрей Нартов*, С.-Петербург, 1762.

НАРЫШКИН 1762А

НАРЫШКИН А. В., “На кончину блаженных и вечностойных памяти императрицы Елисаветы, и на восшествие на всероссийский наследный престол государя императора Петра Федоровича”, в: *Полезное увеселение*, февраль 1762, 49–57.

— 1762Б

НАРЫШКИН А. В., “Всепресветлейшему [. . .] императору Петру Федоровичу самодержцу всероссийскому”, в: *Полезное увеселение*, март 1762, 129–135.

——— 1762в

НАРЫШКИН С. В., *Эпистола Екатерине II, императрице всероссийской, поднесенная всеподданнейшим рабом Семеном Нарышкиным*, С.-Петербург, 1762.

Новиков 1987

Новиков Н. И., *Опыт исторического словаря о российских писателях*, Москва, 1987.

Прокопович 1961

Прокопович Ф., *Сочинения*, И. П. Еремин ред., Москва, Ленинград, 1961.

Радищев 1992

Радищев А. Н., *Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность*, В. А. Западов, ред., С.-Петербург, 1992.

Ржевский 1761

Ржевский А. А., “Ода ея величеству великой государыне императрице, истинной матери отечества, Елисавете Петровне. Сочинил Алексей Ржевский”, в: *Полезное увеселение*, 21, декабрь 1761, 185–188.

——— 1762а

Ржевский А. А., “Ода [. . .] императору Петру Федоровичу [. . .] на всерадостное восшествие на всероссийский престол”, в: *Полезное увеселение*, март 1762, 97–107.

——— 1762б

Ржевский А. А., “Ода [. . .] императору Петру Федоровичу, самодержцу всероссийскому. Приносится в знак благодарности за безпримерное и милосердное пожалованье вольностью российских дворян [. . .]”, в: *Полезное увеселение*, март 1762, 108–113.

——— 1762в

Ржевский А. А., *Ода ея [. . .] императрице Екатерине Алексеевне [. . .] на всерадостнейшее восшествие на престол, приносит всеподданнейший раб Алексей Ржевской*. 1762 июля __ дня, Москва, 1762.

САТИРИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ 1951

Берков П. Н., ред., *Сатирические журналы Н. И. Новикова*, Москва, Ленинград, 1951.

Сумароков 1781

Сумароков А. П., *Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе*, Н. Новиков, ред., 2, Москва, 1781, 275–288.

——— 2009

Сумароков А. П., *Оды торжественныя. Елегии любовныя. Репринтное воспроизведение сборников 1774 года. Приложение: Редакции и варианты. Дополнения. Комментарии. Статьи*, Р. Вроон, ред., Москва, 2009.

Толстой 1961

Толстой Л. Н., *Война и мир*, в: Он же, *Собрание сочинений в двадцати томах*, 4, Москва, 1961.

Тредиаковский 2009

Тредиаковский В. К., *Сочинения и переводы как стихами, так и прозою [1752]*, Н. Ю. Алексеева, ред., С.-Петербург, 2009.

Фонвизин 1959

Фонвизин Д. И., *Собрание сочинений в двух томах*, Москва, Ленинград, 1959.

Херасков 1760

Херасков М. М., “Солнце славы”, в: *Полезное увеселение*, январь 1760, 29.

——— 1762а

Херасков М. М., “Идиллия на заключение мира 1762 года, Апреля 29 дня”, в: *Полезное увеселение*, май 1762, 221–223.

——— 1762б

ХЕРАСКОВ М. М., *Епистола ко [...] великой государыне императрице Екатерине Алексеевне [...] принесенная в день высочайшаго тезоименитства ея императорского величества Московским университетом. Сочинил Михайло Херасков. 1762 года, ноября 24 дня*, Москва, 1762.

——— 1809

ХЕРАСКОВ М. М., *Творения, вновь исправленные и дополненные*, 7, 2-е изд., Москва, Б. г. <1809?>.

——— 1961

ХЕРАСКОВ М. М., *Избранные произведения*, А. В. Западов, ред., Ленинград, 1961.

ЩЕРБАТОВ 2006

ЩЕРБАТОВ М. М., “Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого. Беседа”, в: С. И. Николаев, ред., *Петр I в русской литературе XVIII века. Тексты и комментарии*, С.-Петербург, 2006, 286–300.

ЮЧЗ 1976

Юности честное зерцало или показание к житейскому обхождению, Москва, 1976.

ENCYCLOPÉDIE 1765

Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 8, D. DIDEROT, J. LE ROND D'ALEMBERT, éd., Paris, 1765.

GOTTSCHED 1751

GOTTSCHED J. Chr., *Versuch einer Critischen Dichtkunst* [1751], Darmstadt, 1982.

HORAZ 1957

HORAZ, *Sämtliche Werke*, lateinisch und deutsch, München, 1957.

MENANDER 1981

D. A. RUSSELL, N. G. Wilson, eds., *Menander Rhetor*, Oxford, 1981.

QUINTILIEN 1975

COUSIN J., éd., trad., QUINTILIEN, *Institution oratoire*, 2, 3e tirage revu et corrigé par G. ACHARD, Paris, 1975.

VOLTAIRE 2008

VOLTAIRE, *Les œuvres complètes*, 63b, Oxford, 2008.

Словари и справочники

САР, 1–6

Словарь Академии российской, 1–6, С.-Петербург, 1789–1794.

СК, 1–5

Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века (1725–1800), 1–5 (+1), Москва, 1963–1975.

СРП18, 1–3

Словарь русских писателей XVIII века, 1–3, Ленинград, С.-Петербург, 1988–2010.

Литература

АЛЕКСЕЕВА 2010

АЛЕКСЕЕВА Н. Ю., “Несостоявшееся посвящение «Аргениды»”, в: [ОККАЗИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 2010: 135–147].

АНИСИМОВ 1999

АНИСИМОВ Е. В., *Елизавета Петровна*, Москва, 1999.

БЕГУНОВ 1973

БЕГУНОВ Ю. К., “Проблемы изучения торжественного красноречия южных и восточных славян IX–XVI веков (К постановке вопроса)”, в: *Славянские литературы. VII*

- международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. Доклады советской делегации*, Москва, 1973, 380–399.
- Бильбасов 1900
Бильбасов В. А., *История Екатерины Второй*, 1–2, Берлин, 1900.
- Блок, Красоткина 2011
Красоткина Т. А., Блок Г. П., “<Примечания к стихотворениям 241, 266>”, в: [Ломоносов 2011, 8: 992–1003, 1049–1052].
- Вроон 2009А
Вроон Р., “Комментарий”, в: [Сумароков 2009: 261–383 (вторая пагинация)].
- 2009Б
Вроон Р., “«Оды торжественные» и «Елегии любовные»: история создания, композиция сборников”, в: [Сумароков 2009: 387–468 (вторая пагинация)].
- Гребенюк 1979
Гребенюк В. П., “Панегирические произведения первой четверти XVIII в. и их связь с петровскими преобразованиями”, в: Он же, ред., *Панегирическая литература петровского времени*, Москва, 1979, 5–38.
- Гуковский 1939
Гуковский Г. А., *Русская литература XVIII века*, Москва, 1939.
- Екуч 2010
Екуч У., “Немецкоязычная окказиональная литература в России XVIII века”, в: [Окказиональная литература 2010: 92–106].
- Живов 2002
Живов В. М., “Первые русские литературные биографии как социальное явление. Тредиаковский, Сумароков, Ломоносов”, в: Он же, *Разыскания в области истории и предьстории русской культуры*, Москва, 2002, 557–637.
- Зорин 2001
Зорин А., *Кормя двуглавого орла. . . Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века*, Москва, 2001.
- Каменский 1992
Каменский А. Б., “Под сению Екатерины. . .” *Вторая половина XVIII века*, С.-Петербург, 1992.
- 2009
Каменский А. Б., “«Оды торжественные» А. П. Сумарокова глазами историка”, в: [Сумароков 2009: 639–662].
- Клейн 2006
Клейн И., “«Птенцы учат матку». Принцип критического разума в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева”, в: *Вереница литер. К 60-летию В. М. Живова*, Москва, 2006, 403–412.
- 2013
Клейн И., “Истина и искренность в панегирической поэзии Державина”, *XVIII век*, 27, 2013, 187–219.
- Кононко 1974
Кононко Е. Н., “Примечания на сочинения Державина (продолжение)”, в: *Вопросы русской литературы*, 1 (23), Львов, 1974, 81–93.
- Кочеткова 2004
Кочеткова Н. Д., “Литературные посвящения в русских изданиях XVIII века. Статья вторая. Посвящения государю”, *XVIII век*, 23, 2004, 20–46.

ЛОТМАН 1996

ЛОТМАН Ю. М., “Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX века”, в: Т. Д. Кузовкина, В. И. Гехтман, ред., *Из истории русской культуры*, 4: XVIII – начало XIX века, Москва, 11–346.

МАРАСИНОВА 1999

МАРАСИНОВА Е. Н., *Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века (По материалам переписки)*, Москва, 1999.

— 2004

МАРАСИНОВА Е. Н., “«Раб», «подданный», «сын отечества» (К проблеме взаимоотношений личности и власти в России XVIII века)”, *Canadian-American Slavic Studies*, 38/1–2, 2004, 83–104.

МАТВЕЕВ 2009

МАТВЕЕВ Е. М., *Русская ораторская проза середины XVIII века (Панегирик в светской и духовной литературе)*, С.-Петербург, 2009.

ОККАЗИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 2010

БУХАРКИН П., ЕКУЧ У., КОЧЕТКОВА Н., ред., *Окказиональная литература в контексте праздничной культуры России XVIII века*, С.-Петербург, 2010.

ОМЕЛЬЧЕНКО 1993

ОМЕЛЬЧЕНКО О. А., “Законная монархия” Екатерины Второй. Просвещенный абсолютизм в России, Москва, 1993.

ПЕКАРСКИЙ 1862

ПЕКАРСКИЙ П., *Наука и литература в России при Петре Великом [1862]*, 1–2, Лейпциг, 1972.

ПРОСКУРИНА 2006

ПРОСКУРИНА В., “Со щитом Паллады: дискурс войны”, в: Она же, *Миф империи. Литература и власть в эпоху Екатерины II*, Москва, 2006, 147–194.

ПУМПЯНСКИЙ 1983

ПУМПЯНСКИЙ Л. В., “Ломоносов и немецкая школа разума”, *XVIII век*, 14, 1983, 3–44.

— 2000

ПУМПЯНСКИЙ Л. В., “К истории русского классицизма [1923]”, в: Он же, *Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы*, Москва, 2000, 30–157.

ПУШКАРЕВ 1999

ПУШКАРЕВ Л. Н., “Богоизбранность монарха в менталитете русских придворных деятелей рубежа Нового времени”, в: *Царь и царство в русском общественном сознании*, Москва, 1999, 59–69.

СОЛОВЬЕВ 1965

СОЛОВЬЕВ С. М., *История России с древнейших времен*, 13: Тома 25–26, Москва, 1965.

СТЕПАНОВ 1999А

СТЕПАНОВ В. П., “Нарышкин Алексей Васильевич”, в: [СРП18, 2: 327–330].

— 1999Б

СТЕПАНОВ В. П., “Нарышкин Семен Васильевич”, в: [СРП18, 2: 330–332].

УСПЕНСКИЙ, ЖИВОВ 1996

УСПЕНСКИЙ Б. А., ЖИВОВ В. М., “Царь и Бог (Семиотические аспекты сакрализации монарха в России)”, в: Б. А. УСПЕНСКИЙ, *Избранные труды*, 1, Москва, 1996–1997, 205–337.

ЧЕРНОВ 1935

ЧЕРНОВ С. Н., “М. В. Ломоносов в одах 1762 г.”, *XVIII век*, 1, 133–180.

BARNER 1970

BARNER W., *Barockrhetorik. Untersuchungen zu den geschichtlichen Grundlagen*, Tübingen, 1970.

BUCK 1991

BUCK A., "Die Kunst der Verstellung im Zeitalter des Barocks," in: A. BUCK, *Studien zu Humanismus und Renaissance. Gesammelte Aufsätze aus den Jahren 1981–1990*, Wiesbaden, 1991, 486–509.

BURCKHARDT 1966

BURCKHARDT J., *Die Kultur der Renaissance in Italien* [1860], Stuttgart, 1966.

DI SALVO 2014.

DI SALVO M., "Felix Catharina regnet! Felix Catharina vincat! (Panegyrics Dedicated to Catherine II by White Russian Catholic Schools)," in: *Russian Literature*, 75, 2014, 111–120.

FRÄNKEL 1962

FRÄNKEL H., *Dichtung und Philosophie im frühen Griechentum*, München, 1962.

GEYER 1982

GEYER D., "Der Aufgeklärte Absolutismus in Rußland. Bemerkungen zur Forschungslage," *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, 30, 1982, 176–189.

GRASSHOFF 1962

GRASSHOFF H., "Eine deutsche Parallele der Лисица-Кознодей (Fonvizin und Schubart)," *Zeitschrift für Slawistik*, 7, 1962, 167–174.

GRAUBNER 2013

GRAUBNER H., "Aufgeklärte Panegyrik. Zarenlobgedichte von Johann Gottfried Herder und Johann Gotthelf Lindner," in: *Geschichtsliteratur. Ein Kompendium*, 1, Göttingen, 2013, 574–605.

GRIFFITHS 1986

GRIFFITHS D., "To Live Forever: Catherine II, Voltaire and the Pursuit of Immortality," in: R. BARTLETT ET AL., eds., *Russia and the World of the Eighteenth Century*. Columbus (OH), 1986, 446–468.

HAMBSCH 1996

HAMBSCH B., "Herrscherlob," in: *Historisches Wörterbuch der Rhetorik*, 3, Tübingen, 1996, 1377–1392.

HARDISON 1962

HARDISON O. B. JR., *The Enduring Monument. A Study of the Idea of Praise in Renaissance Literary Theory and Practice*, Chapel Hill (NC), 1962.

HAZARD 1963

HAZARD P., *La pensée européenne au XVIII^e siècle. De Montesquieu à Lessing*, Paris, 1963.

HELDT 1997

HELDT K., *Der vollkommene Regent. Studien zur panegyrischen Casualityrik am Beispiel des Dresdner Hofes Augusts des Starken*, Tübingen, 1997.

JONES 1984

JONES R. E., "Opposition to War and Expansion in Late Eighteenth-Century Russia," in: *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, 32, 1984, 34–51.

KLEIN 2015

KLEIN J., "Herrscherlob. Panegyrische Dichtung und russischer Absolutismus," *Zeitschrift für Slavische Philologie*, 70, 2015, 257–293.

KUNISCH 2005

KUNISCH J., *Friedrich der Große. Der König und seine Zeit*, München, 2005.

MAEHLER 1963

MAEHLER H., *Die Auffassung des Dichterberufs im frühen Griechentum bis zur Zeit Pindars*, Göttingen, 1963.

- MAUSE 1994
MAUSE M., *Die Darstellung des Kaisers in der lateinischen Panegyrik*, Stuttgart, 1994.
- MEINECKE 1957
MEINECKE F., *Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte* [1924], München, 1957.
- NICOLOSI 2002
NICOLOSI R., *Die Petersburg-Panegyrik. Russische Stadtliteratur im 18. Jahrhundert*, Frankfurt a. M., 2002.
- PÜTZ 1980
PÜTZ P., "Politische Lyrik der Aufklärung," in: P. PÜTZ, Hrsg., *Erforschung der deutschen Aufklärung*, Königstein, 1980, 316–340.
- RONNING 2007
RONNING CHR., *Herrscherpanegyrik unter Trajan und Konstantin. Studien zur symbolischen Kommunikation in der römischen Kaiserzeit*, Tübingen, 2007.
- SCHARF 1998
SCHARF C., "Tradition-Usurpation-Legitimation. Das herrscherliche Selbstverständnis Katharinas II.," in: E. HÜBNER, Hrsg., *Russland zur Zeit Katharinas II. Absolutismus-Aufklärung-Pragmatismus*, Köln, Weimar, Wien, 1998, 41–101.
- SCHIERLE 2007
SCHIERLE I., "«For the Benefit and Glory of the Fatherland»: The Concept of «Otechestvo»," in: *Eighteenth-Century Russia: Society, Culture, Economy*, Berlin, 2007, 283–295.
- SCHULZE WESSEL 1993
SCHULZE WESSEL M., "Lomonosov und Preußen im Siebenjährigen Krieg. Literatur im Licht von Strukturgeschichte," *Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands*, 44, 1993, 45–63.
- TORKE 1986
TORKE H.-J., "Staat und Geschichte in Rußland im 17. Jahrhundert als Problem der europäischen Geschichte," in: K. ZERNACK, Hrsg., *Handbuch der Geschichte Rußlands*, 1, Stuttgart, 1986, 200–212.
- VROON 2014
VROON R., "Poetry Speaks to Power: Panegyric Responses to Peter III, Catherine II and the Coup d'Etat of 1762," *Russian Literature*, 75, 2014, 563–590.
- WHITTAKER 2003
WHITTAKER C. H., *Russian Monarchy. Eighteenth-Century Rulers and Writers in Political Dialogue*, DeKalb (IL), 2003.
- WORTMAN 1995
WORTMAN R. S., *Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy*, 1, Princeton (NJ), 1995.
- ZILSEL 1926
ZILSEL E., *Die Entstehung des Geniebegriffs. Ein Beitrag zur Ideengeschichte der Antike und des Frühkapitalismus*, Tübingen, 1926.

Acknowledgements

Klaus Harer
Ronald Vroon
Irina Paperno

References

- Alekseeva N. Yu., "Nesostoiavsheesia posviahshenie «Argenidy»," in: P. Bukharkin, U. Jekutsch, N. Kochetkova, eds., *Okkazional'naia literatura v kontekste prazdnichnoi kul'tury Rossii XVIII veka*, St. Petersburg, 2010, 135–147.
- Anisimov E. V., Elizaveta Petrovna. Moscow, 1999.
- Barnier W., *Barockrhetorik. Untersuchungen zu den geschichtlichen Grundlagen*. Tübingen, 1970.
- Begunov Yu. K., "Problemy izucheniia torzhestvennogo krasnorechiia iuzhnykh i vostochnykh slavian IX–XVI vekov (K postanovke voprosa)," in: *Slavianskie literatury. VII mezhdunarodnyi s'ezd slavistov. Varshava, avgust 1973 g. Doklady sovetskoi delegatsii*, Moscow, 1973, 380–399.
- Buck A., "Die Kunst der Verstellung im Zeitalter des Barocks," in: A. Buck, *Studien zu Humanismus und Renaissance. Gesammelte Aufsätze aus den Jahren 1981–1990*, Wiesbaden, 1991, 486–509.
- Burckhardt J., *Die Kultur der Renaissance in Italien*. Stuttgart, 1966.
- Chernov S. N., "M. V. Lomonosov v odakh 1762 g.," *XVIII vek*, 1, 133–180.
- Di Salvo M., "Felix Catharina regnet! Felix Catharina vincat! (Panegyrics Dedicated to Catherine II by White Russian Catholic Schools)," in: *Russian Literature*, 75, 2014, 111–120.
- Fränkel H., *Dichtung und Philosophie im frühen Griechentum*. München, 1962.
- Geyer D., "Der Aufgeklärte Absolutismus in Rußland. Bemerkungen zur Forschungslage," *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, 30, 1982, 176–189.
- Graßhoff H., "Eine deutsche Parallele der Lisica-Koznodej (Fonvizin und Schubart)," *Zeitschrift für Slavistik*, 7, 1962, 167–174.
- Graubner H., "Aufgeklärte Panegyrik. Zarenlobgedichte von Johann Gottfried Herder und Johann Gotthelf Lindner," in: *Geschichtsliteratur. Ein Compendium*, 1, Göttingen, 2013, 574–605.
- Grebeniuk V. P., "Panegiricheskie proizvedeniia pervoi chetverti XVIII v. i ikh sviaz' s petrovskimi preobrazovaniiami," in: V. P. Grebeniuk, ed., *Panegiricheskaia literatura petrovskogo vremeni*, Moscow, 1979, 5–38.
- Griffiths D., "To Live Forever: Catherine II, Voltaire and the Pursuit of Immortality," in: R. Bartlett et al., eds., *Russia and the World of the Eighteenth Century*. Columbus (OH), 1986, 446–468.
- Gukovskiy G. A., *Russkaia literatura XVIII veka*, Moscow, 1939.
- Hamsch B., "Herrscherlob," in: *Historisches Wörterbuch der Rhetorik*, 3, Tübingen, 1996, 1377–1392.
- Hardison O. B. Jr., *The Enduring Monument. A Study of the Idea of Praise in Renaissance Literary Theory and Practice*, Chapel Hill (NC), 1962.
- Hazard P., *La pensée européenne au XVIII^e siècle. De Montesquieu à Lessing*, Paris, 1963.
- Heldt K., *Der vollkommene Regent. Studien zur panegyrischen Casualityrik am Beispiel des Dresdner Hofes Augusts des Starken*, Tübingen, 1997.
- Jekutsch U., "Nemetskoiazycznaia okkazional'naia literatura v Rossii XVIII veka," in: P. Bukharkin, U. Jekutsch, N. Kochetkova, eds., *Okkazional'naia literatura v kontekste prazdnichnoi kul'tury Rossii XVIII veka*, St. Petersburg, 2010, 92–106.
- Jones R. E., "Opposition to War and Expansion in Late Eighteenth-Century Russia," in: *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, 32, 1984, 34–51.
- Kamenskii A. B., "Podseniia Ekateriny..." *Vtoraia polovina XVIII veka*, St. Petersburg, 1992.
- Kamenskii A. B., "«Ody torzhestvennyia» A. P. Sumarokova glazami istorika," in: Sumarokov A. P., *Ody torzhestvennyia. Elegii liubovnyia*, R. Vroon, ed., Moscow, 2009, 639–662.
- Klein J., "Herrscherlob. Panegyrische Dichtung und russischer Absolutismus," *Zeitschrift für Slavische Philologie*, 70, 2015, 257–293.
- Klein J., "Istina i iskrennost' v panegiricheskoi poezii Derzhavina," *XVIII vek*, 27, 2013, 187–219.
- Klein J., "«Ptentsy uchat matku». Printsip kriticheskogo razuma v «Pteshestvii iz Peterburga v Moskvu» A. N. Radishcheva," in: *Verenitsa liter. K 60-letiiu V. M. Zhivova*, Moscow, 2006, 403–412.
- Kochetkova N. D., "Literaturnye posviahsheniia v russkikh izdaniakh XVIII veka. Stat'ia vtoraia. Posviahsheniia gosudariu," *XVIII vek*, 23, 2004, 20–46.
- Kononko E. N., "Primechaniia na sochineniia Derzhavina (prodolzhenie)," in: *Voprosy russkoi literatury*, 1 (23), Lviv, 81–93.
- Kunisch J., *Friedrich der Große. Der König und seine Zeit*, München, 2005.
- Lotman Yu. M., "Ocherki po istorii russkoi kul'tury XVIII – nachala XIX veka," in: T. D. Kuzovkina, V. I. Gekhtman, eds., *Iz istorii russkoi kul'tury*, 4: XVIII – nachalo XIX veka, Moscow, 11–346.
- Maehler H., *Die Auffassung des Dichterberufs im frühen Griechentum bis zur Zeit Pindars*, Göttingen, 1963.
- Marasino E. N., *Psikhologiya elity rossiiskogo dvorianstva poslednei treti XVIII veka (Po materialam perepiski)*, Moscow, 1999.
- Marasino E. N., "«Rab», «poddannyi», «syn otechestva» (K probleme vzaimootnoshenii lichnosti i vlasti v Rossii XVIII veka)," *Canadian-American Slavic Studies*, 38/1–2, 2004, 83–104.
- Matveev E. M., *Russkaia oratorskaia proza serediny XVIII veka (Panegirik v svetskoi i dukhovnoi literature)*, St. Petersburg, 2009.
- Mause M., *Die Darstellung des Kaisers in der lateinischen Panegyrik*, Stuttgart, 1994.

Meinecke F., *Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte*, München, 1957.

Nicolosi R., *Die Petersburg-Panegyrik. Russische Stadtliteratur im 18. Jahrhundert*, Frankfurt a. M., 2002.

Omel'chenko O. A., "Zakonnaia monarkhiia" *Ekateriny Vtoroi. Prosveshchennyi absolutizm v Rossii*, Moscow, 1993.

Proskurina V., *Mif imperii. Literatura i vlast' v epokhu Ekateriny II*, Moscow, 2006.

Pumpianskiy L. V., "Lomonosov i nemetskaia shkola razuma", *XVIII vek*, 14, 1983, 3–44.

Pumpianskiy L. V., *Klassicheskaia traditsiia. Sbranie trudov po istorii russkoi literatury*, Moscow, 2000.

Pushkarev L. N., "Bogoizbrannost' monarkha v mentalitate russkikh pridvornykh deiatelei rubezha Novogo vremeni," in: *Tsar' i tsarstvo v russkom obshchestvennom soznanii*, Moscow, 1999, 59–69.

Pütz P., "Politische Lyrik der Aufklärung," in: P. Pütz, Hrsg., *Erforschung der deutschen Aufklärung*, Königstein, 1980, 316–340.

Ronning Chr., *Herrscherpanegyrik unter Trajan und Konstantin. Studien zur symbolischen Kommunikation in der römischen Kaiserzeit*, Tübingen, 2007.

Scharf C., "Tradition-Usurpation-Legitimation. Das herrscherliche Selbstverständnis Katharinas II," in: E. Hübner, Hrsg., *Russland zur Zeit Katharinas II. Absolutismus-Aufklärung-Pragmatismus*, Köln, Weimar, Wien, 1998, 41–101.

Schierle I., "«For the Benefit and Glory of the Fatherland»: The Concept of «Otechestvo»," in: *Eighteenth-Century Russia: Society, Culture, Economy*, Berlin, 2007, 283–295.

Schulze Wessel M., "Lomonosov und Preußen im Siebenjährigen Krieg. Literatur im Licht von Strukturgeschichte," *Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands*, 44, 1993, 45–63.

Stepanov V. P., "Naryshkin Aleksei Vasil'evich," in: *Slovar' russkikh pisatelei XVIII veka*, 2, St. Petersburg, 1999, 327–330.

Stepanov V. P., "Naryshkin Semen Vasil'evich," in: *Slovar' russkikh pisatelei XVIII veka*, 2, St. Petersburg, 1999, 330–332.

Torke H.-J., "Staat und Geschichte in Rußland im 17. Jahrhundert als Problem der europäischen Geschichte," in: K. Zernack, Hrsg., *Handbuch der Geschichte Rußlands*, 1, Stuttgart, 1986, 200–212.

Uspenskij B. A., Zhivov V. M., "Tsar' i Bog (Semioticheskie aspekty sakralizatsii monarkha v Rossii)," in: B. A. Uspenskij, *Izbrannye trudy*, 1, Moscow, 1996–1997, 205–337.

Vroon R., "Commentaries," in: Sumarokov A. P., *Ody torzhestvennyia. Elegii liubovnyia*, R. Vroon, ed., Moscow, 2009, 261–383.

Vroon R., "«Ody torzhestvennyia» i «Elegii liubovnyia»: istoriia sozdaniia, kompozitsiia sbornikov," in: Sumarokov A. P., *Ody torzhestvennyia. Elegii liubovnyia*, R. Vroon, ed., Moscow, 2009, 387–468.

Vroon R., "Poetry Speaks to Power: Panegyric Responses to Peter III, Catherine II and the Coup d'Etat of 1762," *Russian Literature*, 75, 2014, 563–590.

Whittaker C. H., *Russian Monarchy. Eighteenth-Century Rulers and Writers in Political Dialogue*, DeKalb (IL), 2003.

Wortman R. S., *Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy*, 1, Princeton (NJ), 1995.

Zhivov V. M., *Razyskaniia v oblasti istorii i predystorii russkoi kul'tury*, Moscow, 2002.

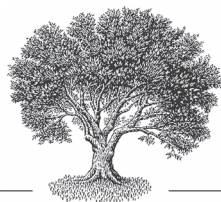
Zilsel E., *Die Entstehung des Geniebegriffs. Ein Beitrag zur Ideengeschichte der Antike und des Frühkapitalismus*, Tübingen, 1926.

Zorin A., *Kormia dvuglavogo orla. . . Literatura i gosudarstvennaia ideologiia v Rossii v poslednei treti XVIII – pervoi treti XIX veka*, Moscow, 2001.

Joachim Klein

j.h.klein6@mac.com

Received on August 27, 2015



“Latin” and
“Slavonic” Education
in the Primary Classes
of Russian Seminaries
in the 18th Century*

“Латинское” и
“славенское”
образование в
начальных классах
русских семинарий
в XVIII веке

Ekaterina I. Kislova

Moscow State University, Moscow, Russia

**Екатерина Игоревна
Кислова**

Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова,
Москва, Россия

Abstract

The article focuses on the issue of using the Latin and “Slavensky” (that is, the combined Russian and Church Slavonic) languages in primary ecclesiastical education in the 18th century. By the 1740s, seminary education in Latin had established itself in Russia. But primary teaching of reading and writing in Russian and Church Slavonic was the tradition until the end of the 18th century, regardless of where the teaching was taking place, either at home or at a Russian school affiliated with a seminary. Russian schools were organized for teaching illiterate or semiliterate children. But by the late 18th century, several seminaries attempted to reorganize “Russian schools” into ecclesiastical schools in which Russian would be the only language of instruction. Junior classes at seminaries were fully focused on teaching Latin, but Latin was by no means a complete replacement for Russian. The principal method of instruction was translation, and the administrators of many seminaries demanded attention to the quality of the students’ translations into Russian. Thus, Russian and Latin were functionally distributed in primary education. Only Church Slavonic was practically excluded from teaching after

* Работа выполнена на средства гранта Президента РФ по государственной поддержке молодых российских учёных — кандидатов наук МК-4924.2015.6, проект “Язык и языки церковного дискурса в России 18 века”.

the primary courses of reading and church singing, and that preconditioned its conservation as a language used only for church services, leading to the extinction of the hybrid form.

Keywords

Latin, Russian, 18th century, Russian seminaries, Church Slavonic, history of education

Резюме

Статья посвящена исследованию употребления латыни и “славянского” (под которым понимались одновременно русский и церковнославянский языки) в начальном духовном образовании XVIII века. Семинарское образование на латыни утвердилось в России к 1740-м гг. Однако начальное обучение чтению и письму на русском и церковнославянском языках было традиционным до конца XVIII века, независимо от того, где оно имело место: дома или в “русской школе” при семинарии. “Русские школы” первоначально были организованы для обучения неграмотных или недостаточно грамотных детей, однако к концу XVIII века в некоторых семинариях была сделана попытка преобразовать “русские школы” в духовные учебные заведения, в которых преподавание шло исключительно на русском языке. Начальные классы семинарий были полностью ориентированы на преподавание латыни, однако латынь не являлась, вопреки распространенному мнению, полной заменой родного языка. Основным методом обучения являлся перевод, и руководство многих семинарий обращало особое внимание на качество русского языка в выполненных студентами переводах. Таким образом, русский и латынь оказывались функционально распределены в начальном образовании. Только церковнославянский был практически исключен из преподавания после начальных курсов чтения и церковного пения, что предопределило его консервацию в качестве языка исключительно церковной службы и привело к исчезновению его гибридной формы из употребления среди духовенства.

Ключевые слова

латынь, русский язык, церковнославянский язык, XVIII век, русские семинарии, история образования

1. Introduction: Modern Perspectives on Latin-based Ecclesiastical Education

This paper focuses on the role that Latin played in primary education for children of the clergy in 18th-century Russia. It is critical, though, that we consider the status of Latin as it relates to the role and status of the children’s native tongue, which, in the ecclesiastical papers of the time, was commonly referred to as “Slavensky” (Slavonic) or as “Slaveno-Russian,” both of which indicated a combination of the Russian language with Church Slavonic [Кислова 2013: 103–104].

Dealing with the issue of Latin in Russian ecclesiastical education requires looking into recorded descriptions of the actual ways and methods of

teaching, as well as explaining the reasons and purposes for young Orthodox priests to study Latin. The latter question has traditionally led scholars to ponder the correlation between the study of Latin and a certain set of religious, ideological, and nationalistic beliefs of the time.

Up to the present time, the vast majority of researchers have relied on works by P. Znamensky (1881) and G. Florovsky (1981, originally published in 1937) in their assessment of what they called "Latin-based education" for the Russian clergy. The key notion is described as follows: Latin-based education, deriving largely from the Polish-Latin model, is believed to be the reason behind the rejection of Church Slavonic and Russian and the spread of what these scholars term "Latin-Protestant Scholastics." The perceived result is the alienation of theological knowledge from the experience of the Church [ФЛОРОВСКИЙ 1981]. A significant number of academic papers still reflect the view that Latin-based education was so common in the seminaries that Russian was hardly used at all [СУХОВА 2013: 43]. However, this assumption was only partially true and then only for senior students in philosophy and theology classes.

One of the most notable academic works on the subject of Latin in the 18th-century Russian school system is the book *The Rise and Fall of Latin Humanism in Early-Modern Russia. Pagan Authors, Ukrainians, and the Resiliency of Muscovy* by M. J. OKENFUSS [1995]. The author attributes the initial spread and the following decline of Latin-based education in Russian seminaries to the change in national intellectual elites: the replacement of what Okenfuss calls "Ukrainian humanist scholars" by Russian graduates of secular and ecclesiastical institutions. In his account of the 1780s, Okenfuss depicts a veritable banishment of Latin from church education, which he connects to the work of Platon Levshin: "... instructions and the disputations were now exclusively in Russian. Classical Greek became the chief language to be studied [...] and Latin was reduced to an 'elective' class for the minority of students who continued studies to [the levels of] philosophy and theology" [IBID.: 219]. This statement, however, is exaggerated and has no basis in actual fact.

Such radical assessments of Latin and its place in church education very obviously stem from the fact that the archives of Russian seminaries are often in poor condition and difficult to access (and this is especially true for small regional establishments). As early as the mid-19th century, the earliest authors to attempt serious research on the history of seminaries were complaining about the partial loss of archives [НИКОЛЬСКИЙ 1898: I–V]. Thus, the majority of Russian and European scholars [FREEZE 1977; OKENFUSS 1995; СМОЛИЧ 1996; ЛЮБЖИН 2014] have been forced to rely on 19th-century sources, e.g., [ЗНАМЕНСКИЙ 1881; СМЕРНОВ 1855; 1867], etc.

Nevertheless, the status of Latin and Slavonic was not consistent throughout the course of study, from the lowest levels up through the theological

course. I will focus first on the primary level of ecclesiastical education, since it was the most widely available, which made the issue of choosing the language and the mode of education all the more pressing.

I hope that awareness of the shifts in balance between the two languages at different levels of instruction will help us avoid the trap of polarity in our assessment of 18th-century ecclesiastical discourse. My goal here is to present an objective socio-linguistic picture of the period, which included specific functional distribution of the Latin and Russian languages in ecclesiastical education. In my research, I go beyond historical accounts to the surviving archival data, which is why I have to set aside in this paper the important question of the origins and providers of the “Latin initiative” in Russian education. It is a commonplace to assume that the widespread promulgation of Latin education might have been at Peter the Great’s personal initiative [ЖИВОВ 1996: 137–142]; it might also have been a result of the Ukrainian or European (even Jesuit) influence provided by Feofan Prokopovich [ОКЕНФУСС 1973]. In fact, we do not have information about the emperor’s personal position on this question, and every educational influence resulted from complex interactions among individuals and organizations—so this question goes far beyond the limitations of this paper. A number of related issues (such as the place of Latin in secondary and high schools, the clergy’s own view of Latin-based education, and the level of language proficiency demonstrated by seminary students) as well as important questions of the historical context of 18th-century Russian education (imperial dimensions of the Russian state, social disciplining/confessionalization policy of the government, the connections between all these processes and the transfer of knowledge, and so on) also require separate consideration and separate papers, and will thus not be included in the present article.

2. The Latin Language in Late 17th- and Early 18th-Century Russia

Traditionally, the history of teaching Latin in Russia is dated to the reign of Peter the Great. Still, it is worth remembering that 18th-century Latin culture was brought to an environment that had already seen numerous translations from Latin [СОВОЛЕВСКИЙ 1903].

By the turn of the 18th century, future Ukrainian and Belorussian territories already had a number of establishments, modeled on Polish and Western European collegiums (especially Jesuit), which taught in Latin [ПОСОХОВА 2011: 19–52; СУХОВА 2013: 4–16]. Their growth had been triggered by the confessional and political turmoil of the 16th and 17th centuries [УСПЕНСКИЙ 2002: 386–387].

It is no coincidence that teaching Latin was gaining momentum along with “regular” school education. At the time, Latin was the language of education throughout Europe, and thus the tongue that was commonly associated with

literacy [WAQUET 2001: 7–40]. By the 17th century, even Moscow's Greek-Slavonic schools would have some courses in Latin: Arseniy Grek taught Greek and Latin, the Typography School library had a number of Greek and Latin books; the 1668 "Privilege for the Academy" featured Latin along with Greek and "Slavensky" [ФОНКИЧ 2009: 63, 168, 207]. The Likhud brothers used Latin alongside Greek to teach rhetoric, logic, and physics [РАМАЗАНОВА 2003: 242–246].

Why was Greek scholarship displaced and then (by the 1720s¹) replaced with Latin in ecclesiastical education? While Latin training was predictably opposed to the Grecophilia inherent in the teachings of the Orthodox church and in traditional Russian culture, it agreed very well with Peter I's Latinophile leanings. Viktor Zhivov lists a number of closely related cultural oppositions of the time: "Helleno-Slavic teachings' versus 'Slaveno-Latin education,' 'Church Fathers' tradition versus 'Hellenistic wisdom,' Greek and Russian Orthodoxy versus Roman and European enlightenment, ecclesiastical culture versus secular culture, clergy versus royalty, Church versus Empire" [ЖИВОВ 1996: 88]. In that context, Latin was seen as the crucial element of the new, emergent culture. It seems, however, that this process was important only in the church sphere; in civil education there was hardly any effort to develop Latin schools [ЛЮБЖИН 2014: 319–345; РЈЕОУТСКИ 2016].

3. The Rise of a New Educational Model in Russia

Until Peter the Great's reforms, Russian clergy had inevitably been home-taught, but the demand for priests' literacy had been raised long before Peter, as early as in the 15th century [КОШЕЛЕВА 2012: 64–65]. The parish was, de facto, an hereditary holding [МАТИСОН 2009: 5–6]; therefore, the education of future priests became the responsibility of their fathers. That kind of education was limited to practical aspects of church service; children of the clergy would also learn some reading, writing, and choral singing skills (an approach that is documented in every source on the traditional model of ecclesiastical education, e.g., [КРАВЕЦКИЙ 1999: 230–231; МИРОНОВ 2003: 98–100]).

Latin was left out of the system since it had no practical use in the everyday lives of parish clergy. Understandably, in the eyes of anyone who had had the benefit of "regular" education (European visitors, nobles and rulers, higher clergy, and so forth), that sort of training was regarded as the equivalent of illiteracy.² The exemplary kind of educational establishment, according

¹ Some seminaries continued to teach Greek throughout the 1720s; by the 1730s, however, it was dropped from their curricula [ОПИСАНИЕ, 19: 616–620].

² See Vockerodt on the time of Peter I: "Nächst der Einführung dieser neuen geistlichen Reglementsform, und der damit verknüpften Anstalten, hat Petrus I. sich nichts mehr angelegen sein lassen, als seine Clerisei aus der vorigen Unwissenheit zu ziehen. Dieselbe war zu Anfang seiner Regierung weit größer, als sie in Europa in den finstersten Seculis des Pabstthums gewesen sein kann [. . .] Wer lesen und schreiben

to both the government and the Synod, was the Kiev Academy,³ the model for Russian seminaries [СМОЛИЧ 1996: 392]. Quite logically, in church society, the mastery of Latin became the distinctive mark of the new, Petrine Imperial culture (see also [ЖИВОВ 1996: 84] and [УОРТМАН 2004: 31–40]). For example, in the introduction of the *Лексикон трехязычный*, Fedor Polikarpov described Latin as a language of “undivided authority” (*единоначалие*), whereas Greek was described as a “language of wisdom” and Slavonic (which replaced Hebrew) as “sainted” language. So Latin was presented by Polikarpov as the language of state authority. Traditional Greek scholarship was no match for new cultural trends; one could cite the example of Pallady Rogovsky (originally, Rogov), who first studied under the Likhuds and then proceeded to attend institutions in Vilna, Neiss, Olomouc, and finally studied at St. Athanasius Collegium in Rome. After being appointed head of the Slavic Greek Latin Academy, he would teach all his courses in Latin [ЛЮБЖИН 2014: 463].

Ecclesiastical schools were modeled on Western European collegiums and would typically have the following classes and subjects:

a) Primary classes: *инфима* (*infima*) and *фара* or *аналогия* (*fara*, *analogia*), later united as *информатория* (*informatoria*) This was followed by two “grammar” classes, the lower (*грамматика* [grammar] as such) and the higher (*синтаксима* [syntaxima], or the class of syntax). The goal of this primary stage was to prepare the students for further learning, i.e., the teaching of Latin.

b) Secondary classes: *поэтика* (poetics, present or absent in different curricula at different stages) and *риторика* (rhetoric).

c) Higher classes: *философия* and *богословие* (philosophy and theology).

Some seminaries might also have a Russian school, which represented the preparatory level of instruction.

It was not until the late 1730s, though, that the structure became more than just a guideline. Up to the early 1720s, bishops’ houses would host schools

konnte, und die Ceremonien der Kirche genau zu beobachten wusste, der hatte alle Requisite, die man nicht nur zu einem Priester, sondern auch zu einem Bischof erforderte” [HERRMANN 1872: 14–15].

³ It was not uncommon for an ecclesiastical institution of the 18th and early 19th centuries to change status: school to seminary, seminary to academy, academy back to seminary (under a different name); seminaries would open lower-level schools, classes and students would be redistributed, etc. Given these kinds of shifts, I will call most institutions by their best-known names, for example, the Kiev Academy, Slavic Greek Latin Academy, Alexander Nevsky Seminary, etc. The changes in the names usually reflect changes in the structure of classes and therefore in the status of the institution (for example, an archiereus’ school usually evolved into a seminary after introducing Latin classes, as in the case of the school in the Alexander Nevsky Monastery, which became a seminary). The precise name could also change: the Slavic Greek Latin Academy was first called the Zaikonospasskaya School or Spasskie Schools (after the monastery in which it was located—but it was also called the Greek Latin School and, after the Likhuds left, the Slavic-Latin Academy).

for children from all social strata; later on these houses might be converted into seminaries or closed down.⁴ During the 1720s, the newly opened establishments⁵ would mostly teach reading and writing in Russian and Church Slavonic, which was hardly different from the traditional, "non-seminary," model. The teaching of philosophy and theology in Latin remained no more than a lofty dream. There were very few lecturers who would qualify for the job; as a result, the archiereus' schools were limited to teaching the very basics, starting with the Primer. Having mastered that, the boys were supposed to take up Fyodor Polikarpov's *Slavonic Grammar*, along with arithmetic and geometry. Reports from the archiereus' schools indicate that curricula also included traditional books, such as the Primer (azbuka), the Psalter, and the Book of Prayers [ТИТЛИНОВ 1905: 376–377; КНЯЗЕВ 1866: 5]. Other subjects could be added, such as music, painting, or Greek [ЧИСТОВИЧ 1857: 10–11].

Apparently, the new mode of education was viewed as contrasted to the old system in terms of method: one method was more theoretical, the other more practical. The traditional pattern of education is summarized in [УСПЕНСКИЙ 1997: 246–267] and [КРАВЕЦКИЙ 1999]; until the end of the 19th century, it consisted largely in constant re-reading of basic texts in Church Slavonic and learning them by heart. By contrast, new state establishments were supposed to go beyond reading and writing in Church Slavonic and teach a set of theoretical linguistic skills.⁶ Moreover, this kind of "grammatical approach" was to be introduced at the beginner stage as the proper basis for further education. Teaching "Slavensky" to children was now believed to require "correct grammatical indoctrination," starting with the essentials and moving on to reading and writing skills [СИНОД 1722, 2: 172].

The introduction of grammatical methods for the teaching of Church Slavonic in the early 18th century faced severe setbacks and required official interference. Feodosy Yanovsky, the archbishop of Novgorod, repeatedly wrote to the Synod in 1722–1723, pointing out the need to select teachers who would be "proficient in grammar," and to ban from the profession anyone found lacking. He forbade those who had not themselves taken a course in grammar to teach any student in his diocese, while encouraging "real grammarians" to take up each and every pupil willing to learn. He believed that this

⁴ Among the first establishments of the new kind was the school founded by Dimitry Rostovsky. It had three grades, in which were taught the Russian Primer (azbuka, for reading and writing), Latin, and Greek. However, it survived for only three years, 1702 to 1705 [СУХОВА 2013: 28].

⁵ By 1723, eight ecclesiastical establishments had been founded: the Alexander Nevsky Seminary in St. Petersburg, plus seminaries in Novgorod, Nizhny Novgorod, Kazan, Vyatka, Suzdal, Kolomna, and Kholmogory.

⁶ The co-existence of the two models throughout the Russian Southwest is analyzed in [МЕЧКОВСКАЯ 1985].

would promote “proper knowledge” among the people.⁷ He also pointed out the fact that in his schools, with their carefully chosen teachers, about 500 students were children of the clergy, with only 30 “commoners” (*raznotchin-tsy*), whereas average “secular citizens” (*svetskie obyvateli*) were still “clinging to the ignorant teachers of their children” (детей своих по прежнему обучают невеждами), that is, those using the traditional system. Indeed, the 1722 assessment of the teaching staff, carried out at his insistence in St. Petersburg, revealed that most teachers were relying on the traditional method: reading Slavonic, the Psalms, and prayers; as far as grammar and orthography were concerned, those subjects were not sufficiently familiar to the teachers themselves (“словенского чтения, псалмов и молитв и писания, ничтоже грамматического разума и правописания сами знающих” [Синод 1722, 2: 176]). Smaller regional towns were unlikely to have any teachers who would be knowledgeable enough in “the new ways”; therefore the Synod prescribed sending “three smart and literate men” from each diocese to Novgorod, for further training [АГНЦЕВ 1889: 12].

The newly introduced grammatical method of teaching Church Slavonic was an obvious counterpart to the grammatical method of teaching Latin. While Church Slavonic was intuitively comprehensible to any Russian speaker, even within the traditional educational system, Latin could not be taught without proper study of its grammar. Since Latin was the standard language of education, it was only natural that methods of teaching Latin were expanded and projected onto the teaching of other languages, Church Slavonic among them.

4. The Spread of “Latin Training”

Despite the initial setbacks in establishing ecclesiastical schools, in the mid-1720s basic Latin (*наука элементарная латинская*) began to be taught at seminaries in Kazan, Nizhny Novgorod, Kolomna, and Ryazan. Seminaries in Tver and Novgorod, as well as the Alexander Nevsky Seminary, ran classes in both Latin and Greek [ТИТЛИНОВ 1905: 376–377; ОПИСАНИЕ, 19: 616–620]. By the late 1720s, top seminaries in the regions offered courses in poetics (Nizhny Novgorod) and even rhetoric (Novgorod). Although only the Slavic Greek Latin Academy in Moscow offered a complete course of study, regional seminaries, too, could boast an increasing number of students who were proficient, at least to some extent, in Latin. That allowed the new, Latin-oriented educational system finally to settle in. But the process took time: provincial seminaries suffered from the permanent lack of financial support,

⁷ “. . . по той Духовнаго регламента силе заказано в епархии моей, дабы кроме одного славенскую грамматику окончавших никого учить никто отнюдь не дерзал, а учили б всех учиться хотящих оные грамматисты, дабы правильное учение во всех возрастало” (РГИА, ф. 796 оп. 4 ед. хр. 440).

books, students, trained teachers, and even enthusiastic church hierarchs, and the main question was the financing of the seminaries, which was not defined until the late 1730s [Титлинов 1905: 377, 391–392, 398–414].

A number of decrees from 1737 and 1738 (at the end of Empress Anna's reign) outline the structure of seminaries, which were supposed to "teach reading and writing in the Russian language, *then* grammar, rhetoric, and other sciences of a higher order"⁸ [ПСЗ, 10: 257]. Let me underline that the point about the "teaching in the Russian language" referred, in these decrees, only to the primary skills of reading and writing and not to the choice of language of the further training; thus, we cannot assume that "grammar, rhetoric and other sciences" might have been studied in Russian. The study of grammar theoretically could be adapted for the classes of Church Slavonic; but a subject such as rhetoric, however, to say nothing of philosophy and theology, were only applicable when taught in Latin, thus requiring prior mastery of the language itself [СТРАТИЙ И ДР. 1982; СУТОРИУС 2008]. This we can see in the Decree on Establishing a Seminary at the Troitskaya Lavra, which points out the need for teaching "Latin, Greek, and, if possible, the Hebrew language as well, starting with grammar and aiming as high as rhetoric, philosophy, and theology" [ПСЗ, 10: 620].

From that moment on, "Latin literacy" (*латинская образованность*) became the symbolic core of ecclesiastical education. Indirect evidence for this can be found in the accounts of fathers who sent their sons to seminaries in the 1740s and 1750s. They had to fill out papers stating the purpose of enrolling their child in the program. The only reason given for enrolling their son was "mastering the Latin (less often, "the Greek-Latin" [*греколатинский*]) dialect" (РГБ, ф. 277 ед. хр. 1, 2 и др.; ф. 757 к. 2. д. 2; РГАДА, ф. 1189 ед. хр. 332 и др). It was not until the 1770s that some fathers began to list "mastering various sciences" (*для обучения разным наукам*) as the purpose for enrolling (РГБ, ф. 277, ед. хр. 5), but I have found only a few examples of this formula.

Schools of this new type encountered numerous problems (shortage of funding, lack of teachers and books, student drop-outs, social and cultural rejection by many fathers; see [СМОЛИЧ 1996: 394–395]). Nevertheless, by the 1740s most new seminaries had classes at the senior level in poetics (in Kholmogory, Ryazan, and Novgorod) or rhetoric (in Vologda, Vyatka, Pskov, and Pereslavl). Seminaries in Smolensk and Kazan were the first to have introduced a higher level course—that of philosophy. Apparently, by that time the most advanced students, who had started at the elementary level in the early 1730s, were proficient enough to take up poetics, rhetoric,

⁸ "... надлежит обучать на российском языке грамоте, а потом грамматике, риторике и других вышних наук."

and philosophy.⁹ Yet, until late in the 18th century, relatively few children of the clergy would have access to “Latin education”; only a few could afford to take a complete course of seminary study (statistics for Tver can be found in [МАТИСОН 2009: 113–124]; for Pskov, in [КНЯЗЕВ 1866]; and partial data for Siberia, in [ПОБЕДИНСКИЙ 1896]).

5. The Beginner Level of Study

From the 1740s, teaching Latin in seminaries was to be enhanced even at the primary level: it was considered crucial to start learning the language as early as possible. Thus, reading and writing in Russian were once more relegated to the pre-seminary level. The 1738 Decree on Establishing the Troitskaya Seminary specifies that “only boys 10 to 15 years of age, and capable of reading and writing in Russian” be admitted for study [ПСЗ, 10: 620]. Boys who were not sufficiently literate (that is, they struggled to read and write in Church Slavonic) were returned to their fathers for a certain period (between one and three years) for further preparation.

Still, the majority of regional seminaries continued to host a “Russian School” (sometimes called Slavonic-Russian, Writing School, Orphan School, or School for Russian Grammar). There, illiterate children would learn to read and write, and semiliterate children would perfect their skills until they were declared fit for further training in the seminary. Russian schools in seminaries were originally meant for orphans and for children of the poorest families, although in reality, that rule was largely disregarded.¹⁰ In some cases, the function of a Russian school was performed by a private school in the town. In Voronezh, for example, illiterate children would be sent (during the 1740s) to study the Primer, the Psalter, and the Book of Prayers under the church reader Fyodor Ivanov [НИКОЛЬСКИЙ 1898: 36–37].

Russian schools hosted by seminaries, while the lowest in status, had the largest attendance of all. In 1738, the Voronezh Seminary had 407 students in its Slavonic-Russian School, whereas there were only 120 in the Slavonic-

⁹ Inevitably, the success of a Latin-based school depended on its geographical location, namely, its proximity to the capital city. Other major factors included the prosperity of the diocese and the funding available; the ability to get quick deliveries of books from the capital; the bishop’s background and his commitment to supervision of the seminary, etc. Freeze dates the settling of a Latin-based school system by the 1760s [FREEZE 1977: 94]; in fact, though, by 1739 Latin figured (to varying extents) in the school curricula of every diocese except Ryazan, Suzdal, Tobolsk, and Irkutsk [ОПИСАНИЕ, 19: 616–620].

¹⁰ In 1742, for example, Bishop Stefan Kalinovskiy demanded that the Russian school at the Pskov Seminary should keep only orphaned boys and sons of the poorest local families, and the rest of the pupils should be sent back to their fathers for home tuition [КНЯЗЕВ 1866: 15]. In 1768 the Russian school there was joined with the informatoria class [ИВ.: 32]. In 1780 another attempt was made to open a separate school for orphans, one that was supposed to teach reading in Russian and singing. The best pupils were to be taught to read and write in Latin [ИВ.: 28].

Latin branch [ТИТЛИНОВ 1905: 393]. In 1740, the Pskov Seminary had 114 students in the Slavonic-Russian School, but only 35 boys attended the fara [КНЯЗЕВ 1866: 7–9].

The curricula of Russian schools remained largely traditional: teachers used the primers, the Psalter, and the Prayer Book; in the second half of the century they could add arithmetic, Catechism, Church statutes, history of the Church, singing, cursive writing, "the compilation of church registers and certificates, and the construction of short tables and notes [from them]" (составление церковных росписей, метрик и извлечение из них кратких табелей), and a few other subjects [ПОБЕДИНСКИЙ 1896: 46; СМИРНОВ 1855: 308; АГНЦЕВ 1889: 114].

Thus, primary education was still quite traditional for any child, regardless of his place of study—whether he was home-taught or attended a Russian school at a seminary. It included reading in Church Slavonic (from the Primer, the Psalter, or the Book of Prayers; see [МОШКОВА 2013]), and writing in Russian, which, until the last quarter of the 18th century, presumably meant mastering the Russian cursive. The Synodal prescription to teach "civil print" (*гражданская печать*) along with Church Slavonic did not appear until 1781; it was endorsed by shipping new "civil Primers" to every diocese [НЕЧАЕВА 2005: 19]. Apparently, seminary students could read civil print long before that, since many schoolbooks for secondary and senior levels were printed in civil characters. From 1781, however, the use of civil primers was required at the seminary beginner level.

In rare cases, fathers who had already had seminary training themselves could start teaching Latin to their sons beforehand. Thus, Stefan Levitsky, a prominent preacher and priest at the Kremlin Uspensky Cathedral, testified that his son Ivan had "skills of reading and writing in Russian and Latin" (обучен российскому и латинскому чтению и писанию) by the time he was admitted to the Slavic Greek Latin Academy (РГБ, ф. 277. ед. хр. 2, л. 20).

6. Russian Schools at the Turn of the 19th Century

By the end of the 18th century, Russian schools were not so much preparing children for further study of "the Latin science" as teaching pupils with learning difficulties who failed to master Latin and got stuck at the beginner level for several additional years. On August 25, 1800, the Synod issued a decree prescribing the training of the "less capable ones" as *vergers* (*причетники*—key local agents of confessionalization). They were to be taught at Russian schools; those seminaries that had no such school were obliged to open one. The required subjects were reading, Church regulations and proceedings, singing, writing, Catechism and sacred history, and other topics relevant for performing their future duties [ПСЗ, 17: 278].

On March 18, 1803, another decree followed, prescribing the establishment of Russian schools in accordance with the curriculum compiled by Amvrosy Podobedov. They were supposed to have three grades (all in all, a five-year course of study), and the following set of subjects (РНБ ф. 522 ед. хр. 209 л. 170):

a) The first grade (one year of study): reading in Church Slavonic and Russian (“Slavonic and civil print”), calligraphy, regular church singing, and the study of the *Brief Course of Russian Grammar* by E. Syreishchikov.

b) The second grade (two years of study): world and Russian history, geography, arithmetic, and *computus* (Пасхалия).

c) The third grade (two years of study) implied the most intensive study. The boys were supposed to be taught basic logic (most probably, from the *Brief Course of Logic for the Benefit of the Russian Youth*, Moscow, 1788); rhetoric in Russian (based on Gallien de Salmoranc’s *Eloquence, or Brief Rules of Rhetoric for General Use*, St. Petersburg, 1785); and the full Catechism and church regulations. Among other books marked for study were *On Duties of the Individual and the Citizen; On the Position of the Parish Presbyter* by Parfeny Sopkovsky and Georgy Konissky (Moscow, 1796), and the *Brief Guide to Reading the Old and New Testament* by Amvrosy Podobedov (Moscow, 1779).¹¹

The demarcation line between Russian schools and seminaries was clearly drawn by the ability of students to master Latin: “. . . children of priests and other clergy who prove incapable of mastering higher sciences and the Latin language, which is habitually used to teach said sciences, can still hone the natural abilities of their intellects, and thus become good and helpful servants to the Church” [ПСЗ, 27: 502]. Graduates of such schools were not only entitled to hold the position of verger, but were also allowed to teach children in parish schools. In some cases, they could even become priests in village churches [IBID.].

Understandably, not every Russian school had this structure, and not all of the officially prescribed subjects were actually taught. In the Pskov Seminary, the first grade of the Russian school was merged with the informatoria, and, furthermore, Russian grammar was moved to the second grade, which, apparently, never opened [КНЯЗЕВ 1866: 31–32]. As a result, the Russian school at the Pskov Seminary taught reading in Church Slavonic and civil print, Russian cursive, the brief Catechism, choir singing, and arithmetic [IBID.: 40]. In

¹¹ *Краткая логика, или Умсловие, служащее в пользу российского юношества*, Москва, 1788; ГАЛЬЕН ДЕ САЛЬМОРАН, *Краснословие или Риторика в кратких правилах для всеобщего употребления*, С.-Петербург, 1785; *О должностях человека и гражданина*, С.-Петербург, 1783; ПАРФЕНИЙ СОПКОВСКИЙ, ГЕОРГИЙ КОНИССКИЙ, *О должностях пресвитеров приходских*, Москва, 1796; АМВРОСИЙ ПОДОБЕДОВ, *Краткое руководство к чтению книг Ветхого и Нового Завета*, Москва, 1779.

Tambov, classes were closed down for lack of students [ЗНАМЕНСКИЙ 1881: 743]. The Troitskaya Seminary and seminaries in Kazan, Ryazan, Voronezh, and a few other towns, however, implemented Amvrosy Podobedov's plan, and survived until between 1808 and 1816 [СМИРНОВ 1867: 325–326; МОЖАРОВСКИЙ 1877: 22–23; АГНЦЕВ 1889: 125; НИКОЛЬСКИЙ 1898: 172–173].

During the 1800s, Russian schools modeled on Amvrosy's plan became the primary sites of practical ecclesiastical education, much in demand among the ordinary clergy. In fact, this model was so popular that Latin-based education, by then viewed as traditional, could no longer compete. Priests and the lower clergy preferred to send their sons to Russian schools only, since their students would acquire knowledge and skills in their own language, while escaping the "Latin science." In 1816, Archbishop of Kazan Amvrosy Protasov demanded the closure of the "extended" Russian school, retaining only the classes for "less capable ones." His reasoning was as follows: "Russian schools are not only useless; indeed, they do a lot of harm for the clergy's enlightenment, since the clergy enroll their sons in Russian classes instead of sending them to an academy for a complete course. Instead of becoming worthy and capable servants of the church, they end up being not scholars but rather non-scholars [. . . и так делаются не учеными, но не учеными]. Therefore I suggest that such classes be dismissed but for the first grade, which is to be preserved for teaching beginners who prove incapable of any other study. It is to be understood that after leaving such a school they can only serve as vergers"¹² [МОЖАРОВСКИЙ 1877: 45–46]. As early as 1808 a similar fate befell a very successful Russian school in Ryazan. It was reorganized, with two grades emerging: one for "students preparing for the study in Latin schools," and the other remained "solely Russian, for those who train to be vergers" [АГНЦЕВ 1889: 125].

7. Primary Classes at Seminaries

Primary classes at seminaries were inevitably bilingual. Teaching Latin to beginners had to draw on the children's own language. After the level of the informatoria, however, Russian was no longer the subject of study. Secondary classes were exclusively focused on Latin, and therefore carried out entirely in Latin. Traditionally, the basics of Latin were studied by using the grammar book by Alvar; in the second half of the century, pupils would also use the

¹² "Русские классы совершенно почитаю я не только бесполезными, но и вредными просвещению духовенства; ибо очень приметно, что духовные, вместо того, чтобы записывать детей своих в академию для окончания академического курса, и тем сделать их со временем достойными служителями церкви, записывают их в русские классы; и так делаются не учеными, но не учеными. Почему и нужно их уничтожить, как не отвечающие и новому уставу, кроме первого, который должен оставаться только для тех учеников низших классов, кои неспособны окажутся к учению, и притом с тем, чтобы они из оного выходили только на причетнические места."

Brief Latin Grammar by Lebedev, the *Latin Grammar* by Bantysh-Kamensky, and others. But very few of the materials that could illustrate the use of Russian in the process of teaching Latin have survived to this day.

A rare example of early 18th-century school materials can be found in Ra-fail Zaborovsky's "Treatises on Home Pursuits and School Exercises" (Трактаты окупаций домашних и экзерцией школьных Рафаила Заборовского, РНБ, ф. 577, ед. хр. 77). These are school texts for the classes of infima, grammar, syntaxima, and poetics, used at the Slavic Greek Latin Academy between 1714 and 1716. Every text, except the section on poetics, is bilingual (each exercise is given in Latin and in Russian). Poetics, however, is presented only in Latin. This corresponds to the tradition of Latin poetics and rhetoric, which had originated at the Kiev Academy and was then transplanted to Russian seminaries [ВОМПЕРСКИЙ 1988: 29–38; СТРАТИЙ И ДР. 1982].

A similar balance of Russian and Latin in primary classes can be observed in the materials of the Novgorod Seminary as late as the turn of the 19th century (РНБ, ф. 522, ед. хр. 209). In 1802, the informatoria students were taught "Latin and Russian calligraphy, Russian cursive, and, to the best of their abilities, Latin cursive and the basics of Latin grammar" (fol. 91). The two grammar classes (the lower and the higher level) studied Latin grammar and read Latin authors (Julius Caesar, Cicero, Cornelius Nepos, Phaedrus' fables, and so forth). The students practiced translating long "periods" from Russian to Latin and vice versa; they would also memorize sample conversations in Latin from the *Colloquia Scholastica* by Maturinus Corderius. In this higher level, teachers were supposed to talk to the students mostly in Latin: "At most times, teachers themselves shall speak Latin so that their pupils can become accustomed to Latin discourse" (для приучения учеников к латинскому разговору по большей части и сами [учителя] говорят по-латине, fol. 90v.).

This approach (with slight variations) was the predominant educational model for the mid- and late 18th century in the Voronezh, Ryazan, and Vladimir seminaries [НИКОЛЬСКИЙ 1898: 147–148; АГНЦЕВ 1889: 114–115]. In the latter establishment, the informatoria class would be taught reading and writing in the Russian and Latin languages; the students would also read the minor Catechism and memorize "Latin vocabulae"—the most commonly used words. Grammar classes would continue the study of Russian grammar, doing translations from Russian to Latin. Starting mid-term, they would analyze "sample conversations with scrutiny of etymology and rules of grammar" (школьные разговоры с разбирательством этимологических и грамматических правил [НАДЕЖДИН 1875: 105]). At that point, the teacher would switch to Latin. In the syntaxima, teachers and students were to communicate in Latin only. They would study the *Latin Grammar* by Alvar, translate from Latin to Russian, read conversations of Erasmus and Castellion in Latin, memorize

more difficult words from the *Cellarius* ("Христофора Целлария Краткой латинской лексикон с российским и немецким переводом. . ."), and they would also start writing poems in Latin [ИВИД.: 104–105]. In some seminaries, students would learn a whole grammar book (such as the *Grammar* by Bantysh-Kamensky) by heart, and not just the Latin but the Russian part as well [АГНЦЕВ 1889: 114–115].

8. Conclusions

During most of the 18th century, primary education in "Slavensky" was little different from the traditional, pre-Petrine, model. Teaching based on pre-Petrine Slavonic grammar books (by Smotrisky, Polikarpov, Maksimovich, and others) could continue in archiereus' schools and seminaries, but was not universally employed. By the end of the 18th and the turn of the 19th century, there were new grammars of the Russian language.

Complete rejection of Russian was only possible (theoretically) at secondary and higher levels of study, by which time the students' Latin would have become fluent enough. The implementation of that model, however, varied greatly depending on the student's abilities, the teacher's training and background, and the regulations introduced by the supervising bishop. In their original Polish-Ukrainian model, classes in poetics, rhetoric, philosophy, and theology were largely or even completely Latin-oriented. However, from the mid-18th century on, Slavic vernaculars would play an increasingly important role in the teaching process, starting with poetics and rhetoric and eventually going up to the level of theology.

The 1786 Decree on Common Schools (Устав о народных училищах) endorsed and extended teaching in Russian, but also the teaching of Russian itself. The decree was extended to include seminaries as well. It even promoted Russian at the senior level of seminary education [ЗНАМЕНСКИЙ 1881: 792]; however, it could not displace Latin at primary and secondary levels. The rector and the prefect of the Troitskaya Seminary discouraged teachers from enhancing Russian in primary-stage classes: "If we accept the regulations for common schools as far as Russian literacy and writing are concerned, we may well expect poorer performance in Latin, since those who first have to do a course in Russian grammar and writing would start learning Latin at a much later stage."¹³

Therefore, Russian did not become a full-fledged subject at the initial level of seminary training, even after 1786. It remained a preparation course before the switch into the "Latin-based" system.

¹³ "... ежели принять правило народных училищ в рассуждении учения российской грамоте и писанию, то предвидится из того впредь последовать препятствие успехам в латинском языке, ибо те, которые должны будут учиться наперед российской грамоте и писанию, к учению латинского языка будут приступать уже гораздо позже. . ." [СМИРНОВ 1867: 328].

Yet the principal method of language teaching at the time was the translation. Therefore, exercises in translation that students would do throughout their course in the seminary (not only in Latin classes, but also while studying Greek, Hebrew, French, or German) naturally became the ground for improving their practical command of Russian. The quality of the Russian text resulting from such translation would be closely scrutinized. Thus, beginner students at the Ryazan seminary would get simple translating assignments, but the resulting text was to be stylistically adjusted for the target language “without any of the barbaric phrasing which is equally deplorable in Latin and in Russian” [АГНЦЕВ 1889: 115]. Platon Levshin would repeatedly prescribe that close attention be paid to the quality of translated texts and the idiom used therein [СМИРНОВ 1867: 310]. The bishops of Voronezh would regularly insist on ensuring correctness of Russian spelling and Church Slavonic reading throughout the latter half of the 18th century [НИКОЛЬСКИЙ 1898: 168–170]. This was especially important for those regions in which students were speakers of Ukrainian or a southern Russian dialect [ЗНАМЕНСКИЙ 1881: 736]. At the turn of the 19th century, the actor Yakovlev even taught correct articulation and public reading at the Alexander Nevsky Seminary [ЧИСТОВИЧ 1857: 126].

Thus, “Slavensky” and Latin would be distributed, at the beginner level of seminary training, according to the role that each of the two languages played in the lives of the students. Russian was a tool for teaching Latin, which, in turn, was “the key to higher learning.” Nevertheless, students continued to perfect and hone their practical Russian skills due to their constant exposure to translation during their course of study. Latin interference in the Russian language (especially in syntax) was the logical consequence of this process. It was only Church Slavonic that would be completely dropped from the curricula after the initial courses in reading and church singing. This led to its conservation as the language reserved for church services only, and the eventual extinction of the hybrid linguistic form.

Bibliography

FREEZE 1977

FREEZE G. L., *The Russian Levites. Parish Clergy in the Eighteenth Century*, Cambridge, London, 1977.

HERRMANN 1872

HERRMANN E., Hrsg., *Russland unter Peter dem Grossen. Nach den handschriftlichen Berichten Johann Gotthilf Vockerodt's und Otto Pleyer's*, Leipzig, 1872.

OKENFUSS 1973

OKENFUSS M. J., “The Jesuit Origins of Petrine Education,” in: J. G. GARRAND, ed., *The Eighteenth Century in Russia*, Oxford, 1973, 106–130.

——— 1995

OKENFUSS M. J., *The Rise and Fall of Latin Humanism in Early-modern Russia. Pagan Authors, Ukrainians, and the Resiliency of Muscovy*, Leiden, New York, Köln, 1995.

РЈЕОУТСКИ 2016

РЈЕОУТСКИ V., "Native Tongues and Foreign Languages in the Education of the Russian Nobility: The Case of the Noble Cadet Corps (the 1730s–1760s)," in: N. McLELLAND, R. SMITH, eds., *The History of Language Learning and Teaching, 1: 16th–18th Century Europe*, Oxford, 2016 (forthcoming).

WAQUET 2001

WAQUET F., *Latin or The Empire of a Sign: From the Sixteenth to the Twentieth Centuries*, London, New York, 2001.

АГНЦЕВ 1889

АГНЦЕВ Д., *История Рязанской духовной семинарии*, Рязань, 1889.

ВОМПЕРСКИЙ 1988

ВОМПЕРСКИЙ В. П., *Риторика в России XVII–XVIII вв.*, Москва, 1988.

ЖИВОВ 1996

ЖИВОВ В. М., *Язык и культура в России XVIII века*, Москва, 1996.

ЗНАМЕНСКИЙ 1881

ЗНАМЕНСКИЙ П., *Духовные школы в России до реформы 1808 года*, Казань, 1881.

КИСЛОВА 2013

КИСЛОВА Е. И., «Природный язык» и язык обучения в духовном образовании XVIII века", in: S. ULRICH, E. KISLOVA, E. KUBICKA, Hrsg., *Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik* (= POLYSLAV, 16), München, Berlin, Washington, D.C., 2013, 102–108.

КНЯЗЕВ 1866

КНЯЗЕВ А., *Очерк истории Псковской семинарии от начала до преобразования ее по проекту 1814 года*, Москва, 1866.

КОШЕЛЕВА 2012

КОШЕЛЕВА О. Е., "Обучение в русской средневековой православной традиции", в: *Одиссей. Человек в истории. 2010/2011*, Москва, 2012, 47–72.

КРАВЕЦКИЙ 1999

КРАВЕЦКИЙ А. Г., "Литургический язык как предмет этнографии", в: Е. Е. Левкиевская, ред., *Славянские этюды. Сборник к юбилею С. М. Толстой*, Москва, 1999, 228–242.

ЛЮБЖИН 2014

ЛЮБЖИН А. И., *История русской школы, 1: Русская школа XVIII столетия*, Москва, 2014.

МАТИСОН 2009

МАТИСОН А. В., *Православное духовенство русского города XVIII века. Генеалогия священно-церковнослужителей Твери*, Москва, 2009.

МЕЧКОВСКАЯ 1985

МЕЧКОВСКАЯ Н. Б., "Архаическое и новое в лингвистическом сознании одной эпохи (к характеристике восточнославянских грамматик XVI–XVII вв.)", *Slavica Tartuensia*, 1, 1985, 15–24.

МИРОНОВ 2003

МИРОНОВ Б. Н., *Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.)*, С.-Петербург, 2003.

МОЖАРОВСКИЙ 1877

МОЖАРОВСКИЙ А. П., "Старая Казанская академия", *Чтения в императорском обществе истории и древностей Российских при Московском университете*, 2, 1877, 1–131.

МОШКОВА 2013

МОШКОВА Л. В., "Роль конфессионального фактора в развитии литературы для начального обучения на славянских языках в XVIII в.", в: О. Е. Кошелева, Л. В. Мошкова, *Западноевропейская и российская учебная литература XVI – начала XX вв. (конфессиональный аспект)*, Москва, 2013, 191–216.

НАДЕЖДИН 1875

НАДЕЖДИН К., *История Владимирской духовной семинарии (с 1750 года по 1840 год)*, Владимир, 1875.

НЕЧАЕВА 2005

НЕЧАЕВА Л. В., “Православные духовные школы Западной Сибири в XVIII веке. (К 300-летию духовной школы в Сибири)”, *Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена*, 5/11, 2005, 15–31.

НИКОЛЬСКИЙ 1898

НИКОЛЬСКИЙ П., *История Воронежской семинарии*, 1, Воронеж, 1898.

ОПИСАНИЕ, 19

Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода, 19: 1739 г., С.-Петербург, 1913.

ПОБЕДИНСКИЙ 1896

ПОБЕДИНСКИЙ М., *Старинные Томские духовные школы (1746–1820 гг.)*, Томск, 1896.

ПОСОХОВА 2011

ПОСОХОВА Л. Ю., *На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII – на початку XIX ст.*, Харків, 2011.

ПСЗ, 1–45

Полное собрание законов Российской империи, 1–45, С.-Петербург, 1830.

РАМАЗАНОВА 2003

РАМАЗАНОВА Д. Н., “Братья Лихуды и начальный этап истории Славяно-Греко-Латинской академии” (диссертация [. . .] канд. ист. наук, Москва, 2003).

СИНОД 1722, 2

Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. 1722 г, 2/2, С.-Петербург, 1878.

СМИРНОВ 1855

СМИРНОВ С., *История Московской Славяно-греко-латинской академии*, Москва, 1855.

— 1867

СМИРНОВ С., *История Троицкой лаврской семинарии*, Москва, 1867.

СМОЛИЧ 1996

СМОЛИЧ И. К., *История русской церкви. 1700–1917*, 8/1, Москва, 1996.

СОБОЛЕВСКИЙ 1903

СОБОЛЕВСКИЙ А. И., *Переводная литература Московской Руси XIV–XVII веков*, С.-Петербург, 1903.

СТРАТИЙ И ДР. 1982

СТРАТИЙ Я. М., ЛИТВИНОВА В. Д., АНДРУШКО В. А., *Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии*, Киев, 1982.

СУТОРИУС 2008

СУТОРИУС К. В., “Источники по истории преподавания православного латиноязычного богословия в России в первой половине XVIII века” (диссертация [. . .] канд. ист. наук, С.-Петербург, 2008).

СУХОВА 2013

СУХОВА Н. Ю., *Духовные школы и духовное просвещение в России (XVII – начало XX в.)*, С.-Петербург, 2013.

ТИТЛИНОВ 1905

ТИТЛИНОВ Б. В., *Правительство Анны Иоанновны в его отношениях к делам православной церкви*, Вильна, 1905.

УОРТМАН 2004

УОРТМАН Р. С., *Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии*, 1, Москва, 2004.

УСПЕНСКИЙ 1997

УСПЕНСКИЙ Б. А., "Старинная система чтения по складам (Глава из истории русской грамоты)", в: Он же, *Избранные труды*, 3: *Общее и славянское языкознание*, Москва, 1997, 246–267.

— 2002

УСПЕНСКИЙ Б. А., *История русского литературного языка (XI–XVII вв.)*, Москва, 2002.

ФЛОРОВСКИЙ 1981

ФЛОРОВСКИЙ Г., *Пути русского богословия*, Paris, 1981.

ФОНКИЧ 2009

ФОНКИЧ Б. Л., *Греко-славянские школы в Москве в XVII веке*, Москва, 2009.

ЧИСТОВИЧ 1857

ЧИСТОВИЧ И. А., *История С.-Петербургской духовной академии*, С.-Петербург, 1857.

Acknowledgements

Council for Grants of the President of the Russian Federation (grant МК-4924.2015.6)

References

- Florovsky G., *Puti russkogo bogosloviia*, Paris, 1981.
- Fonkich B. L., *Greko-slavianskie shkoly v Moskve v XVII veke*, Moscow, 2009.
- Freeze G. L., *The Russian Levites. Parish Clergy in the Eighteenth Century*, Cambridge, London, 1977.
- Kislova E. I., "«Prirodnyi iazyk» i iazyk obucheniia v dukhovnom obrazovanii XVIII veka," in: S. Ulrich, E. Kislova, E. Kubicka, Hrg., *Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik* (= POLYSLAV, 16), München, Berlin, Washington, D.C., 2013, 102–108.
- Kosheleva O. E., "Obuchenie v russkoi srednevekovoi pravoslavnoi traditsii," in: Odissei. Chelovek v istorii. 2010/2011, Moscow, 2012, 47–72.
- Kravetsky A. G., "Liturgicheskii iazyk kak predmet etnografii," in: E. E. Levkieskaya, ed., *Slavian-skie etiuudy. Sbornik k iubileiu S. M. Tolstoi*, Moscow, 1999, 228–242.
- Liubzhin A. I., *Istoriia russkoi shkoly*, 1: *Russkaia shkola XVIII stoletii*, Moscow, 2014.
- Matison A. V., *Pravoslavnoe dukhovenstvo russkogo goroda XVIII veka. Genealogiia sviaschenno-tserkovnoslužhitelei Tveri*, Moscow, 2009.
- Mechkovskaya N. B., "Arkhaischeskoe i novoe v lingvisticheskom soznanii odnoi epokhi (k kharakteristike vostochnoslavianskikh grammatik XVI–XVII vv.)," *Slavica Tartuensia*, 1, 1985, 15–24.
- Mironov B. N., *Sotsial'naiia istoriia Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.)*, St. Petersburg, 2003.
- Moshkova L. V., "Rol' konfessional'nogo faktora v razvitii literatury dlia nachal'nogo obucheniia na slavianskikh iazykakh v XVIII v.," in: O. E. Kosheleva, L. V. Moshkova, *Zapadnoevropeiskaia i rossiiskaia uchebnaia literatura XVI – nachala XX vv. (konfessional'nyi aspekt)*, Moscow, 2013, 191–216.
- Nechaeva L. V., "Pravoslavnye dukhovnye shkoly Zapadnoi Sibiri v XVIII veke. (K 300-letiiu dukhovnoi shkoly v Sibiri)," *Izvestiia Rossiiskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena*, 5/11, 2005, 15–31.
- Okenfuss M. J., "The Jesuit Origins of Petrine Education," in: J. G. Garrand, ed., *The Eighteenth Century in Russia*, Oxford, 1973, 106–130.
- Okenfuss M. J., *The Rise and Fall of Latin Humanism in Early-modern Russia. Pagan Authors, Ukrainians, and the Resiliency of Muscovy*, Leiden, New York, Köln, 1995.
- Posokhova L. Yu., *Na perekhrestii kul'tur, traditsii, epokh: pravoslavni kolehiumy Ukraïny naprykintsii XVII – na pochatku XIX st.*, Kharkov, 2011.
- Smolich I. K., *Istoriia russkoi tserkvi. 1700–1917*, 8/1, Moscow, 1996.
- Stratiy Ya. M., Litvinova V. D., Andrushko V. A., *Opisanie kursov filosofii i ritoriki professorov Kievno-Mogilianskoi akademii*, Kiev, 1982.
- Sukhova N. Yu., *Dukhovnye shkoly i dukhovnoe prosveshchenie v Rossii (XVII – nachalo XX v.)*, St. Petersburg, 2013.
- Rjéoutski V., "Native Tongues and Foreign Languages in the Education of the Russian Nobility: The Case of the Noble Cadet Corps (the 1730s–1760s)," in: N. McLelland, R. Smith, eds., *The History of Lan-*

guage Learning and Teaching, 1: *16th–18th Century Europe*, Oxford, 2016 (forthcoming).

Uspenskij B. A., *Izbrannye trudy*, 3: *Obshchee i slavianskoe iazykoznanie*, Moscow, 1997.

Uspenskij B. A., *Istoriiia russkogo literaturnogo iazyka (XI–XVII vv.)*, Moscow, 2002.

Vomperskiy V. P., *Ritoriki v Rossii XVII–XVIII vv.*, Moscow, 1988.

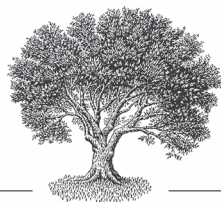
Waquet F., *Latin or The Empire of a Sign: From the Sixteenth to the Twentieth Centuries*, London, New York, 2001.

Wortman R. S., *Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy*, 1, Moscow, 2004.

Zhivov V. M., *Iazyk i kul'tura v Rossii XVIII veka*, Moscow, 1996.

Екатерина Игоревна Кислова, канд. филол. наук
старший преподаватель кафедры русского языка
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
119991 Москва, Ленинские горы, ГСП-1, МГУ, 1-й корпус гуманитарных
факультетов, филологический факультет
Россия / Russia
e.kislova@gmail.com

Received on August 4, 2015



**Академический
переводчик
Василий Егорович
Теплов***

**Academic
Translator
Vasily Teplov**

**Наталья Владимировна
Карева**

Институт лингвистических
исследований РАН,
С.-Петербург, Россия

Natalia V. Kareva

Institute for Linguistic Studies
of the Russian Academy of Sciences,
St. Petersburg, Russia

**Миляуша Габдрауфовна
Шарихина**

Институт лингвистических
исследований РАН,
С.-Петербург, Россия

Miliausha G. Sharikhina

Institute for Linguistic Studies
of the Russian Academy of Sciences,
St. Petersburg, Russia

Резюме

В статье описывается жизнь Василия Егоровича Теплова и его переводческая деятельность в С.-Петербургской Академии наук. Рамки переводческой деятельности, основы которой были заложены Петром I при создании Академии наук в С.-Петербурге, к середине XVIII в. значительно расширились. Однако круг академических переводчиков в тот период был достаточно ограничен, что создает определенный интерес к вопросам, связанным с обстановкой, в которой происходила их профессиональная подготовка. Особое внимание к В. Е. Теплову вызвано тем, что им был выполнен перевод “Новой французской грамматики”, первой русскоязычной печатной грамматики французского языка, вышедшей в 1752 г. В связи с этим представляется важным изучение условий и обстоятельств, в которых создавался данный перевод. Значительным также представляется вопрос, какими иностранными языками владел В. Е. Теплов и в какой степени. Статья основана как на опубликованных, так и не изданных ранее материалах,

* Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 13-34-01222 “Формирование русской академической грамматической традиции: «Новая французская грамматика» В. Е. Теплова” (руководитель — Н. В. Карева).

хранящихся в фондах С.-Петербургского филиала Архива РАН. Сведения о В. Е. Теплове в документах Канцелярии АН ограничиваются началом 60-х годов XVIII в., вследствие чего наше исследование не претендует на полноту и предполагает дальнейшие разыскания в данной области. Определенный интерес для научного сообщества должны представлять приводимые в статье сведения о быте и нравах в академической среде середины XVIII в.

Ключевые слова

Российская академия наук, академические переводчики, Василий Теплов, XVIII век, грамматика французского языка

Abstract

The aim of this paper is to outline the career of Vasily Teplov during his time at the St. Petersburg Academy of Sciences, with a special focus on his approach to translation. The first attempts at translating foreign books at the Russian Academy of Sciences were undertaken shortly after its foundation, and the number of translated books increased significantly in a short period of time. Because there were so few translators at the Academy, issues relating to the environment in which their training was carried out deserve special attention. Our focus on Teplov is motivated by the fact that he prepared a translation of the *New French Grammar*, the first Russian printed grammar manual of the French language; his translation was published in 1752. The conditions and circumstances in which the *New French Grammar* was prepared are important in establishing translation activities at the Academy in the middle of the 18th century. Our study is based on published and unpublished materials stored in the collections of the St. Petersburg branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences. As we do not encounter any references to Teplov in documents from the Academy before the early 1760s, our study of Teplov's life and activity does not purport to be complete—indeed, it proposes further research in this field. We also provide some pieces of information regarding the life and customs of academic society in the middle of the 18th century.

Keywords

Russian Academy of Sciences, academic translators, Vasily Teplov, 18th century, French grammar

Переводческая деятельность, начало которой было положено Петром I при основании Академии наук в С.-Петербурге [МАН, 1: 74–76], к середине XVIII в. значительно расширилась. Между тем проблема недостатка в переводчиках еще остро ощущалась. Об этом свидетельствует следующее постановление Академии наук, основанное на указе Елизаветы Петровны от 27 января 1748 г.¹:

¹ Данный указ предписывал “стараться при академіи наукъ переводить и печатать на русскомъ языкѣ книги гражданскія различнаго содержанія, въ которыхъ бы польза и забава соединена была съ пристойнымъ къ свѣтскому житію нравоученіемъ” [МАН, 9: 53].

за недовольством при академіи переводчиковъ, чтобъ желающіе для перевода данныхъ отъ академіи книгъ явились въ канцелярію академіи наукъ, которымъ, по переводѣ книгъ и по напечатаніи, нѣсколько экземпляровъ учинено будетъ вознагражденія и въ заглавіи имя его напечатано быть имѣть съ похвалою [МАН, 9: 53].

Круг академических переводчиков был в это время довольно ограничен, и представляется актуальным изучение их деятельности, а также той среды, в которой происходила их профессиональная подготовка.

Сведений о Василии Егоровиче Теплове — переводчике, служившем в Академии наук в 1750–1760-е гг., — известно немного. Среди опубликованного материала имеется лишь биография В. Е. Теплова, изложенная в небольшой статье Е. С. Кулябко в “Словаре русских писателей XVIII века”, а также отрывочные данные в “Материалах для истории Императорской Академии наук”. Его имя впервые упоминается в академических документах в 1746 г., причем характер этих упоминаний сразу обращает на себя внимание. В. Е. Теплов, снискавший впоследствии известность благодаря своим переводам, появляется в Академии в качестве студента, уже обучавшегося какое-то время за границей и знающего языки, однако остается неизвестным, куда он ездил и где учился. Отдельный интерес вызывает то, что многие события его жизни происходили при неизменном участии влиятельного родственника — дяди, Григория Николаевича Теплова, приближенного к семье Разумовских² [ПЕКАРСКИЙ 1870: 54]. После 1756 г. имя В. Е. Теплова пропадает из академических дел: возможно, он оставил службу в Академии наук. Дальнейшая его жизнь остается для нас неизвестной.

Доступные нам документы, хранящиеся в С.-Петербургском филиале Архива Российской академии наук (далее в ссылках на архивные документы — СПбФ АРАН) и частично опубликованные в “Материалах для истории Императорской Академии наук”, предоставляют сведения только о деятельности В. Е. Теплова с 1747 по 1756 гг., связанной с обучением и работой в Академии наук. Этот период его жизни и стал предметом нашего исследования. В статье приводятся новые сведения о В. Е. Теплове, а также факты, представляющие интерес для изучения быта и нравов в академической среде середины XVIII в.

² Г. Н. Теплов (1711–1779), служивший сначала переводчиком с латинского языка, затем адъютантом в Академии наук, стал доверенным человеком в доме Разумовских с начала 1740-х гг. В 1743–1745 гг. Г. Н. Теплов сопровождал в заграничном путешествии К. Г. Разумовского, проходившего обучение в Кенигсберге и Страсбурге; после назначения последнего в 1746 г. президентом Академии наук Г. Н. Теплов был определен ассессором при Академической канцелярии, а в 1747 г. стал членом Академического собрания. В 1750 г. К. Г. Разумовский стал гетманом Малороссии и взял с собой Г. Н. Теплова, который, заведя гетманской канцелярией и подготовив ряд административных реформ, фактически управлял Малороссией [Кочеткова 2003].

Василий Егорович Теплов родился в Москве в 1731 (или 1732) году в семье капитана [МАН, 8: 333, 336; Кулябко 2010]. События его жизни до 1746 г. известны нам только на основании автобиографии, поданной им при поступлении в Академическую гимназию. В этом документе В. Е. Теплов указывает, что “будучи в малолѣтстве обучался въ академической гимназіи, на своемъ коштѣ. Въ [1]742 году ездилъ въ чужіе края на своемъ же коштѣ для обученія, а по возвращеніи въ [1]747 году въ Санкт Петербургъ опредѣленъ въ студенты съ жалованьемъ по сту рублевъ въ годъ, и былъ студентомъ до [1]750 году” (СПбФ АРАН, ф. 3, оп. 1, № 2332, л. 38). Можно предположить, что В. Е. Теплов вместе с Г. Н. Тепловым сопровождал в заграничном путешествии К. Г. Разумовского, однако подтверждающих это предположение документов нам найти не удалось. Что касается прохождения им гимназического курса до поездки за границу, то, помимо автобиографии, других подтверждающих этот факт свидетельств мы не обнаружили: в генеральных списках учеников гимназии за 1739–1741 гг. он не числится [МАН, 4: 292, 533–534, 795–797]. При этом в автобиографии отсутствуют сведения об обучении В. Е. Теплова в гимназии до сентября 1747 г. В документах Академической канцелярии, однако, об этом сохранилось несколько сообщений, первое из которых датируется 1 июля 1746 г.:

Господина адъюнкта Теплова свойственника Василья Теплова отослать къ профессору Леруа съ приказомъ, дабы онаго Теплова обучалъ въ гимназіи, чему оный пожелаетъ, и для того показать ему, Василью Теплову, классы (СПбФ АРАН, ф. 3, оп. 1, № 110, л. 208) [МАН, 8: 144].

Имя “адъюнкта Теплова” (Г. Н. Теплова) в тексте ордера возникает не случайно. Будучи его племянником, В. Е. Теплов сразу оказывается в привилегированном положении: в гимназии сам выбирает классы, какие “пожелаетъ”; при зачислении в университет он получит разрешение президента Академии наук К. Г. Разумовского обучаться наукам, “къ какимъ охоту имѣеть” [МАН, 8: 541]. Профессор П. Леруа определил его “въ латинскій и въ нижній французскій классы”, а также “информатору Ксиландеру приказалъ обучать математикѣ” (СПбФ АРАН, ф. 3, оп. 1, № 110, л. 210) [МАН, 8: 169, 333, 336].

В 1747 г. был утвержден регламент С.-Петербургского университета, в соответствии с которым требовалось набрать для обучения “тридцать человекъ молодыхъ и годныхъ людей въ студенты” (СПбФ АРАН, ф. 3, оп. 1, № 110, л. 15 об.) [МАН, 8: 541]. 1 сентября 1747 г. Теплов подает в Академическую канцелярию прошение о записи его в университет — его сразу же принимают в студенты с назначением ему жалования “по сту рублевъ на годъ” (СПбФ АРАН, ф. 3, оп. 1, № 110, л. 14–16; СПбФ АРАН,

ф. 3, оп. 1, № 2332, л. 38) [МАН, 8: 539, 541]. В университете Теплов должен был изучать языки, а также философию, историю и математику [МАН, 10: 296]. При этом известно, что до поступления в университет он уже знал некоторые иностранные языки: “Обучался я, именованный, на своемъ коштѣ въ другихъ государствахъ нѣмецкому, латинскому и французскому языкамъ, гдѣ былъ около трехъ лѣтъ” (СПбФ АРАН, ф. 3, оп. 1, № 110, л. 14; № 2332, л. 38; № 143, л. 85) [МАН, 8: 539].

В мае 1748 г. Теплов был назначен в Ведомостную экспедицию для перевода иностранных известий, публиковавшихся в “С.-Петербургских ведомостях” [МАН, 10: 38]. Здесь он работал с перерывами в 1748–1754 гг. вместе с переводчиками Академии наук В. И. Лебедевым, А. А. Барсовым и Г.-К. Фрейгангом. Вероятно, тогда же он познакомился с М. В. Ломоносовым, которому Академическая канцелярия поручила проверку переводов, выполнявшихся в Экспедиции [МАН, 9: 195].

Обучаясь в университете, В. Е. Теплов, как и другие студенты, жил в доме Строганова³ и делил комнату со студентами С. Котельниковым и В. Кузнецовым [МАН, 9: 527]. В первый год обучения Теплов, как и многие другие студенты, нечасто присутствовал на лекциях. Итогом этого явился вышедший в ноябре 1748 г. канцелярский указ, угрожавший студентам штрафом за непосещение профессорских занятий [МАН, 9: 543]. Сразу после появления указа в Академическую канцелярию обратился студент В. Кузнецов, объяснивший свое отсутствие на лекциях тем, что обязан был присутствовать на академической службе:

... ежедневно долженъ я, нижайшій, ходить, не выключая ни единого дня, для обсервации, что я и отправляю, въ чемъ можетъ засвидетельствовать господинъ профессоръ Браунъ и господинъ профессоръ Винсгеймъ. Сверхъ сего долженъ также ходить и для отправленія нужнѣйшихъ дѣлъ, которыя случаются въ географическомъ департаментѣ [...] присланъ былъ изъ канцеляріи академіи наукъ санктпетербургскій планъ [...] Но въ то самое время, въ которое я копировалъ вышепомянутый санктпетербургскій планъ, никоими мѣрами мнѣ на лекціи господъ профессоровъ ходить было невозможно [МАН, 9: 545].

Свои объяснения представили и другие студенты: А. Протасов и С. Котельников [там же: 548, 571], однако контроль за успеваемостью и прилежностью студентов в учебе усилился. Уже в декабре 1748 г. встречаем

³ Дом баронов Строгановых был построен во второй половине 1710-х годов недалеко от стрелки Васильевского острова. Удобное расположение дома стало причиной того, что с 1735 г. Академия наук предпринимала попытки разместить в нем гимназию [Костина 2013: 8]. А. Г. Строганов, владелец дома, назначил слишком высокую цену, поэтому первое время Академия наук снимала только “средний апартамент” [там же]. С сентября 1747 г. до октября 1756 г. в распоряжении Академии наук находились все три этажа дома, в котором размещались гимназия, университет, а также служебные квартиры [там же: 9].

отчет Г. Ф. Миллера, в котором приводятся полученные им от профессоров сведения о прилежности студентов, а также об их способностях и склонностях к изучению тех или иных дисциплин [там же: 615]. Согласно документу, В. Е. Теплов посещает лекции Ф. Г. Штрубе де Пирмонта по истории европейских стран, лекции по математике Г. В. Рихмана, в которых значится в числе “средних”. У других профессоров он не упоминается, о чем находим следующую запись: “Теплов редко гдѣ упоминается отъ господъ профессоровъ между слушателями, понеже онъ опредѣленъ къ переводамъ” [МАН, 9: 618]. Тем не менее способности В. Е. Теплова Г. Ф. Миллеру кажутся вполне достаточными для назначения ему премии: “Ежели студентамъ раздѣлить преміи по ихъ остротѣ, прилежности и искусству въ наукахъ, то слѣдующіе тому кажутся достойны: Протасовъ, Котельниковъ, Тепловъ . . .” [там же: 618].

Почти сразу после отчета профессоров В. Е. Теплову было предписано посещать назначенные ему лекции, “чрез которыя б он к переводам способнее быть мог”, и он был “до указу” отстранен от составления служебных переводов [МАН, 9: 621]. В феврале 1749 г. В. Е. Теплов вместе с другими студентами подписывает адресованное К. Г. Разумовскому письмо, в котором благодарит его за подаренные книги [там же: 682].

В апреле 1749 г. В. Е. Теплов, а также студенты А. Протасов и А. Барсов были наказаны за избиение студента Я. Козленицкого [МАН, 9: 720, 727–728]. Студентов было приказано “посадить в карцеръ и держать двѣ недѣли, и давать имъ чрезъ то время одинъ хлѣбъ съ водою, и денегъ изъ казны не давать болѣе, какъ только потребное число во время ихъ сидѣнія, и по освобожденіи по препорціи” [там же: 721]. Вероятно, плохая дисциплина среди студентов стала обычным явлением, так что ректору, Иоганну Эбергарду Фишеру, пришлось просить прислать солдат для усмирения студентов и наведения порядка в их среде:

Отъ профессора и ректора Фишера марта 20 дня [1749 года] поданъ репортъ, которымъ онъ объявляетъ, что студенты день ото дня отчасу хуже себя ведутъ и ихъ безъ великаго принужденія усмирить невозможно. И для того просить дать в университетъ шесть или восемь чловѣкъ солдатъ, которые б были подъ его командою [МАН, 9: 721].

В июле 1749 г. к Теплову был приставлен смотрителем К. Ф. Модерах. После увольнения в мае 1749 г. из Сухопутного шляхетского кадетского корпуса, где он служил адъютантом с мая 1745 г., К. Ф. Модерах был назначен адъютантом Академии наук с жалованьем 560 рублей в год [МАН, 9: 752]. В круг его обязанностей в Академии входило выполнение переводов и обучение студентов “россійскому, нѣмецкому и французскому штилю”, а также немецкому и французскому языкам (СПбФ АРАН, ф. 3, оп. 1, № 700, л. 168) [МАН, 9: 765]. К. Ф. Модерах должен был обучать

Теплова русскому, немецкому и французскому языкам, “наставлять переводному искусству”, а также контролировать посещение им лекций и его успеваемость [МАН, 10: 321, 38]⁴. Кроме того, К. Ф. Модераха обязали выполнять роль наставника В. Е. Теплова, вменив ему в обязанность “смотреть, чтобъ онъ поутру в настоящую пору вставалъ, ввечеру въ настоящѣе ж время спать ложился, и особливо старатся [sic! — Н. К., М. III.] о том, чтобъ онъ Тепловъ с нечестными или подозрительными людьми не обходился но жилъ бы тихо, уединенно, честно, добранравно и добродѣтельно” (СПбФ АРАН, ф. 3 оп. 1, № 459, л. 5) [МАН, 10: 38]. В. Е. Теплов в свою очередь должен был выполнять, “что ему адъюнктъ Модрах [sic! — Н. К., М. III.] прикажетъ” [там же].

В это время Теплов продолжал посещать лекции по философии профессора И. А. Брауна и по истории профессора Ф.-Г. Штрубе де Пирмонта [МАН, 10: 38, 296]. На экзамене в январе-феврале 1750 г. В. Е. Теплов показал хорошие результаты. Было отмечено, что в немецком и французском языках “довольный успехъ показалъ”, “авторовъ латынскихъ разумеетъ не худо”, “разумеетъ гисторию, наипаче новѣйшую” [там же: 296]. При этом было отмечено, чтобы “онъ прилагалъ во всемъ больше радѣнія” [там же]. В марте того же года В. Е. Теплова вновь определили к занятию переводами под наблюдением К. Ф. Модераха, позволив посещать лекции тогда, когда “онъ самъ отъ его дѣлв время себѣ избереетъ” [там же]. В качестве поощрения к дальнейшим занятиям В. Е. Теплову и некоторым другим студентам назначили прибавку к жалованью по 50 рублей к прежним ста рублям (СПбФ АРАН, ф. 3, оп. 1, № 460, лл. 67–68) [МАН, 10: 321].

В 1749 г. В. Е. Теплов приступил к переводу вышедшей в том же году “*Neue und vollständige Französische Grammatik*” [Кулябко 2010: 229; Власов 2011: 181]. Точными сведениями об обстоятельствах перевода мы не располагаем. Вероятно, заказ на подобный перевод поступил от Канцелярии Академии наук. На это указывает следующее замечание, которое приводится сначала в письменном прошении Теплова о назначении его переводчиком (СПбФ АРАН, ф. 3 оп. 1, № 143, лл. 85–89 об.), а затем в указе Канцелярии:

... дана ему <Теплову> была отъ канцеляріи академіи наукъ для переводу на російскій языкъ французская грамматика, именуемая Ресто, которую де онъ

⁴ Согласно сведениям, которые приводит П. П. Пекарский, назначение К. Ф. Модераха смотрителем при В. Е. Теплове было произведено намного раньше: “10 апрѣля 1749 г. Шумахеръ отдаетъ отчетъ Теплову о его племянникѣ Васильѣ Тепловѣ, говоря, что онъ его помѣстилъ къ адъюнкту Модераху, но не къ академику Фишеру: «послѣдній великій латинистъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и великій педантъ, циникъ и, кромѣ того, лѣнтяй»” [Пекарский 1870: 54]. Примечательно, что приводимый П. П. Пекарским отчетъ И. Д. Шумахера совпадает по времени с разбирательством и наказанием Теплова за избиение студента.

переводомъ и окончаль [. . .] по справкѣ въ канцеляріи академіи наукъ, французская грамматика, именуемая Ресто, для переводу на російскій языкъ объявленному студенту Теплову изъ канцеляріи академической дана была, которая имъ и переведена и въ канцелярію съ оригиналомъ подана [МАН, 10: 482].

Возможно, с самого начала перевод грамматики осуществлялся под надзором К. Ф. Модераха, который, как было отмечено выше, в этот период был наставником В. Е. Теплова. Кроме того, К. Ф. Модерах принимал определенное участие в самом переводе. Об этом свидетельствует запись в журнале Академической канцелярии, согласно которой “адъюнкту Модераху за поправление грамматики Ресто; а переводчику Теплову за переводъ оная выдать на русской комментарной бумагѣ каждому по шести экземпляровъ бес переплету” (СПбФ АРАН, ф. 3 оп. 1, № 166, л. 498)⁵.

Сведения, представленные в репорте Канцелярии Академии наук, также могут быть связаны с переводом “Neue und vollständige Französische Grammatik”: сообщается, что в марте 1749 г. ассессор Г. Н. Теплов (дядя В. Е. Теплова) “присланнымъ к совѣтнику господину Шумахеру писмом требоваль о присылкѣ к нему книги Поме, называемой французской лексикон”⁶ (СПбФ АРАН, ф. 3 оп. 1, № 459, л. 119). В сентябре того же года книга была прислана из-за границы, один экземпляр был отправлен Г. Н. Теплову. Возможно, В. Е. Теплов использовал в своей работе словарь Ф. Помея, однако подтверждений данного факта мы не имеем.

В академических документах “Новая французская грамматика, сочиненная вопросами и ответами. Собрана из сочинений господина Ресто и других грамматик” В. Е. Теплова [Теплов 1752] часто называется “французская грамматика, именуемая Ресто”; отсылка к П. Ресто содержится и в названии. Однако эта формулировка не свидетельствует о том, что В. Е. Теплов перевел на русский язык одну из грамматик П. Ресто. Название грамматики В. Е. Теплова дословно повторяет название анонимной грамматики “Nouvelle et parfaite grammaire françoise. Neue und vollständige Französische Grammatik in Frag und Antwort abgefasset. Aus dem Französischen des Herrn Restaut und anderen Anmerkungen der besten Französischen Sprachlehrer zusammengetragen” (Mainz und Frankfurt am Main, 1749), которую В. Е. Теплов и перевел с немецкого на русский язык. Немецкая грамматика при этом не повторяет ни одну из грамматик П. Ресто

⁵ Правка переводов входила в обязанности К. Ф. Модераха. Так, известно, что он правил переводы И. Голубцова [МАН, 10: 525–526], а также перевод “Сибирской истории” Г. Ф. Миллера [там же: 22, 29, 40].

⁶ В Отделе редкой книги БАН хранится два словаря, составленных Ф. Помеем: “Le Petit Dictionnaire Royal François Latin” (Lyon, 1679) и два издания “Le Grand Dictionnaire Royal, I. François-Latin-Allemand. II. Latin-Allemand-François. III. Allemand-François-Latin” (Francfort, 1681 и Cologne et Francfort, 1740). Возможно, что в 1749 г. в Академию наук было прислано издание 1740 года, однако точных данных обнаружить не удалось.

и не может считаться даже вольным ее переводом. Грамматическое изложение адаптировано для восприятия немецкоязычным читателем; некоторые сведения и методические приемы заимствованы из грамматик К. Ф. де Вожла (1647), С.-П. Ришле (1694), Ф. Ренье-Демарэ (1706), К. Бюффье (1709), П. де Ла Туша (1730) [Gr 1749: 2–3]. Составитель “*Neue und vollständige Französische Grammatik*” переработал французские тексты, В. Е. Теплов же при переводе грамматики на русский язык сохранил все особенности оригинала, лишь подвергнув сокращению те разделы текста, в которых французская грамматика описывалась в категориях немецкого языка или латыни [КАРЕВА, СЕРГЕЕВ 2014].

Перевод был закончен в ноябре 1749 г., однако потребовалось время для переписки его набело (СПбФ АРАН, ф. 3, оп. 1, № 135, л. 215). В июне 1750 г. грамматика была представлена К. Ф. Модерахом в Академическую канцелярию, после чего она была передана сначала В. К. ТрEDIAKовскому, а затем М. В. Ломоносову для оценки качества перевода (СПбФ АРАН, ф. 3 оп. 1, № 142, лл. 245, 246) [МАН, 10: 430, 432, 482]. В. К. ТрEDIAKовский и М. В. Ломоносов положительно отзывались о переводе: “оная грамматика переведена такъ изрядно вразумительно, что ее поправлять не надобно имъ разсудилось, и кто де оную грамматикку переводилъ, тотъ и въ переводчики произведенъ быть достоинъ” [МАН, 10: 482].

9 июля 1750 г. В. Е. Теплов подал прошение о награждении его чином и жалованием переводчика (СПбФ АРАН, ф. 3 оп. 1, № 143, лл. 85–85 об.). Ходатайство его было удовлетворено: 16 июля 1750 г. Теплов был определен переводчиком в Ведомостную экспедицию с жалованием 250 руб. в год:

... понеже канцеляріи академіи наукъ извѣстно, что оный студентъ Тепловъ, будучи въ Россіи и въ чужихъ краяхъ, какъ французскому, нѣмецкому, такъ и латинскому языкамъ довольно научился своимъ коштомъ и съ тѣми науками въ академію готовый вступилъ, и по бытности своей при академіи, поступками порядочными и состояниемъ добрымъ себя содержитъ и заслужилъ по наукамъ своимъ, какъ и изъ репортовъ помянутыхъ господъ профессоровъ видно, переводческое достоинство, — того ради опредѣлено: помянутому студенту Василью Теплову быть переводчикомъ при академіи съ жалованьемъ по двести по пятидесять рублевъ въ годъ [МАН, 10: 482–483].

26 ноября 1750 г. Академическая канцелярия вынесла постановление о печатании грамматики в объеме 1225 экземпляров (СПбФ АРАН, ф. 3, оп. 1, № 460, лл. 503–503 об.) [МАН, 10: 643–644], и к августу 1751 г. книга была отпечатана. Тогда же несколько экземпляров было роздано профессорам и студентам: С. П. Крашениникову (август 1751 г. — 21 экз.), И. Баркову (декабрь 1751 г. — 1 экз.), Я. Козельскому (апрель 1752 г. — 1 экз.), а также продано слуге “камергера и кавалера Василья Ермолаевича

Скворцова” Льву Давыдову (апрель 1752 г. — 2 экз.). Однако в продажу она не поступила, так как в феврале 1752 г. было постановлено добавить к печатаемой грамматике “ис поплиеровой грамматики вакабуль к печатаемой грамматике Ресто съ листа 294 по 371” (СПбФ АРАН, ф. 3, оп. 1, № 138, лл. 240–241). Речь шла о переводе словаря из “Nouvelle et Parfaite Grammaire Royale Française et Allemande” Ж. Р. де Пеплие [PÉRIERS 1749]. Первое издание “Новой французской грамматики” В. Е. Теплова имело два “прибавления”: “Первое прибавление содержащее разныя французскія пословицы” (с. 331–380) и “Recueil de mots, François & Russiens revû, corrigé & augmenté. Собрание словъ Французскихъ и Россійскихъ” (с. 382–454); второе “прибавление” и было составлено на материале словаря из грамматики Ж. Р. де Пеплие. После того, как перевод словаря был выполнен, в июне 1752 г. было приказано направить в петербургскую книжную лавку “за выключениемъ дватцати шести книгъ тысяча сто семдесятъ четыре экземпляра” и продавать “бес переплету” (СПбФ АРАН, ф. 3 оп. 1, № 166, лл. 490–490 об.). В августе десять экземпляров было отправлено в московскую книжную лавку (СПбФ АРАН, ф. 3, оп. 1, № 1082, л. 69). Отдельный экземпляр был послан Президенту Академии наук К. Г. Разумовскому (СПбФ АРАН, ф. 3 оп. 1, № 166, л. 486).

На протяжении XVIII в. грамматика В. Е. Теплова пользовалась популярностью и несколько раз переиздавалась. В 1762 г. тиражом 2400 экземпляров вышло второе издание, в котором отпечатанное с отдельной пагинацией второе “прибавление” было дополнено “Собранием употребительных прилагательных имян”. В 1777 г. тиражом 1000 экземпляров было напечатано третье издание, также имеющее два “прибавления”, а в 1787 г. тиражом 1212 экземпляров вышло четвертое переиздание, имеющее только первое “прибавление” [СК XVIII, 3: 216–217]. Второе “прибавление” к грамматике “Собрание словъ французскихъ, российскихъ и немецкихъ”, дополненное немецкой частью из грамматики Ж. Р. де Пеплие, выходило также отдельными изданиями в 1773, 1776, 1780 и 1785 гг., издания эти по традиции прилагались к переизданиям “Новой французской грамматики” [СК XVIII, 2: 394–395; 3: 216–217].

В августе 1750 г. В. Е. Теплову было предписано работать под руководством А. Тауберта над “российским лексиконом”, собранным А. И. Богдановым. В. Е. Теплов, В. И. Лебедев, И. И. Голубцов и Г. Фрейганг должны были “оный (лексикон — *Н. К., М. III.*) нѣсколько пересмотрѣть и на другихъ языкахъ, а именно: на латинскомъ, нѣмецкомъ и французскомъ свойственныя знаменованія приписать” [МАН, 10: 545]⁷.

7 Лексикон напечатан не был: как пишет П. П. Пекарский, “послѣ смерти Тауберта, жена его рукописный лексиконъ мужа присвоивала себѣ, почему въ дѣлахъ академической канцеляріи наводились справки: “не найдется-ли

В январе 1751 г. Теплов участвовал в студенческой драке, где, возможно, был зачинщиком. В качестве наказания К. Г. Разумовский грозился лишить его и студента В. Кузнецова чинов и жалования, однако впоследствии суровое наказание было заменено “крепкимъ арестомъ, в салдатской караульне”, где “довольствуются однимъ только хлѣбомъ и водой” (СПбФ АРАН, ф. 3 оп. 1, № 149, л. 202).

В 1751 г. В. Е. Теплов участвовал в переводе двуязычной французско-русской грамматики “Explication de la Grammaire Françoise avec de nouvelles observations, et des exemples sensible sur l’usage de toutes ses parties. Dediée à son Altesse le Prince George Troubetskoye par Mr. De Laval Son Precepteur. Изъяснение новой французской грамматики с примечаниями и примерами на все части слова, приписано Его Сиятельству Князь Юрью Никитичу Трубецкому отъ учителя Его Г^a Да Ла Валя” [Лаваль 1752]. Однако он успел перевести только первые главы грамматики: из-за его болезни в феврале 1752 г. работа была передана академическому переводчику С. С. Волчкову [Власов 2011: 179].

В 1754 году В. Е. Теплов был назначен секретарем к К. Г. Разумовскому для “письменной корреспонденции с учеными людьми”, и в это же время появляются его первые литературные переводы [Кулябко 2010]. В 1754–1755 гг. вышло первое издание перевода романа А.-Р. Лесажа “L’histoire de Gil Blas de Santillane” — “Похождения Жилблаза де Сантилланы” (СПб.: При Имп. Акад. наук, 1754–1755). Книга выдержала множество переизданий — в 1760–1761, 1768, 1775, 1781–1783, 1792 и 1799–1801 гг.) [СК XVIII, 2: 149–150; Тюличев 2005: 188]. Несмотря на то, что на изданиях “Похождений Жиль Блаза” не указано, с какого языка была переведена книга, мы предполагаем, что В. Е. Теплов переводил с французского оригинала: первые переводы романа на немецкий появились только в XIX в.; русскому переводу предшествовали только переводы на итальянский (в 1740 г.) и английский (в 1748 г.) языки, однако сведениями о том, владел ли В. Е. Теплов этими языками, мы не располагаем.

В сентябре 1756 г. к графу К. Разумовскому обратился А. Б. Бутурлин⁸ с просьбой прислать к нему для определения в секретари академи-

какого опредѣленія о сочиненіи російскаго лексикона? . . .” В Опытѣ словаря о російскихъ писателяхъ Новикова (СПб., 1772), с. 215, сказано, что подъ смотрѣніемъ Тауберта “трудилися въ сочиненіи полнаго російскаго словаря, котораго и было собрано со всякимъ раченіемъ и исправностію по литеру Р; но оный въ свѣтъ еще не изданъ” [ПЕКАРСКИЙ 1870: 651].

⁸ Александр Борисович Бутурлин (1694–1767), генерал-фельдмаршал (с 1756 г.), граф (с 1760 г.). Начал военную и придворную карьеру еще при Петре I. Пользовался особым расположением Екатерины I, Петра II, а впоследствии и Елизаветы Петровны, при которой получил графский титул. В 1760 г. был назначен главнокомандующим русской армии, а в 1761 г. — московским генерал-губернатором [Лихач 1908].

ческого переводчика В. Теплова (СПбФ АРАН, ф. 3 оп. 1, № 214, лл. 211–212), и в октябре того же года последний был назначен его секретарем (там же, л. 216).

В 60-е годы выходят новые переводы В. Е. Теплова. В 1762 г. он перевел с французского языка историческое сочинение аббата Антуана Пажи “Histoire de Cyrus le jeune, et de la retraite des Dix mille, avec un discours sur l’histoire grecque, par M. l’abbé Pagi” — “Повесть о младшем Кире и о возвратном походе десяти тысяч” (СПб.: При Имп. Акад. наук, 1762) (СПбФ АРАН, ф. 3 оп. 1, № 267, л. 144) [СК XVIII, 2: 380]. В 1763 г. был опубликован перевод романа П. Скаррона “Le roman comique”: роман был переведен В. Е. Тепловым с немецкого языка, о чем сообщается в названии “Господина Скаррона Шутливая повесть. Переведена с немецкаго языка Васильем Тепловым” (СПб.: При Имп. Акад. наук, 1763) [СК XVIII, 3: 123].

После этого имя В. Е. Теплова более не упоминается в академических документах. По всей видимости, после отъезда К. Г. Разумовского за границу в 1765 г. В. Е. Теплов оставил службу в Академии наук [Кулябко 2010]. Однако возможно, в последующие годы он продолжал переводческую деятельность. Ему приписываются переводы комедий Л.-Ф. Делиля де ла Древетьера и Ж.-Б. Мольера — “Арлекин дикой” (СПб.: Печ. при Артиллер. и инж. шляхет. кад. корпусе Иждивением содержателя типографий Х. Ф. Клеэна, 1779) [СК XVIII, 1: 274–275] и “Принужденная женидьба: комедия из театра г. Молиэра” (М.: Тип. Имп. Моск. ун-та у Н. Новикова, 1779; 2-е изд. 1788) [там же, 2: 257]. Во всяком случае, в рукописных списках XVIII в. “Liste de toutes les pièces que j’ai” и “Реестр трагедиям и комедиям, которые на российском театре были уже представлены”, хранящихся в Национальной библиотеке Франции, автором переводов пьес “Арлекин дикой” и “Принужденная женидьба” указан Теплов.

Библиография

Источники

Лаваль 1752

ЛАВАЛЬ П. ДЕ, *Explication de la Grammaire Française avec de nouvelles observations, et des exemples sensibles sur l’usage de toutes ses parties. Dediée à son Altesse le Prince George Troubetskoye par Mr. De Laval Son Precepteur.* = *Изъяснение новой французской грамматики с примечаниями и примерами на все части слова, приписано Его Сиятельству Князь Юрью Никитичу Трубецкому от учителя Его Г^н: Да Ла Валя, С.-Петербург, 1752.*

МАН, 1–10

Сухомлинов М. И., ред., *Материалы для истории Императорской Академии наук*, 1–10, С.-Петербург, 1885–1900.

ТЕПЛОВ 1752

ТЕПЛОВ В. Е., *Новая французская грамматика сочиненная вопросами и ответами. Собрана из сочинений господина Ресто и других грамматик, а на Российский язык переведена Академии Наук Переводчиком Васильем Тепловым*, С.-Петербург, 1752.

GR 1749

Nouvelle et parfaite grammaire françoise. Neue und vollständige Französische Grammatik in Frag und Antwort abgefasst. Aus dem Französischen des Herrn Restaut und anderen Anmerkungen der besten Französischen Sprachlehrer zusammengetragen, Mainz, Frankfurt a. Main, 1749.

REPLIERS 1749

DES REPLIERS J. R., BUFFIER C., *Nouvelle et parfaite grammaire royale françoise et allemande. = Neue und vollständige Königliche Französische Grammatick*, Leipzig, 1749.

Литература

Власов 2011

Власов С. В., “Гувернер Пьер де Лаваль, автор первой в России двуязычной грамматики французского языка (1752–1753)”, в: А. В. Чудинов, В. С. Ржеуцкий, ред., *Французский ежегодник 2011: Франкоязычные гувернеры в Европе XVII–XIX вв.*, Москва, 2011, 178–189.

КАРЕВА, СЕРГЕЕВ 2014

КАРЕВА Н. В., СЕРГЕЕВ М. Л., “Система артиклей в грамматике П. Ресто и проблемы ее перевода на русский язык”, в: Н. Н. Казанский, ред., *Индоевропейское языкознание и классическая филология – XVIII (чтения памяти И. М. Тронского). Материалы Международной конференции, проходившей 23–25 июня 2014 г.*, С.-Петербург, 2014, 367–380.

Костина 2013

Костина Т. В., “Пространство Академических гимназии и университета: материалы к истории. 1724–1805 гг.”, *Клио*, 10, 2013, 6–15.

Кочеткова 2003

Кочеткова Н. Д., “Теплов Григорий Николаевич”, в: П. Е. Бухаркин, ред., *Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия*, 1: *Осьмнадцатое столетие*, 2: *Н–Я*, С.-Петербург, Москва, 2003, 384–385.

Кулябко 2010

Кулябко Е. С., “Теплов Василий Егорович”, в: А. М. Панченко, ред., *Словарь русских писателей XVIII века*, 3: *Р–Я*, С.-Петербург, 2010, 228–229.

Лихач 1908

Лихач Е., “Бутурлин Александр Борисович”, в: А. А. Половцов, ред., *Русский биографический словарь*, 3: *Бетанкур–Бякстер*, С.-Петербург, 1908, 535–538.

ПЕКАРСКИЙ 1870

ПЕКАРСКИЙ П. П., *История Императорской Академии наук в Петербурге*, 1, С.-Петербург, 1870.

СК XVIII, 1–5

Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века, 1725–1800, 1–5, Москва, 1963–1967, 1975.

Тюличев 2005

Тюличев Д. В., “Материалы о некоторых изданиях, напечатанных в типографии Академии наук в 40–60-е годы XVIII века (Дополнения к комментарию «Сводного каталога русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–1800»)", в: *Книга: исследования и материалы*, 83, Москва, 2005, 171–221.

Acknowledgements

Russian Foundation for Humanities (grant No. 13-34-01222)

References

Kareva N. V., Sergeev M. L., "Sistema artiklei v grammatike P. Resto i problemy ee perevoda na russkii iazyk," in: N. N. Kazanskiy, ed., *Indoevropskoe iazykoznanie i klassicheskaia filologiya – XVIII (chteniia pamiati I. M. Tronskogo)*, St. Petersburg, 2014, 367–380.

Kochetkova N. D., "Teplov Grigorii Nikolaevich," in: P. E. Bukharkin, ed., *Tri veka Sankt-Peterburga: Entsiklopediia*, 1/2, St. Petersburg, Moscow, 2003, 384–385.

Kostina T. V., "Prostranstvo Akademicheskikh gimnazii i universiteta: materialy k istorii. 1724–1805 gg.," *Klio*, 10 (82), 2013, 6–15.

Kulyabko E. S., "Teplov Vasilii Egorovich," in: A. M. Panchenko, ed., *Slovar' russkikh pisatelei XVIII veka*, 3, St. Petersburg, 2010, 228–229.

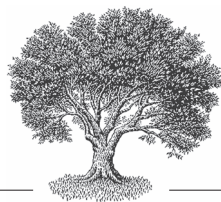
Tyulichev D. V., "Materialy o nekotorykh izdaniiax, napechatannykh v tipografii Akademii nauk v 40–60-e gody XVIII veka (Dopolneniia k komentariiu «Svodnogo kataloga russkoi knigi grazhdanskoj pechati XVIII veka. 1725–1800»)," in: *Kniga: issledovaniia i materialy*, 83, Moscow, 2005, 171–221.

Vlasov S. V., "Gouverner P'er de Laval', avtor pervoi v Rossii dviiazychnoi grammatiki frantsuzskogo iazyka (1752–1753)," in: A. V. Tchoudinov, V. S. Rjéoutski, eds., *Annuaire d'études françaises 2011: Les précepteurs francophones en Europe aux XVII^e–XIX^e siècles*, Moscow, 2011, 178–189.

Наталья Владимировна Карева, канд. филол. наук
Институт лингвистических исследований РАН,
научный сотрудник отдела "Словарь языка М. В. Ломоносова"
199053 С.-Петербург, Тучков пер., 9
Россия/Russia
natasha.titova@gmail.com

Милиауша Габдрауфовна Шарихина, магистр филологии
ИЛИ РАН, лаборант отдела "Словарь языка М. В. Ломоносова"
199053 С.-Петербург, Тучков пер., 9
Россия/Russia
justmilya@yandex.ru

Received on April 17, 2015



Утицај византијског права на средњовековно српско право

Срђан Шаркић

Универзитет у Новом Саду,
Нови Сад, Србија

Влияние византийского права на средневековое сербское право

Срджан Шаркич

Нови-Садский университет,
Нови-Сад, Сербия

Апстракт

Од почетка тринаестог века српско право се развијало под непосредним утицајем византијског права. Српски правници прихватили су византијско право превођењем византијских правних компилација. Прва од њих био је *Номоканон* (*Законоправило*) Светог Саве из 1219. године. *Номоканон* Светог Саве садржао је црквена правила са коментарима каноничара, превод дела Јустинијанових Новела и цео *Прохирон* Василија I. Српски правници су 1349–1354. сачинили својеврсни *Codex Tripartitus*, комбинујући византијско и српско право. Руски научник Т. Флоринскиј приметио је то још 1888. године, наглашавајући да се у најстаријим рукописима Душанов законик среће увек са две компилације византијског права: *Синтагмом* Матије Властара и такозваним “Јустинијановим законом”. Поред превода византијских правних компилација, српски правници прихватили су и велики број института римског права. Треба напоменути да српски правници нису били образовани на Правном факултету у Болоњи, већ да је римско право продрло у Србију посредством грчких (византијских) превода, а не оригиналних римских текстова. Иако је Душанов законик најважнији правни споменик средњовековног српског права и он садржи 60 чланова који су непосредно преузети из *Василика*, од којих су најважнији чланови 171 и 172.

Кључне речи

Номоканон Светога Саве, Синтагма, Јустинијанов закон, закон, *lex*, νόμος, Душанов законик, Василике

Резюме

Сербское право начиная с XIII в. развивалось под прямым влиянием византийского. Сербские юристы адаптировали византийское право посредством переводов законодательных компиляций. Первой из них был Номоканон

Св. Саввы 1219 г., который содержал церковные правила вместе с глоссами канонистов, перевод части юстиниановых новелл и целиком “Прохирон” Василия I. Сербские юристы создали в 1349–1354 г. особый Codex Tripartitus (Трехчастный свод), узаконивший как сербское, так и византийское право. Русский ученый Ф. Флоринский отметил это еще в 1888 г., указав на то, что в старейших рукописях Законник Стефана Душана всегда сопровождаются две другие компиляции византийского права: Сокращенная синтагма Матфея Властаря и так называемый Юстинианов закон. Наряду с переводами византийских законодательных сборников сербские юристы адаптировали множество институций римского права, которое было заимствовано косвенным путем — через греческие переводы. Законник Стефана Душана как наиболее важный источник средневекового сербского права заимствовал порядка 60 статей непосредственно из “Василик”. Наиболее важны из них статьи 171 и 172.

Ключевые слова

Номоканон Св. Саввы, Закон Юстиниана, Синтагма, лекс, номос, закон, Законник Стефана Душана, Василики

Велики утицај, који је византијска цивилизација имала на средњовековну Србију, неминовно се одразио и у области права. Правни систем, настао у Источном Римском Царству (Византији), имао је у својој основи римско право, али је прилагођен захтевима практичног живота и неминовним разликама које постоје између грчког и латинског језика. Данас се уобичајило да га називамо *византијско право*, мада би вероватно било правилније користити израз *грчко-римско право* (*ius graeco-romanum*) — термин који су употребили још у XIX веку први истраживачи византијског права¹.

О утицају византијског (или грчко-римског) права на средњовековно српско право писано је доста², мада се у готово свим тим радовима

¹ У називима две до данас најпознатије збирке извора византијског права употребљен је термин *Ius Graeco-Romanum* [ZACHARIAE VON LINGENTHAL 1856–1884; ЗЕРОИ 1931]. Међутим, француски историчар Жан Мортреј, аутор најстарије историје византијског права, употребио је у наслову свога дела изразе *византијско или римско право у Источном римском царству* [МОРТРЕЈ 1843–1846]. Сагласност не постоји ни данас. Такозвана “франкфуртска група”, која дела при Макс Планк Институту за европску правну историју (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte) у Франкфурту на Мајни, а којом је руководио професор Дитер Симон (Dieter Simon), насловила је своју едицију *Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte* (*Истраживања византијске правне историје*). Насупрот њима, група италијанских романиста са римског универзитета *La Sapienza*, којом руководи професор Пјеранђело Каталано (Pierangelo Catalano) и која од 1981. сваке године организује међународне научне скупове под називом *Од Рима до Трећег Рима* (*Da Roma alla Terza Roma*), инсистира на употреби израза *ius graeco-romanum*.

² Најзначајнији радови о утицају византијског права на средњовековно српско право су следећи: R. НУВЕ [1868], хрватски превод начинио је N. МИЃКАТОВИЋ [1869], француски превод рада начинио је сам аутор [НУВЕ 1880], С. НОВАКОВИЋ [1906], L. NAMISLowski [1908], Н. РАДОЈЧИЋ [1923], А. СОЛОВЈЕВ [1928а; 1928в], Н. РАДОЈЧИЋ [1949–1950], Н. РАДОЈЧИЋ [1951: 45–57], А. SOLOVIEV [1959]:

расправљало о византијским правним збиркама које су биле преведене и важиле у Србији. Оне су, несумњиво, најважнија компонента утицаја византијског права на средњовековно српско право, али нису и једини вид овог утицаја. Сматрамо да се византијски утицај испољио у три различита облика: 1) превођење византијских правних компилација са грчког на српски и њихова примена у средњовековној Србији; 2) прихватање (рецепција) различитих института римског права преко грчких превода, а не изворних латинских текстова; 3) уношење појединих чланова из византијских законика у српске правне споменике.

I.

Прва византијска правна збирка која је у XIII веку преведена и прихваћена у средњовековној Србији, била је *Законоправило* или *Номоканон Светога Саве*, касније често називана *Крмчија* (руски *Кормчая книга* = крманешева књига, грчки *Πηδάλιον*)³.

Браћајући се из Никеје, где је издејствовао аутокефалност за српску цркву, Сава Немањић (Свети Сава) се зауставио у Солуну, где је у неком од манастира сачинио свој Номоканон. Законоправило Светог Саве подељено је на 64 главе, од којих 44 имају канонски садржај, а 20 световни. Црквена правила позајмљена су углавном из два грчка канонска зборника: Синописа Стефана, епископа Ефеског (VI век), са тумачењима Алексија Аристина, и Канонске Синтагме у XIV наслова, дело непознатог аутора из VI века, са тумачењима Јована Зонаре. Од световних прописа Номоканон садржи изводе из Јустинијанових новела у 87 поглавља (*Collectio octoginta septem capitulorum*) чији је редактор био Јован Схоластик, цео *Прохирон* Василија I, који је у Србији преведен под насловом *Закон градски* (тачније *Закон градскога глави различни въ четърехъ децетехъ гранехъ*) и три новеле цара Алексија I Комнина (о браку, о браку робова и о веридби).

Иако је о Законоправилу Светог Саве писано доста⁴ постоји неколико питања која у науци нису дефинитивно решена, а којима се Сергије Викторович Троицки помно бавио и изнео аргументе које је тешко оспорити

439–479], Я. Н. Шапов [1976: 123–129], S. Troianos, S. Šarkić [1996: 248–256], L. Burgmann [2005: 43–66], V. M. Minale [2009: 219–228], С. Шаркић [2009: 1–7].

³ Израз *Крмчија* много је чешће коришћен у литератури, што је неоправдано, јер на самом почетку текста састављач каже: *Съ Богомъ починають се книги сик глаголемыи гръчскыи языкомъ номоканонъ и сказаемыи нашимъ языкомъ законоуправило.*

⁴ И поред тога, чудно је да до данас није изашло потпуно, критичко издање Светосавског Номоканона. Дужи одломак, који садржи *Закон градски* објавио је Н. Дучић [1877: 34–134]. М. Петровић је приредио фототипско издање *Законоправила* на основу Иловичког преписа [Законоправило 1991]. Превод дела текста на савремени српски језик објавили су М. Петровић, Љ. Штављанин-Ђорђевић [2005]. Видети и Д. Богдановић [1979].

[Троицки 1949: 119–142; 1952; 1953: 155–206]. Те тезе су следеће: 1) Српски номоканон нема прототипа ни у једном сачуваном грчком или словенском рукопису; 2) Сава се определио за тумачења канона Алексија Аристина и Јована Зонаре, уместо тенденциозних коментара Теодора Валсамона, који изражавају идеју свемоћи византијског цара и битно ограничавају самосталност аутокефалних цркава; 3) Српски номоканон прихвата концепцију “сагласја” (συμφωνία) у односима између цркве и државе и одбацује све облике “цезаропапизма” и “источног папизма” (хегемоније Цариградске патријаршије); 4) Аутор српског Номоканона свесно је изоставио све правне списе који би ограничавали слободу деловања владара у световној сфери и цркве у оквиру сопствене јурисдикције; 5) Сава је изоставио и оне одломке из *Еклоге* и *Епанагоге* у којима се оправдавало потчињавање цркве државној власти⁵.

Законоправило Светога Саве је имало велики значај не само код Срба него и код свих православних Словена. Већ 1226. године препис је однет у Бугарску, где је прихваћен као опште обавезни зборник, да би 1262. други препис био послат из Бугарске у Русију, митрополиту Кирилу II. На сабору у Владимиру 1274. године *Крмчија* је проглашена за опште обавезни зборник правила за руску цркву.

Синтагма Матије Властара представља зборник црквених и световних одредаба који је 1335. године сачинио солунски монах Матија Властар. Ова номоканонска збирка подељена је у 24 поглавља (састава) према словима грчког алфабета (од Α до Ω). Вероватно по наређењу самог цара Душана, *Синтагма* је 1347. или 1348. преведена на српски, али је одмах након тога радикално скраћена. Пуна *Синтагма* садржи 303 поглавља, док скраћена верзија има само 94 поглавља⁶. Постоје два основна разлога због којих су српски редактори извршили овако радикално скраћивање.

Први је чисто идеолошке природе. Матија Властар заснива своју збирку на тенденциозним и некритичким коментарима Теодора Валсамона у којима се истиче свемоћ византијског цара и његова хегемонија у читавом систему држава, а негира аутокефалност српске и бугарске цркве. Стога су српски редактори, одмах након превођења потпуног текста *Синтагме* приступили његовом скраћивању, изоставивши све оне одредбе које говоре о световној и духовној доминацији Цариграда.

Други разлог је чисто практичан: *Синтагма* је била намењена као приручник световним судовима. Стога је већина црквених одредаба изостављена, а задржане су само световне и то из оних правних области

⁵ Према мишљењу Д. Богдановића [1979: 96], капиталан значај теза Сергија Троицког биће потврђен критичким издањем Номоканона Светога Саве.

⁶ Издање грчког текста Г. А. Рааланс, М. Потанс [1859]. Издање српског текста С. Новаковић [1907]; С. Троицки [1956]. Превод на савремени српски језик начинила је Т. Сувогин-Голубовић [2013].

које нису биле регулисане *Душановим закоником*. Имајући све ове чињенице у виду остаје нејасно због чега су се српски редактори одлучили да у Душанов кодекс укључе *Синтагму* Матије Властара а не *Шестокњижје* (Ἑξάβιβλος) Константина Арменопулоса. Јер, Арменопулос је неупоредиви бољи правник од Матије Властара и његова збирка садржи искључиво световне одредбе без икаквих тенденциозних коментара. И поред тога у манастирским архивама није сачуван ниједан примерак српског превода *Шестокњижја*, те се сасвим основано може закључити да у Србији није ни превођен. Да ли је остао непознат српској кодификаторској комисији или су постојали неки дубљи, политички разлози, немогуће је на основу садашњег стања извора рећи [ЏАРКИЋ 1990: 73–77].

Такозвани *Јустинијанов закон (БЛАГОВЋРНАГО И ХРИСТОЛЮБИВАГО ЦАРА ЈОУСТИНИЈАНА. ЗАКОН)* је кратка компилација од само 33 члана који регулишу аграрне односе. Већина одредаба потиче из чувеног *Земљорадничког закона* (Νόμος γεωργικός) објављеног крајем VII или почетком VIII века, и који је у потпуности био преведен на стари српски језик⁷. Остале одредбе преузете су из *Василика*, *Прохирона* и *Еклоге*. Ни ова компилација не постоји у грчким рукописима и представља оригиналну творевину српских правника. Могуће је да је *Јустинијанов закон* био у примени у Србији и пре Душанове владавине, али је вероватније да је усвојен на сабору у Скопљу 1349. године заједно са првим делом Душановог законика⁸.

II.

Рецепција римског права у Србији је посредна јер долази из Византије. Српски правници не читају оригиналне латинске текстове, већ њихове грчке (византијске) прераде, па се самим тим понекад смисао римских правних установа мења, због разлика које постоје између грчке и латинске правне терминологије. Ова чињеница може се најбоље сагледати на примеру кључних правних појмова — права и закона. Римска правна доктрина је детаљно разрадила и разграничила појмове права (*ius*) и закона (*lex*), што се може сагледати у многобројним фрагментима из дела римских правника. Али, изгледа да та разлика византијским правницима није била јасна, јер они и за *ius* и за *lex* користе увек исти израз — νόμος (закон). Због тога нам није увек сасвим јасно да ли византијски правник мисли на право (*ius*) или на закон (*lex*) када употребљава термин νόμος. Поред тога, аргументација римских правника у грчком преводу, због једностране употребе израза νόμος, понекад губи на снази. Ова чињеница

⁷ Текст српског превода *Земљорадничког закона* издао је М. Благојевић [2007].

⁸ Модерно издање са преводом на савремени српски језик приредила је Биљана Марковић [2007].

може се најбоље сагледати на примеру Улпијанове дефиниције права, која се среће на самом почетку Јустинијанових *Дигеста*. Расправљајући о пореклу назива право (*ius*), Улпијан каже: *Онај који се посветио правним пословима треба најпре да зна одакле потиче назив право; названо је, дакле, према правди, јер како је Целз лепо протумачио, право је вештина доброг и једнаког (Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. Est autem a iustitia appellatum; nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi)* (D. I, 1,1). Сасвим је јасно да Улпијан латинске термине *ius* (право) и *iustitia* (правда) жели да доведе у везу и да покаже да је израз *ius* изведен од *iustitia*⁹. Међутим, византијски правници који су с краја IX века састављали *Василике*, сажето су извукли суштину Улпијанове дефиниције и овако је превели на грчки: Ὁ νόμος ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης ὠνόμασται· ἐστὶ γὰρ νόμος τέχνη τοῦ καλοῦ καὶ ἰσοῦ [BASILICORUM LIBRI 1955, II, 1, 1: 15] (*Право [закон] се према правди назива: право [закон] је, дакле, вештина доброг и једнаког*). Није тешко уочити да су редактори *Василика* латински термин *ius* превели грчким изразом νόμος (закон)¹⁰, чиме је Улпијанова аргументација (*ius* – *iustitia*) изгубила свој прави смисао. Матија Властар преузима одломак из *Василика* без икаквих измена и уноси га у своју *Синтагму*. Приликом превођења *Синтагме* српски редактори нису, наравно, упоређивали грчки текст са латинским оригиналом, па је тако у српској верзији Улпијанов термин *ius* постао **законь** (**законь отъ правды именована се, ксть бо хытрость добромоу и равномоу**)¹¹.

Претходни пример показује како су српски правни редактори механички преузимали дефиниције правних установа од својих византијских колега, због чега је аргументација римских правника губила свој првобитни смисао. Међутим, има и случајева када су се српски правници потрудили да схвате суштину правних правила која су преводили. Навешћемо један пример.

Године 40. пре наше ере у време Римске републике донет је закон који је према свом предлагачу добио име *lex Falcidia* (*Фалкидијев закон*). Према одредбама овог закона није се могло легирати више од три четвртине имовине, односно законитом наследнику је морала да припадне бар четвртина наследства¹². Јустинијанова новела XVIII, 1 из 536. године прописала је да тај део мора да износи једну трећину наследства ако

⁹ Савремена правна наука сматра да је обрнуто, односно да је *iustitia* дериват од *ius*.

¹⁰ Редактори византијских правних компилација термин νόμος користе и за превод латинског израза *lex* (закон), упор. D. I, 3,1 = Bas. II, 1,13; D. I, 3,2 = Bas. II, 1, 18.

¹¹ *Матије Властара Синтагмат*, издао С. Новаковић [1907: 421]. Видети S. ŠARKIĆ [1996: 2005в].

¹² Gaius, Inst. II, 227: *Lata est itaque lex Falcidia, quam cautum est, ne plus ei legare liceat quam dodrantem. Itaque necesse est, ut heres quartam partem hereditatis habeat. Et hoc nunc iure utimur.*

оставилац има до четири детета, а половину ако има више од четири детета. Редактори *Прохирона* прихватили су Јустинијанов пропис (XXXII, 1), који је заправо изменио прописе старог Фалкидијевог закона, али су поглавље XXXII (садржи четири параграфа) ипак насловили *Περὶ φάλκιδιου* (*О фалкидији*)¹³. Српски преводиоци *Прохирона* су овом поглављу дали наслов **О раздѣлцији** (*О деоби*)¹⁴, схвативши правилно његову садржину (деоба имовине, тачније, заоставштине).

Примера овакве врсте има много, па сматрамо да пред правним историчарима још увек стоји задатак да испитају појединачно све институте римског права који се срећу у средњовековном српском праву и да пробају да утврде у којој мери су те установе биле у складу са српским обичајним правом и приликама у средњовековној Србији¹⁵.

III.

Трећи вид утицаја византијског права на средњовековно српско право, састојао се у директном уношењу појединих византијских прописа или њихових делова у српске правне споменике. То се пре свега односи на *Душанов законик*. Иако се сматра да је *Душанов законик* несумњиво најважнији акт српског средњовековног законодавства и самостално дело српских правника, данас је доказано да је чак 60 његових чланова преузето из различитих византијских правних компилација¹⁶. Посебан интерес изазивали су чланови 171 и 172, који Законик стављају изнад цареве воље. Навешћемо њихов текст у целини.

Члан 171: **Съ законѣ: Ёще повелѣва царѣство ми. аще пише книгоу царѣство ми или по сръчѣѣ, или по любви, или по милости за нѣкого, а внази книга разара законикъ, не по правдѣ и по законуу како пише законъникъ соудіе тоузи книгоу да не вѣрѣюу тѣкъмо да соуде и врше како к по правдѣ.**

¹³ *Procheiron* XXXII [Зерој 1931: 188–189].

¹⁴ Издање Н. Дучић [1877: 352]; М. Петровић [Законоправило 1991: л. 305 б]. Треба, међутим, приметити да су српски преводиоци *Синтагме* Матије Властара насловили састав Ф–1, **О Фалкидији**, односно да су задржали грчки термин *фалкидија* [Новаковић 1907: 512].

¹⁵ Добру основу за овакав метод поставио је још далеке 1928. године Александар Соловјев у својој докторској расправи о законодавству Стефана Душана [Класици југословенског права 1998: 307–561]. Мада је велики научник објаснио грчко-римско порекло многих правних уснова које се срећу у средњовековној Србији, он у својим истраживањима није пратио њихову трансформацију од римског до српског права, већ их је посматрао у оквиру појединих грана права. Стога сам ставио себи у задатак управо испитивање појединачних института римског права и њихово посредно прихватање у средњовековној Србији. Поред радова о појму закона, наведених у напмени 11, у оквиру ових истраживања објавио сам следеће чланке: [Шаркић 2002а; 2002б; 2006а; 2006б; 2006в; 2013; Šarkić 2004; 2005а; 2007; 2008а; 2008в; 2013].

¹⁶ Највеће заслуге за то припадају Николи Радојчићу, који је то врло аргументовано показао у две расправе: [Радојчић 1949–1950: 10–17] и [Радојчић 1951: 45–57].

Члан 172: **Ἐ σοφδίαχ: Ἐσακε σοφδιε да софде по законьникоу право како пише оу законьникоу а да не софде по страхоу царьства ми** [НОВАКОВИЋ 1898: 134–135; РАДОЈЧИЋ 1960: 77; БУБАЛО 2010: 112].

О пореклу ових чланова доста се дискутовало: да ли су они самостални или имају сличности са одредбама из правних аката других словенских народа, све док Никола Радојчић у посебној расправи [РАДОЈЧИЋ 1923: 100–139] није доказао да су њихов непосредни извор два члана из *Василика*. Те одредбе су следеће:

Члану 171 одговара одломак из *Василика* VII, 1,16: Πᾶς δὲ δικαστής... τηρεῖτω τοὺς νόμους καὶ κατὰ τοὺτους φερέτω τὰς ψήφους, καὶ, ἂν εἰ συνβαίη κέλευσιν ἡμετέραν ἐν μέσῳ ἂν εἰ θεῖον τύπον, ἂν εἰ πραγματικὸς εἴη φοιτήσας λέγων τοιῶσδε χρῆναι τὴν δίκην τεμεῖν, ἀκολουθεῖτω τῷ νόμῳ. Ἥμεῖς γὰρ ἐκεῖνο βουλόμεθα κρατεῖν, ὅπερ οἱ ἡμέτεροι βούλονται νόμοι [. . .] Члану 172 одговара текст под ознаком VII, 1, 17: Θεσπίζομεν [. . .] κατὰ τοὺς γενικοὺς ἡμῶν νόμους τὰς δίκας ἐξετάζεσθαι τε καὶ τέμνεσθαι: τὸ γὰρ ἐπὶ τῇ τῶν νόμων κρινόμενον ἐξουσία οὐκ ἂν δεηθεῖται τινὸς ἕξωθεν διατυπώσεως [BASILICORUM LIBRI 1955: 303] (ср. [ŠARKIĆ 1988: 43–55]).

Наравно, примера има много више, али то превазилази оквире овог рада.

Библиографија

Благојевић 2007

Благојевић М., *Земљораднички закон, средњовековни рукопис* (= Српска академија наука и уметности. Одељење друштвених наука. Извори српског права, 14), Београд, 2007.

Богдановић 1979

Богдановић Д., „Крмчија светог Саве”, у: *Међународни научни скуп “Сава Немањић – Свети Сава, историја и предање”*. Децембар 1976 (= Српска академија наука и уметности. Научни скупови, 7), Београд, 1979, 91–99.

Бубало 2010

Бубало Ђ., *Душанов законик*, Београд, 2010.

Дучић 1877

Дучић Н., “Морачка Крмчија”, *Гласник Српског ученог друштва II. одељење*, 8, 1877, 34–134 (= *Књижевни радови Нићифора Дучића*, 4, Београд, 1895, 200–414).

Законоправило 1991

Законоправило или Номоканон Светога Саве, Иловички препис 1262. година, фототипија, приредио и прилоге написао М. Петровић, Горњи Милановац, 1991.

Класици југословенског права 1998

Законодавство Стефана Душана цара Срба и Грка, Београд, 1928 (= *Класици југословенског права*, 16, Београд, 1998).

Марковић 2007

Марковић Б., *Јустинијанов закон, средњовековна византијско-српска правна компилација* (= Српска академија наука и уметности. Одељење друштвених наука. Извори српског права, 15), Београд, 2007.

НОВАКОВИЋ 1898

НОВАКОВИЋ С., *Законик Стефана Душана цара српског 1349–1354*, Београд, 1898 (репр. 2004).

— 1906

НОВАКОВИЋ С., *Средњовековна Србија и римско право* (= Архив за правне и друштвене науке од 25.IV.1906, 209–226), Београд, 1906.

— 1907

НОВАКОВИЋ С., *Матије Властара Синтагмат. Азбучни зборник византијских црквених и државних закона и правила*, Београд, 1907.

ПЕТРОВИЋ, ШТАВЉАНИН-ЂОРЂЕВИЋ 2005

ПЕТРОВИЋ М., ШТАВЉАНИН-ЂОРЂЕВИЋ Љ., *Законоправило Светога Саве*, 1, Београд, 2005.

РАДОЈЧИЋ 1923

РАДОЈЧИЋ Н., “Снага закона по Душанову Законику”, *Глас Српске академије наука*, 110, *Други разред*, 62, 1923, 100–139.

— 1949–1950

РАДОЈЧИЋ Н., “Византијско право у Душанову законику”, *Историјски часопис*, 2, 1949–1950.

— 1951

РАДОЈЧИЋ Н., “Душанов законик и византијско право”, у: *Зборник у част шесте стогодишњице Законика цара Душана I*, Београд, 1951, 45–57.

— 1960

РАДОЈЧИЋ Н., *Законик цара Стефана Душана 1349 и 1354*, Београд, 1960.

СОЛОВЈЕВ 1928А

СОЛОВЈЕВ А., “Значај византијског права на Балкану”, *Годишњица Николе Чупића*, 37, 1928, 95–141.

— 1928Б

СОЛОВЈЕВ А., *Законодавство Стефана Душана цара Срба и Грка*, Београд, 1928.

СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ 2013

СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ Т., *Матија Властар Синтагма* (= Српска академија наука и уметности. Одељење друштвених наука. Извори српског права, 18), Београд, 2013.

ТРОИЦКИ 1949

ТРОИЦКИ С., “Ко је превео Крмчију са тумачењима”, *Глас Српске академије наука*, 193, 1949, 119–142.

— 1952

ТРОИЦКИ С., “Како треба издати Светосавску Крмчију (Номоканон са тумачењима)”, *Споменик Српске академије наука*, 102, 1952, 1–114.

— 1953

ТРОИЦКИ С., “Црквено-политичка идеологија Светосавске Крмчије и Властареве Синтагме”, *Глас Српске академије наука*, 212, 1953, 155–206.

— 1956

ТРОИЦКИ С., *Допунски чланци Властареве Синтагме* (= Посебна издања Српске академије наука, 268; Одељење друштвених наука, 21), Београд, 1956.

ШАРКИЋ 2002А

ШАРКИЋ С., “Гајева подела лица у средњовековном српском праву”, *Зборник Матице српске за класичне студије*, 4–5, 2002, 107–112.

——— 2002b

ШАРКИЋ С., “Појам тестаментa у римском, византијском и средњовековном српском праву”, Љ. МАКСИМОВИЋ, Н. РАДОШЕВИЋ, Е. РАДУЛОВИЋ, ур., *Трећа југословенска конференција Византолога. Крушевац 10–13. мај 2000*, Београд, Крушевац, 2002, 85–90.

——— 2006a

ШАРКИЋ С., “О стицању пословне способности у средњовековном српском праву”, *Зборник радова Византолошког института*, 43, 2006, 71–76.

——— 2006b

ШАРКИЋ С., “Одредбе римског права о мирузу у средњовековном српском праву”, *Зборник Матице српске за класичне студије*, 8, 2006, 185–191.

ШАРКИЋ 2006в

ШАРКИЋ С., “Поклон у средњовековном српском праву”, *Истраживања*, 17, 2006, 7–15.

——— 2009

ШАРКИЋ С., “Рецепција грчко-римског (византијског) права у Србији”, у: *Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора* (= Српска Академија Наука и Уметности. Одељење друштвених наука. Извори српског права, 16), Београд, 2009, 1–7.

——— 2013

ШАРКИЋ С., “Службености у византијском и средњовековном српском праву”, *Зборник радова Византолошког института*, 50/2, 2013, 1003–1012.

ЩАПОВ 1976

ЩАПОВ Я. Н., “Рецепция сборников византийского права в средневековых балканских государствах”, *Византийский вестник*, 37, 1976, 123–129.

BASILICORUM LIBRI 1955

SHELTEMA H. J., VAN DER WAL N., ed., *Basilicorum Libri LX, series A, volumen 1, textus librorum 1–8*, Groningen, 1955.

BURGMANN 2005

BURGMANN L., “Mittelalterliche Übersetzungen byzantinischer Rechtstexte,” in: G. THÜR, Hrsg., *Antike Rechtsgeschichte: Einheit und Vielfalt* (= Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte, 726), Wien, 2005, 43–66.

HUBE 1868

HUBE R., *O znaczeniu prawa rzymskiego i rzymsko-bizantyńskiego u narodów Słowiańskich*, Warszawa, 1868.

——— 1880

HUBE R., *Droit Romain et Gréco-Byzantin chez les peuples slaves*, Paris, Toulouse, 1880.

MINALE 2009

MINALE V. M., “Lo «zakonik» di Stefan Dusan e i suoi legami con la legislazione bizantina,” *Index: Quaderni camerti di studi romanistici*, 37, 2009, 219–228.

MIŠKATOVIĆ 1869

MIŠKATOVIĆ N., *O značenju prava rimskoga i rimsko bizantinskoga kod slavjanskih naroda*, Wien, 1869.

MORTREUIL 1843–1846

MORTREUIL J. A. B., *Histoire du droit Byzantin ou du droit Romain dans l'Empire d'Orient, depuis la mort de Justinien jusqu'à la prise de Constantinople en 1453*, 1–3, Paris, 1843, 1844, 1846 (repr.: Osnabrück, 1966).

NAMISLOWSKI 1908

NAMISLOWSKI L., “Wege der Rezeption des byzantinischen Rechts im mittelalterlichen Serbien,” *Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven*, 1/2, 1908, 139–152.

SOLOVIEV 1959

SOLOVIEV A. V., "Der Einfluß des Byzantinischen Rechts auf die Völker Osteuropa," *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 76, 1959, 439–479.

ŠARKIĆ 1988

Šarkić S., "Elements of Constitutionality in Medieval Serbian Law," *IUS COMMUNE. Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte*, 15, Frankfurt a. M., 1988, 43–55.

——— 1990

Šarkić S., "Zašto Sintagma a ne Heksabiblos," *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu*, 40/1, 1990, 73–77.

——— 1996

ŠARKIĆ S., "Νόμος et «zakon» dans les textes juridiques du XIV siècle," *Byzantium and Serbia in the 14th Century*, Athens, 1996, 257–266.

——— 2004

ŠARKIĆ S., "The Concept of Marriage in Roman, Byzantine and Serbian Mediaeval Law," *Зборник радова Византолошког института*, 41, 2004, 99–103.

——— 2005A

ŠARKIĆ S., "The Concept of Will in Roman, Byzantine and Serbian Medieval Law," in: L. BURGMANN, Hrsg., *Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte. Fontes minores*, 11: *Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte*, Frankfurt a. M., 2005, 427–433.

——— 2005B

ŠARKIĆ S., "Νόμος, lex, закон: порекло, значења, дефиниције," *Зборник Матице српске за класичне студије*, 7, Нови Сад, 2005, 49–64.

——— 2007

ŠARKIĆ S., "Sull'acquisizione della capacità di agire nel diritto medievale serbo," *Diritto @ Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 6, 2007, 1–6.

ŠARKIĆ 2008A

ŠARKIĆ S., "Natural Persons (Individuals) and Legal Persons (Entities) in Serbian Mediaeval Law," *Зборник радова Византолошког института*, 45, 2008, 223–229.

——— 2008B

ŠARKIĆ S., "Provisions of Roman Law on Dowry in Serbian Mediaeval Law," *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 125, 2008, 682–687.

——— 2013

ŠARKIĆ S., "Depositum in Roman, Byzantine and Serbian Mediaeval Law," in: *ANTIKNHΣΩP — Τιμητικός τόμος σπύρου Ν. Τρωιάνου για τα όγδοηκοστά γενέθλιά του = ANTECESSOR. Festschrift für Spyros N. Troianos zum 80. Geburtstag*, 2, Αθήνα, 2013, 1587–1594.

TROIANOS, ŠARKIĆ 1996

TROIANOS S., ŠARKIĆ S., "Ο κώδικας του Στέφανου Δουσαν και το βυζαντινό δίκαιο," *Byzantium and Serbia in the 14th Century*, Athens, 1996, 248–256.

ZACHARIAE VON LINGENTHAL 1856–1884

ZACHARIAE VON LINGENTHAL C. E., *Ius Graeco-Romanum*, 1–7, Leipzig, 1856–1884.

ΖΕΡΟΙ 1931

ΖΕΡΟΣ J., ΖΕΡΟΣ P., *Ius Graecoromanum*, 1–8, Athenae, 1931 (repr.: Aalen, 1962).

ΡΑΛΛΗΣ, ΠΟΤΑΝΗΣ 1859

ΡΑΛΛΗΣ Γ. Α., ΠΟΤΑΝΗΣ Μ., *Ματθαίου τοῦ Βλασταρέως Σύνταγμα κατὰ στοιχείον, Ἀθήναι*, 1859 (φωτοτυπско издање: Ατiνα, 1966).

Srđan Šarkić

University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

The Influence of Byzantine Law on Serbian Medieval Law

Abstract

Serbian law from the early 13th century developed under the direct influence of Byzantine law. Serbian jurists adopted Byzantine law through translations of Byzantine legal compilations. The first such translation was the *Nomokanon of St. Sabba* of 1219. St. Sabba's *Nomokanon* contained ecclesiastical rules together with the canonist's glosses, a translation of part of Justinian's *Novels*, and the whole of the *Procheiron* of Basil I. Between 1349 and 1354, Serbian lawyers created a special *Codex Tripartitus*, codifying both Serbian and Byzantine law. The Russian scholar T. Florinsky noticed this as long ago as 1888, pointing out that in the oldest manuscripts, Dušan's *Code* is always accompanied by two other compilations of Byzantine law: the abbreviated *Syntagma* of Matthew Blastares and the so-called Code of Justinian. In addition to translations of Byzantine legal miscellanies, Serbian lawyers also adopted a great number of the institutions of Roman law. However, Serbian jurists were not educated in Bologna so, as a consequence, Roman law was adopted in an indirect way, i.e., through Greek (Byzantine) translations and not from original Latin texts. Dušan's *Code*, as the most important legal source of medieval Serbian law, took about sixty articles directly from the *Basilica*: the most important are articles 171 and 172.

Keywords

St. Sabba's *Nomokanon*, *Syntagma Canonum*, Code of Justinian, *lex*, *nomos*, *zakon*, Dušan's *Code*, *Basilica*

References

- Blagojević M., *Zemljoradnički zakon, srednjovekovni rukopis* (= Srpska akademija nauka i umetnosti. Odeljenje društvenih nauka. Izvori srpskog prava, 14), Beograd, 2007.
- Bogdanović D., "Krmčija svetoga Save," u: *Međunarodni naučni skup "Sava Nemanjić – Sveti Sava, istorija i predanje". Decembar 1976* (= Srpska akademija nauka i umetnosti. Naučni skupovi, 7), Beograd, 1979, 91–99.
- Bubalo Đ., *Dušanov zakonik*, Beograd, 2010.
- Burgmann L., "Mittelalterliche Übersetzungen byzantinischer Rechtstexte," in: G. Thür, Hrsg., *Antike Rechtsgeschichte: Einheit und Vielfalt* (= Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte, 726), Wien, 2005, 43–66.
- Marković B., *Justinijanov zakon, srednjovekovna vizantijsko-srpska pravna kompilacija* (= Srpska akademija nauka i umetnosti. Odeljenje društvenih nauka. Izvori srpskog prava, 15), Beograd, 2007.
- Minale V. M., "Lo «zakonik» di Stefan Dusan e i suoi legami con la legislazione bizantina," *Index: Quaderni camerti di studi romanistici*, 37, 2009, 219–228.
- Petrović M., Štavljanin-Đorđević Lj., *Zakonopravilo Svetoga Save*, 1, Beograd, 2005.
- Radojčić N., "Snaga zakona po Dušanovu Zakoniku," *Glas Srpske akademije nauka*, 110, Drugi razred, 62, 1923, 100–139.
- Radojčić N., "Snaga zakona po Dušanovu Zakoniku," *Glas Srpske akademije nauka*, 110, Drugi razred, 62, 1923, 100–139.
- Radojčić N., "Dušanov zakonik i vizantijsko pravo," u: *Zbornik u čast šeste stogodišnjice Zakonika cara Dušana I*, Beograd, 1951, 45–57.
- Radojčić N., *Zakonik cara Stefana Dušana 1349 i 1354*, Beograd, 1960.
- Scheltema H. J., Van der Wal N., ed., *Basilicorum Libri LX, series A, volumen 1, textus librorum 1–8*, Groningen, 1955.
- Shchapov Ya. N., "Retsetsiia sbornikov vizantijskogo prava v srednevekovykh balkanskikh gosudarstvakh," *Vizantiiskii vremenik*, 37, 1976, 123–129.
- Soloviev A., "Značaj vizantijskog prava na Balkanu," *Godišnjica Nikole Čupića*, 37, 1928, 95–141.
- Soloviev A., *Zakonodavstvo Stefana Dušana cara Srba i Grka*, Beograd, 1928.

Soloviev A. V., "Der Einfluß des Byzantinischen Rechts auf die Völker Osteuropa," *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 76, 1959, 439–479.

Subotin-Golubović T., *Matija Vlastar Sintagma* (= Srpska akademija nauka i umetnosti. Odeljenje društvenih nauka. Izvori srpskog prava, 18), Beograd, 2013.

Šarkić S., "Elements of Constitutionality in Medieval Serbian Law," *IUS COMMUNE. Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte*, 15, Frankfurt a. M., 1988, 43–55.

Šarkić S., "Zašto Sintagma a ne Heksabiblos," *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu*, 40/1, 1990, 73–77.

Šarkić S., "Νόμος et «zakon» dans les textes juridiques du XIV siècle," *Byzantium and Serbia in the 14th Century*, Athens, 1996, 257–266.

Šarkić S., "Gajeva podela lica u srednjovekovnom srpskom pravu," *Zbornik Matice srpske za klasične studije*, 4–5, 2002, 107–112.

Šarkić S., "Pojam testamenta u rimskom, vizantijskom i srednjovekovnom srpskom pravu," Lj. Maksimović, N. Radošević, E. Radulović, ur., *Treća jugoslovenska konferencija Vizantologa. Kruševac 10–13. maj 2000*, Beograd, Kruševac, 2002, 85–90.

Šarkić S., "The Concept of Marriage in Roman, Byzantine and Serbian Mediaeval Law," *Zbornik radova Vizantološkog instituta*, 41, 2004, 99–103.

Šarkić S., "The Concept of Will in Roman, Byzantine and Serbian Medieval Law," in: L. Burgmann, Hrg., *Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte. Fontes minores*, 11: *Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte*, Frankfurt a. M., 2005, 427–433.

Šarkić S., "Nomos, lex, zakon: poreklo, značenja, definicije," *Zbornik Matice srpske za klasične studije*, 7, Novi Sad, 2005, 49–64.

Šarkić S., "O sticanju poslovne sposobnosti u srednjovekovnom srpskom pravu," *Zbornik radova Vizantološkog instituta*, 43, 2006, 71–76.

Šarkić S., "Odredbe rimskog prava o mirazu u srednjovekovnom srpskom pravu," *Zbornik Matice srpske za klasične studije*, 8, 2006, 185–191.

Šarkić S., "Poklon u srednjovekovnom srpskom pravu," *Istraživanja*, 17, 2006, 7–15.

Šarkić S., "Sull'acquisizione della capacità di agire nel diritto medievale serbo," *Diritto @ Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 6, 2007, 1–6.

Šarkić S., "Natural Persons (Individuals) and Legal Persons (Entities) in Serbian Mediaeval Law," *Zbornik radova Vizantološkog instituta*, 45, 2008, 223–229.

Šarkić S., "Provisions of Roman Law on Dowry in Serbian Mediaeval Law," *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 125, 2008, 682–687.

Šarkić S., "Recepcija grčko-rimskog (vizantijskog) prava u Srbiji," u: *Srednjovekovno pravo u Srba u ogledalu istorijskih izvora* (= Srpska Akademija Nauka i Umetnosti. Odeljenje društvenih nauka. Izvori srpskog prava, 16), Beograd, 2009, 1–7.

Šarkić S., "Depositum in Roman, Byzantine and Serbian Mediaeval Law," in: *ANTECESSOR. Festschrift für Spyros N. Troianos zum 80. Geburtstag*, 2, Athens, 2013, 1587–1594.

Šarkić S., "Službenosti u vizantijskom i srednjovekovnom srpskom pravu," *Zbornik radova Vizantološkog instituta*, 50/2, 2013, 1003–1012.

Troianos S., Šarkić S., "Ο κώδικας του Stephanou Dousan kai to byzantino dikaiο", *Byzantium and Serbia in the 14th Century*, Athens, 1996, 248–256.

Troicki S., "Ko je preveo Krmčiju sa tumačenjima," *Glas Srpske akademije nauka*, 193, 1949, 119–142.

Troicki S., "Kako treba izdati Svetosavsku Krmčiju (Nomokanon sa tumačenjima)," *Spomenik Srpske akademije nauka*, 102, 1952, 1–114.

Troicki S., "Crkveno-politička ideologija Svetosavske Krmčije i Vlastareve Sintagme," *Glas Srpske akademije nauka*, 112, 1953, 155–206.

Troicki S., *Dopunski članci Vlastareve Sintagme* (= Posebna izdanja Srpske akademije nauka, 268; Odeljenje društvenih nauka, 21), Beograd, 1956.

Zepos J., Zepos P., *Ius Graecoromanum*, 1–8, Athenae, 1931 (repr.: Aalen, 1962).

Проф. др Срђан Шаркић

Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, редовни професор,

шеф катедре за историју државе и права

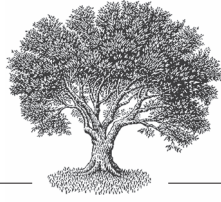
Трг Доситеја Обрадовића 1

21000 Нови Сад

Србија / Serbia

srdjansarkic@gmail.com

Received on February 27, 2015



Време Душановог законика

Ђорђе Бубало

Универзитет у Београду,
Београд, Србија

Время Законника Стефана Душана

Ђорђе Бубало

Београдски универзитет,
Београд, Србија

Апстракт

Овај рад представља покушај да се на основу структуре и садржаја сачуваних рукописа Душановог законика прикаже у основним обрисима историја његове примене и промене, од проглашења 1349. и новелирања 1353–1354. до краја XVIII века.

Кључне речи

Душанов законик, Скраћена синтагма Матије Властара, Јустинијанов закон, Српска црква

Резюме

Данная работа представляет собой попытку показать в общих чертах историю применения и изменения Законника Стефана Душана со времени провозглашения в 1349 г., обновления 1353–1354 гг. и до конца XVIII в. на основании структуры и содержания сохранившихся рукописей.

Кључеве слова

Законник Стефана Душана, Сокращенная синтагма Матфея Властара, Закон Юстиниана, Сербская православная церковь

Душанов законик се, међу неупућенима по правилу, а у круговима историчара, чак и медијевиста, не тако ретко, везује искључиво за средњи век, за раздобље Српског царства. Међутим, време Душановог законика, премашивши далеко такве хронолошке оквице, протеже се до краја XVIII века, а кроз научна проучавања све до данас¹.

¹ Библиографија о Душановом законнику: [Радојчић-Костић 2006]; најновије издање: [Бубало 2010].

На државном сабору у Скопљу, на Спасовдан, 21. маја 1349. године, у присуству владарева породице, патријарха Јоаникија, црквених великодостојника и властеле велике и мале проглашен је Законик цара Стефана Душана, у чији састав је ушло 135 појединачних одредаба, на челу с царевом повељом о законодавном раду. Тада је, заправо, донет његов основни, први део, који је допуњен непуних пет година доцније, тј. византијске 6862. године, којој одговара раздобље од 1. септембра 1353. до 31. августа 1354. године хришћанске ере. Доношење преко 60 нових закона било је условљено променама које су наступиле после 1349 г., тешкоћама које су искрсле у примени појединих чланова или потребом да се попуне празнине које су промакле састављачима првог законика. Многе од новела које су ушле у други законик доношене су поступно после 1349. г., онако како су налагале потребе. То се са сигурношћу може рећи за низове чланова окупљених око истог предмета, са заповедном реченицом на почетку: *Повелѣва царство цн²*.

Сачувани преписи ДЗ су најречитије сведочанство о његовој историји. Најстарији, али само фрагментарно сачувани рукопис са текстом ДЗ (*Стр*) преписан је у последњој деценији XIV века. Из XV века потиче пет рукописа: *Атн*, *Стд*, *Ход*, *Хил* и *Бис*, а из XVI два — *Бар* и *Прз*. Из XVII века доспела су три рукописа: *Шиш*, *Рав* и *Рах*, у којем је сачувана повеља цара Душана уз Законик. Највећи број преписа је из XVIII века — 13 (*Пат*, *Бор*, *Поп*, *Тек*, *Сан*, *Ков*, *Соф*, *Бгд*, *Реж*, *Кар*, *Врш*, *Рум* и *Грб*), а *Бог* и *Јаг* су из наредног столећа, мада им је предложак, по свој прилици, био такође из XVIII века. Рукописи из времена до краја XVII века, осим *Рав*, чине такозвану старију редакцију ДЗ, која у већој или мањој мери одражава састав, редослед чланова и стил изгубљеног оригинала Законика, као и доцније кодификаторске и редакторске прераде, настале у доба Царства или у областима и државама пониклим на његовом подручју. Остали рукописи су изданци млађе редакције, о чијим ће особеним одликама касније бити више речи [Ћирковић 2005].

Као што се види из овог прегледа, није сачуван ниједан препис ДЗ из времена Царства, а камоли сам оригинал — ни посебан рукопис првог законика из 1349. г., који је ради употребе морао бити умножаван бар до 1353–1354. године, нити рукопис с новелама, уколико су првобитно засебно издате, нити јединствени правни зборник састављен од оба законика, приликом новелирања првог. Међутим, не постоји сигуран одговор на питање да ли су корекције редоследа чланова и њихово груписање око истог предмета вршене већ током примене првог законика³ или

² Прописи о примању туђих зависних људи (чл. 140 и 141), о казнама за разбојнике и лопове (чл. 145–150), о поротном суду (чл. 151–154), о снази закона (чл. 171 и 172), о првостепеном и царском суду (чл. 181–183).

³ Такво мишљење заступао је [Соловјев 1928/1998: 352–358].

најраније приликом његовог новелирања, када су неки прописи могли бити и преформулисани. *Бис* би се могао узети као могући потомак те гране рукописа, јер су све измене у редоследу чланова код њега ограничене на први део Законика. На исту могућност указивао би и фрагментарно сачувани, *Стр*, не само изменама у редоследу чланова, судећи према преосталом делу текста првог законика, већ и чињеницом да почетак новеларног дела Законика није обележен насловним датумом, као у свим осталим рукописима⁴, већ се без посебног обележја наставља на текст првог дела. За њега би се, дакле, могло претпоставити да је преписан са јединственог рукописног предлошка из 1353/54. г., који је укључио и измене у првом делу Законика. Друга могућност је, разуме се, да су приликом проглашења новелâ 1353/54. године само додате нове одредбе без одговарајућих измена у првом законнику. Но, истицање ових могућности не приближава нас одговору на питање да ли сви сачувани преписи вуку порекло од новелираног зборника из 1353/54. г. или међу њима има и примерака који потичу од предака насталих механичким спајањем два законика, било да је први до новелирања мењан или не. За *Прз* се са доста вероватноће може рећи да је у његове корице први део Законика ушао без измена у редоследу и садржини појединих прописа, било као посебан први законик механичким спајањем са другим закоником, или преко новелираног зборника уколико тада нису вршене измене у првом делу.

Већина рукописа старије редакције садржи преписе још два законска текста – Скраћену синтагму Матије Властара с Правилима св. Јована Посника [Флоринский 1888, Приложения: 95–203] и Јустинијанов закон⁵ [Марковић 2007] – у рукописима увек преписана пре ДЗ. Овакав троделни кодекс обично се назива Душаново законодавство иако нема недвосмислених доказа о томе да су још за Душанова живота ова три законска текста здружени у један правни зборник. Заправо, ниједан од рукописа у којима су сва три текста преписана није старији од прве четврти XV века, а најстарији рукописи српског превода Синтагме Матије Властара, на основу којег је редигована њена скраћена верзија, потичу из последње четвртине XIV века, из времена након измирења Српске и Васељенске патријаршије [Буџало 2013: 727–729]. Другим речима, док се не нађу недвосмислени докази да је Синтагма Матије Властара преведена са грчког на српски најкасније пред крај прве половине XIV века, не можемо са сигурношћу тврдити ни да је њено скраћивање дело правника Душановог времена и да је извршено с циљем да уђе у законски зборник са ЈЗ и ДЗ.

⁴ Изузев *Стд*, који представља само избор из одредаба Законика.

⁵ Законска компилација настала превођењем на српски језик прописа из различитих византијских правних зборника, поглавито из Земљорадничког закона.

Претпоставке и уверења о првобитној редакцији Законика не могу се, према томе, доследно изводити на основу рукописног окружења у којем је текст Законика старије редакције дочекао модерне истраживаче. Тиме, заправо, остаје отворена могућност, коју је својевремено са упадљивом увереношћу навео Стојан Новаковић [Новаковић 1907: xxxiii–xxxix], да је склапање троделног законског зборника резултат кодификаторских напора прве половине XV века и да, поред структуралних и садржинских промена у тексту самог Законика, представља убедљив показатељ о његовом прилагођавању потребама и корисницима другачијим од оних које је законодавац првобитно имао у виду. Другим речима, иницијатива за придруживање СС и ЈЗ Душановом законнику није морала потећи од законодавца већ од корисника тих правних текстова. У прилог претпоставци да су прва два састава првобитно улазила у засебан зборник говорило би и постојање седам рукописа у којима су СС и ЈЗ, или само СС, преписани самостално, без ДЗ [Буало 2013: 731–732]. Међутим, имајући на уму да ниједан рукопис непотпуног Душановог законодавства није старији од XVI века, могуће је и да су СС и ЈЗ у тим рукописима издвојени из заједнице са ДЗ.

Државни оквир и друштвена средина у којима је Законик настао и требало да буде примењиван нису се дуго одржали. Већ за живота Душановог наследника кренуло је растакање државе, а “тихост и спокојни живот”, којима је цар посредством Законика тежио, уступили су место “злости и опакој мржњи”. Врло често се постављају питања колико је заиста било времена и прилике да одредбе Законика уђу у живот, да почну да обликују схватања и понашање савременика, да покушају да приближе државу идеалу какав је прокламован у царевој повељи уз Законик. Од одговора на ова питања очекивало се да пресуде о томе колико је ДЗ вредан као извор и можемо ли уопште кроз његове одредбе да покушамо реконструисати друштво из времена Српског царства. Докази о примени Законика могу се пронаћи, истина малобројни, али то није једино средство којим се његове одредбе дају пренети из области декларативног у стварни живот.

Законик нам, тако рећи, даје прилику да се осврнемо на више страна, да не гледамо само унапред, у временском смислу, већ и уназад. Законодавац је бирао прописе који су имали актуелност у тренутку доношења Законика, прописе којима је требало озакопити темеље на којима је почивало уређење државе и друштва, прописе којима се нудило решење за највеће изазове у друштвеним односима. Садржај Законика богатио се позитивним прописима који су извирали из негативне правне праксе. Избор правних питања и начин њиховог регулисања речито су сведочанство о приликама у Душановој држави, о невољама које су мучиле

царску власт. Рецимо, правила која прописују монашку дисциплину говоре управо о томе да је недисциплина била присутна у манастирима,⁶ строге одредбе о искорењивању крађе и разбојништва, које су ушле у други део Законика⁷, показују да је ова појава била раширена у Душановој држави, одредбе против католичког прозелитизма⁸ у складу су са савременим документима који сведоче о увек присутним настојањима Римске курије ка сузбијању православља. Уколико је закон формулисан тако да забрањује неки поступак или понашање, то се са доста сигурности може узети као сведочанство да су такве појаве биле присутне у свакодневном животу. Члан 104 (И да се не наведе пристава на женоу . кьди нѣсть моужа дома [БУБАЛО 2010: 95]) или члан 120 (Царин'никъ царевъ . да нѣсть вољньхъ зававити . или задръжати тръгов'ца . да из кьплю кою продасть оу бесцѣнїе [БУБАЛО 2010: 99]) говоре о томе да су пристав или цариник, у наведеним примерима, често испољавали понашање које закон настоји да спречи. Најзад, норме обичајног права, које су добиле званичну форму у Законнику, потичу зацело из далеке старине, али и из свакодневне правне праксе.

Душанов законик био је изузетно динамичан текст. Уколико је могуће приближно хронолошки одредити доцније измене и допуне Законика и сместити их у конкретно друштвено окружење, онда се обим и природа тих интервенција могу користити као извор. Из онога што је изостављено тумачићемо које су одредбе у другачијим условима изгубиле актуелност. Из онога што је измењено можемо, рецимо, пратити промене у казненој политици, њено ублажавање или поштравање. А из онога што је преформулисано или прецизније срочено можемо видети какво је било право значење првобитно двосмислених или недоречених прописа. Ако, дакле, не водимо рачуна о еволуцији Законика, редакторске интервенције из, рецимо, XV века могу се некритички применити на реконструисање прошлости средине XIV века. Управо због тога важно је да се препознају слојеви текста, да се издвоје они који садрже касније допуне и измене од оних који припадају првобитној верзији.

Примери примене Законика у Душановом царству могу се наћи у неким од његових повеља. Већ у свечаној хрисовуљи којом су утврђена права и обавезе Дубровчана у Српском царству, издатој само четири месеца после проглашења Законика, у септембру 1349, одредбе о сигурности личности и имовине трговаца почивају на члановима 118–122 ДЗ [Соловјев 1980: 273–276]. Њихово порекло није тешко утврдити поређењем одговарајућих одељака у оба споменика. Ево карактеристичних исечака из Законика: Тргов'ци кон гредѧ по цареве земли . да нѣсть вол'ньхъ никон

⁶ Чланови 14–19, 246, 29 [БУБАЛО 2010: 78–81].

⁷ Чланови 145–150 [БУБАЛО 2010: 105–106].

⁸ Чланови 6–9 [БУБАЛО 2010: 76].

властѣлинъ, или кон любо чловѣкъ забавити по силѣ . . . (чл. 118); Скрълата и малѣ и велике роукѣ потребна . тръговциѣ да гредѣ свободно бе-з-абавѣ по земли царства ми . . . (чл. 119) [Прз, л. 146^r]. Одговарајући одељак из повеле гласи: Да гредѣ свонди главами иданиемъ свондъ. и нихъ тръговци с кѣпломъ свободно бе-з-абавѣ по земли царства ми и кралевѣ. да идъ никтоо нишо не ѣзмѣ по силѣ ни забави. ни властелинъ царства ми ни кралевѣ. тъкмо да ходѣ свободно [ССП, 1: 59–60]⁹. У истој повели утврђује се и прецизира пропис о забрани залагања из чл. 90: Залогѣ коудѣ се обрѣтаю да се ѣкоупню [Прз, л. 142^v]. Обичај задуживања уз залагање драгоцености код Дубровчана, нарочито раширен код српске властеле и грађана, толико је био узео маха да није била довољна кратко срочена, недвосмислена забрана у Законику, већ се, разумљиво, у повели Дубровнику цар вратио на ово питање разрадивши га у појединостима: и ѣ сели напредѣ да не прѣиде ни ѣзмѣ никтоо залогѣ ни ѣ властелина царства ми ни кралева ни кога любо дрѣжанина царства ми и кралева . к'то ли се обрѣте ѣземъ да залогѣ тѣзи поврати сопѣтъ . а за що је прикѣл да мѣ се тази кѣпла ѣпаднѣ [. . .] И оцѣ такози ш ници ѣглави царство ми що сѣ залогѣ заложѣнѣ кога любо мала и голѣма и-з-емлѣ царства ми и кралевѣ да се ницѣ сѣдомъ и правдомъ [ССП, 1: 64]¹⁰. Повеле за манастир Св. Петра Коришког код Призрена, из последње године Душановог живота, прописују радне обавезе сељацима на манастирским метосима, позивајући се на Законик и по истом моделу као у чл. 68.

ДЗ, чл. 68: Мѣроп'хомъ законъ по в'сен земли оу неделн да работаю два дѣни проннтароу . и да моу даѣ оу годици перьпероу царекоу . и заманицомъ да моу косѣ сѣна дѣнь јединъ . и винограда дѣнь јединъ. [. . .] и що оу работа мѣроп'хъ този в'се да стежи . . . [Стр, л. 4^r]

Повеле: И законъ метохни и в'сѣмъ селомъ светога петра. кон је законъ поставило царство ми по всон землы да работаю всакѣ ки је одѣлѣнъ два дѣни оу неделы . и дѣнь винограда . и дѣнь сѣна. и що посоре и покоси все да свѣрстоује и свѣрши и оусиплѣ [Соловјев 1927: 29].

Неколико оригиналних царевих повеља садрже претњу кажњавањем, према слову Законика, онога ко наруши записане одредбе. Простагма манастиру Хиландару о међама села Кунарane (15. новембар, 1349–1353): тко ли потвори . ѣ сицѣ више писанихъ . мало или много. да се распе и накаже по законникѣ . како и неѣвѣрникѣ [ЗС: 437]; повеља манастиру Хиландару за село Карбинци (јун 1355): к'то ли забави и потворитѣ. да се распе и накаже како повелѣва законникѣ царства ми [ЗС: 429]; повеља дубровачком трговцу Мароју Гучетићу (5. децембар 1355): И сега да не потвори никто к'то ли потворѣ да се распе и накаже по законникѣ царства ми [ССП, 1: 67]. Законик се изреком

⁹ Одговарајући одељак се готово дословно, као уосталом и читава повеља, преноси у повели цара Уроша Дубровчанима издатој априла 1357. [ССП, 1: 94].

¹⁰ И ове одредбе поновљене су у Урошевој повели [ССП, 1: 95], али се доцније не срећу у повељама српских владара и обласних господара Дубровчанима, иако све оне у основи преносе садржину Душанове повеље из 1349.

не помиње у повељи Дубровчанима из 1349, која се, без сумње, на њега ослања у формулисању појединих одредаба. Додуше, формула *да се распе и накаже* идентификована је у још две Душанове повеље. Једна је из времена пре доношења Законика, издата Дубровчанину Марку Васиљевићу 12. октобра 1348: *тко ли се кје за нихъ задети или потворѣти цнлостъ и записанне царѣства ли да се распе и накаже и да кѣтъ невѣрнъ царѣствѣ ли* [ССП, 1: 58]; друга се односи на укидање царине у Требињу, издата је истом приликом када и већ цитирана повеља Дубровнику, 20. септембра 1349: *... да потвори цнлостъ и записанне нда се распе и накаже и да кѣ невѣрнъ царѣствѣ ли* [ССП, 1: 65]. Формула *да се распе и накаже* остала је и после доношења Законика само јој је додато *по законнику*, а обележавање (и кажњавање) кривца као неверника јавља се у повељи Хиландару за село Кунаране.

Иако се *расипањем*, тј. одузимањем целокупне имовине, и окривљавањем за неверу претило прекршиоцима одредби цареве исправе и пре доношења Законика, у неколико царевих повеља ипак се та казна наглашава позивањем на Законик. Невоља је у томе што у тексту ДЗ, према сачуваним рукописима старије редакције, није одређена казна за оне који оспоре цареве исправе. Члан 136, који отвара новеларни део Законика, прописује обавезност извршења писане цареве заповести, али не одређује казнене санкције [Бубало 2010: 103, 201]. Штавише, узалудна ће бити и потрага у Законнику за казном за неверу, иако чак и сами његови прописи изједначују кривичну одговорност за поједина дела са оном предвиђеном за почињену неверу: *да се каже како и невѣрникъ* (чл. 140, 141, 144); *да се кажу како прѣслоушници* (чл. 129, 148, 178); *да се каже како прѣбѣглаць* (чл. 142). Да ли је то један од показатеља да првобитни садржај Законика није остао неокрњен у сачуваним рукописима? Или је казна за неверу у толикој мери била укореењена у обичајном праву и правној пракси да се није морала писмено прецизирати.¹¹

Постоје недвосмислени докази да је Законик остао на снази и у држави Душановог наследника, бар првих година његове владавине. Позивање на Законик ради одмеравања казне у повељама цара Уроша ипак има своје особености. У повељи Дубровнику о Стонском трибуту (24. април 1357) изостављена је казна *расипањем*, али је остало неодређено позивање на кажњавање према слову Законика: *кто ли такови дрѣзнеть хотети и потворити сие записанне царѣства ли [. . .] и оть царѣства ли да придеть гнѣвъ и наказанне по законикѣ царѣства ли* [ЗС: 713]. Међутим, могуће је препознати правни извор санкције у повељи Дубровнику о слободи трговине, издате

¹¹ А. Соловјев сматрао је да казне за неверу нема у ДЗ јер је та кривица у појединостима обрађена у СС, за коју је држао да представља изворни део Душановог законодавства [Соловјев 1928/1998: 478–481]. Додуше, све одредбе о невери у СС налазе се и у *Прохируну*, који је у српском преводу доступан већ у *Светосавском Номоканону*.

ИСТОГ ДАНА: КТО ЛИ ИНО УЧИНИ ѿ властель царьства дн а или ѿ владѹщихъ въ земли царьства дн. и потвори снѣ записаннѣ и мнлостъ царьства дн . и забави шо дѣбровчаномѣ да не продаю тръгове и кѣплю свою и да си кѣпѣю шо нмѣ трѣбѣиѣ . а или нмѣ шо кто ѹзме да дн кѣтъ невѣрнѣ ѹ невѣрно нмѣ и да плати вѣсе самосѣдмо шо нмѣ бѣде стрѣль по законикѹ царьства дн [ССП, 1: 92]. У наставку, неочекивано и супротно претходно цитираној одредби, истиче се да примарна одговорност за накнаду штете лежи на цару, који ће се потом намиривати од окривљених. Осим поштовања општег духа чланова 118–122 ДЗ, посвећених заштити и слободи трговаца, у овој одредби приметан је утицај чл. 160, којим се штите трговци од лопова и разбојника, а накнада штете лежи на цару [Буђало 2010: 109]. Према начину кажњавања седмоструком накнадом штете од починилаца, одредба царева повеље почива на решењу примењеном у чл. 187: шо воудѣ стрѣвено кѣсе да плати самосѣдмо [ИВД.: 116]. Иначе казна седмоструке накнаде за оштећивање или нестанак имовине наглашено је присутна у Законику (чл. 30, 93, 102, 143, 187, 193, 200) и, бар према сачуваним изворима, не пре тога. Због тога нећу погрешити ако претпоставим да на цитираним прописима Законика почива, иако без његовог изричитог помињања, и исправа цара Уроша издата Дубровчанима поводом једног конкретног случаја узнемиравања дубровачких трговаца од стране царевог властелина Жарка (јануар 1357): а за жарка шо ви кѣтъ ѹзелъ [. . .] да ви га да царьство дн да ви плати вѣсе самосѣдмо [ССП, 1: 98].

У обе, раније поменуте, повеље цара Уроша (издате истог дана 1357), где се за одмеравање казне упућује на Законик, цар говори о њему као о своме (*Законик царства ми*), а не као о очевом Законику (*Законик родитеља царства ми*). Да ли је то последица простог преузимања формуле из формулара канцеларије његова оца или је Урош имао разлоге за “присвајање” Законика? Ова друга могућност може се објаснити идејом да Законик као врховни царски законодавни акт није везан само за личност његовог доносиоца већ за цара као установу, без обзира на то ко се у датом тренутку налази на том положају. Међутим, извесни посредни показатељи упућују на помисао да Урош није само наследио готов текст од свога оца већ га је у по нечему и допунио. На државном сабору у Скопљу 1357. године цар Урош је издао повељу у којој су исписане и речи које би указивале на могућност да је управо тада потврдио очев Законик: иже вса добрѣ ѹстраиашѹ ѣли по законѹ ѹставленномѹ вѣсѣтствнаго зѣвора. иже ѿ прежде господинномѹ и родителемѹ царьства дн. светопочившимѹ царемѹ и иже ѹстави всакаѣѣ правила. тази вса ѹтврѣждаѣтъ царьство дн [ЗС: 310].

При крају *Рак* преписана је група од 23 члана у којој су измешани: а) чланови који се не налазе ни у једном другом сачуваном рукопису, б) дупликати чланова који се налазе у основном тексту, али који су очигледно при крају рукописа преписани са другог предлошка и в) два члана

(47 и 54) који су изостали са одговарајућег места у основном тексту, али без садржинске везе са прописима у чијем друштву су преписани и формално обједињени насловом који стоји испред првог од њих [*Рак*, л. 69^v–71^r; Ђирковић 2011: 11–16]. Међу њима се налазе и прописи у којима се истиче двојство цар и краљ и царица и краљица, и то дупликат чл. 81, који говори о царевим и краљевим планинама, наместо царевим и црквеним у основној верзији [*Рак*, л. 70^r; Бубалo 2010: 178], и *paragraphus unicus* (чл. 195) где се помињу упоредо царица и краљица [*Рак*, л. 70^v; Бубалo 2010: 223]. Краља имамо само на два места у основном тексту Законика, у члановима 43 и 136, и ту се увек наводи уз госпођу царицу, у првом случају и уз цара [Бубалo 2010: 84, 103]¹². Међутим, самосталан пар цар и краљ, а поготову царица и краљица имамо само у наведеним члановима *Рак*. Та појава наводи на помисао да бар неки од прописа с краја *Рак* потичу од цара Уроша јер краљице за Душанова царевања једноставно није било. Урош је, после више неуспелих покушаја за очева живота, успео да се ожени тек 1360 [Ђирковић 2004]. Двојство цар и краљ, пак, могло би се приписати времену савладарства цара Уроша и краља Вукашина (од 1365), мада је оно присутно и истицано, иако само формално, и од времена Душановог уздизања на царски трон. То је посебно уочљиво у више пута помињаној повељи за Дубровник из 1349, у којој се доследно подвлачи паралелизам царева и краљеве земље [Ђирковић 1994].

За живота цара Уроша из корена се почела мењати друштвена средина и државни оквир којима је Законик био намењен. Све теже су се могли усклађивати прописи засновани на друштвеним односима, владаревој власти, јединственој територији, централној и локалној управи, међународним односима, верским приликама из времена доношења и првих година примене Законика са приликама у државоликим творевинама обласних господара пониклим на развалинама Царства. Изричитог позивања на Законик у повељама обласних господара и, доцније, деспотâ нема. Дух Законика још се осећа у појединим одредбама повеља које су српски господари издавали Дубровчанима по угледу на српске царева. Узнемиравање и крађа трговаца санкционисани су у повељама које су кнез Лазар и господин Вук Бранковић издали Дубровнику 1387. године доследно према начелу супсидијарне одговорности, за разлику од противречне Урошеве повеље из 1357. године [Соловјев 1980: 305]. Наводим одговарајући одељак из боље очуване Вукове повеље: И кѣде идѣ дѣбровчане по земли по мосту с тръгомъ гдѣ га ѣне гѣса или га покрадѣ ѣ селе да нѣмъ плати околинна што нѣмъ ѣзде гѣса или нѣмъ се ѣкраде ако а-н-мъ не плати околинна да нѣмъ плакю га вѣкъ [ССП, 1: 138]¹³.

¹² Само цар и царица (без краља) наводе се у чл. 140 и 187 [Бубалo 2010: 104, 116].

¹³ Повеља кнеза Лазара: [ССП, 1: 121]. Иста одредба понавља се и у повељама српских деспота Дубровнику [ССП, 1: 152, 202; 2: 16].

Поред чланова ДЗ чији је утицај на формулисање одговарајуће одредбе у Урошевој повељи раније истакнут, намеће се и паралела са чл. 158 о колективној одговорности околних села за разбојништва и крађе причињене на деоницама путева кроз пуне крајеве [Бубало 2010: 109, 210].

Но, иако се у повељама не помиње Законик, чињеница да се преписује говори о томе да није изгубио значај. У последњој деценији XIV века преписан је *Стр*, од којег је остало само 15 листова са једва преко 100 чланова [Бубало 2010: 26–27]. Један од његових преписивача био је дечански монах Данилац Левооки, који је у манастиру преписао, између осталог, пролошки комплет по налогу епископа Варлаама 1394. г. и отечник по налогу игумана Варлаама [Цернић 1981: 339–341, 354–355; Синдик 1998; Опис Дечани 2011: № 52–54, 96], а управо у то време (1397) преписао је на неисписаним листовима рукописне књиге треће Дечанске хрисовуље и повељу монахиње Јевгеније (кнегиње Милице) за манастир Дечане [Турилов 2008: 199–200]. Вероватно је и Законик писао у манастиру и за манастирске потребе.

Најстарији сачувани рукопис ДЗ (*Стр*) већ показује измене у односу на првобитни редослед грађе, који се с пуно оправдања препознаје у *Прз* [Соловјев 1980: 119–123], а рукописи из прве половине XV века садрже текст ДЗ са изменама и допунама које су настале као одраз прилагођавања другачијим правним и друштвеним околностима, али и корисницима са посебним циљевима и делокругом правне надлежности. Такви су *Бис*, *Атн*, *Хил* и *Ход* [Соловјев 1980: 123–137]. Међутим, појава рукописа с обележјима редакторских захвата у структури и садржини појединих прописа није означила напуштање оне или оних верзија које су настојале да пренесу састав, редослед чланова и дух Законика из времена његовог проглашења (*Стд*, *Прз* и *Рак*). Нова или нове редакције не смењују старе, не чине их застарелим и неподесним за употребу, већ различите верзије и даље живе и преписују се упоредо, све до коренитих редакторских измена крајем XVII и почетком XVIII века, које ће изнедрити млађу редакцију. Оно што је, међутим, свим овим рукописима заједничко јесте срастање ДЗ са кодиколошким окружењем, чији су први, непроменљиви слој чинили СС и ЈЗ. За разлику од Законика, СС и ЈЗ показују конзервативност у тексту, готово да изостају измене редакцијског типа – испуштања, премештања, допуне – изузев посебне редакције СС у *Стд* и *Рак* [Мојин 1949; Бубало 2013: 730–731].

У језику и стилу редигованих преписа Законика најпре упада у очи начин на који се цар као законодавац наводи. По узору на византијске царе, Душан за себе користи израз “царство ми” и дели правду кроз неку врсту непосредног обраћања поданицима. У време када ни цара законодавца ни државе којом је владао више није било, редактори и

преписивачи одговарали су на прилике свога времена и тиме што су прописе преформулисали из субјективног у објективни стил, што су “царство ми” преиначили у “цар”, узимајући тај термин као општу ознаку за владара. С таквим својеврсним удаљавањем одговорности у односу на првог цара законодавца, Законик је постао много више царски правни акт, а мање царев (Душанов). Ево како то изгледа на примеру чл. 181, у првобитној стилизацији, према *Прз*, и редигованој, према *Атн*:

Повелѣва царство ми соудіамъ . аще се обрѣте велико дѣло . а не оудмогоу рассудити и расправити кон любо соудъ великъ боудѣть . да гредє ѿ соудѣн єдинъ съ обѣма сонємазѣн прѣцєма , прѣдъ царство ми [*Прз*, л. 156^r].

Повелѣніє царьско соудіамъ . ако се обрѣте велико дѣло . и не оудмогоу рассудити и исправити . кон любо сьдѣ великъ боудєть . да гредєть ѿ соудѣн єдинъ , съ обѣма сонѣмази прѣцєма прѣдъ цара [*Атн*, л. 241^r].

Међутим, питање промене стила ни изблиза није тако једноставно¹⁴. Не може се повући јасна црта између рукописа који користе директни стил и оних који користе индиректни. Од свих рукописа старије редакције само *Рак* доследно користи индиректни стил, а он по саставу и редоследу чланова следи углавном првобитну редакцију! Разилажење у начину на који се о цару говори примењено је у целости само у другом делу Законика. Насупрот *Стр*, *Стд* и *Прз* (“царство ми”) стоје *Атн*, *Бис*, *Ход*, *Бар* и *Шиш* (“цар”), а *Хил* се прекида код 125. члана. У првом делу Законика ствар је сложенија. Оба начина преплићу се не само у суседним члановима већ и у истом члану, и то у већини случајева код свих рукописа (осим *Рак*) без изузетка. “Царство ми” имају сви рукописи у чл. 26, 30, 34, 35, 40, 42, 75, 81 (чл. 38, 39 има само *Прз*), а “цар” у чл. 23, 25, 43, 45, 48, 49, 60, 66, 68, 77, 79, 83, 91, 103, 115–118, 120, 124, 129, 132–135 (чл. 51 имају само *Бис*, *Стд*, *Прз*; 72 *Стр* и *Прз*; 121 *Бис*, *Стд*, *Прз*; 128 *Стр*, *Бис*, *Прз*). Разилажење међу рукописима према обрасцу посведоченом у другом делу Законика забележено је у чл. 78, 101, 105, 110¹⁵, 112–114, 119.

Особено је коришћење оба стила у члану 81, у свим рукописима: Планине що соу по земли царства ми . що соу планине царєвѣ да соу цароу [Бубало 2010: 91]. Има случајева и међу члановима код којих постоји разилажење да првобитна верзија није доследна у директном обраћању: нпр. чл. 105 у *Стр* и *Прз* почиње са књиге цареве, а у наставку доследно користи облик царство ми [*Стр*, л. 9^r; *Прз*, л. 144^r–144^v]. У *Прз* чл. 113 има једном дворь царства ми, а други пут дворь царєвѣ [*Прз*, л. 145^r]. Када се упореде бројеви чланова обележених доследно спроведеним директним или индиректним стилем у свим рукописима, могу се издвојити и одељци у којима се

¹⁴ О томе је већ, на широкој основи, расправљао А. Соловјев [Соловјев 1980: 106–110].

¹⁵ Изузев у *Стр*, који има индиректан стил [*Стр*, л. 9^r].

без прекида нижу чланови с поменом цара стилизовани према једном од два начела. Група 26, 30, 34, 35, 38–40, 42 има “царство ми”, а следи јој група 43, 45, 48, 49, 51, 60, 66, 68, 72 где се користи “цар”. У групи 105, 110, 112–114 рукописи се разилазе, а одмах јој следи низ 120, 124, 128, 129, 132–135 у коме сви рукописи користе индиректни стил. Да ли је то доказ вишеструких предложака, тј. слојева у рукописном наслеђу или израз различите стилизације појединих писара?

Без много убедљивости остају покушаји да се избор једног или другог начина објашњава садржином, тј. предметом сваког појединог прописа, тим пре што таквог нијансирања у формулисању нема у другом делу Законика. Могло би се са извесном сигурношћу издвојити начело по коме се цар наводи у индиректном виду када се забрана односи (и) на њега, обично у изразу *да нѣсть вољнь (господинь) царь* (чл. 43, 45, 48), што се потврђује и чињеницом да је таква формулација задржана у свим рукописима и у одговарајућим члановима другог дела Законика упоредо са директним видом (чл. 137 и 140). Међутим, не може се препознати правило у наизменичној употреби индиректног и директног стила за означавање припадности цару, у првом делу Законика, у свим рукописима, чак и у суседним члановима: *двор царства ми/царев, земља царства ми/царева, закон царства ми/царев* и т. д.¹⁶ У групи чланова са индиректном стилизацијом, у свим рукописима, истичу се они у којима се за цара користи израз *господин цар* (чл. 25, 43, 45, 79, 117, 124, 128, 134). Најзад, при садашњем стању рукописне традиције Законика, тешко је дати логички доследан и убедљив одговор на питање зашто се само у другом, новеларном делу доследно раздвајају две скупине рукописа у погледу начина на који се о цару говори. И та нас загонетка враћа на питање, постављено на почетку овог огледа, о времену и начину настанка и склопу преписа Законика који су преживели до модерног времена.

Редактори се нису устезали да изоставе прописе који су с временом изгубили актуелност. Такве су биле одредбе којима се потврђују права стечена до времена доношења Законика, рецимо члан 39, сачуван само у *Прз* и *Рак*: *Властѣле, н властѣлинкын . нже се оверѣтаю оу дрѣжавѣ царьства дн . срьбле н грѣцѣн, що естъ коѣм дало царьство дн оу башинн н оу хрисоволин , н дрѣже до снегази събора . башинне да соу тврѣдѣ [Прз, л. 136^r–136^v]. Овај пропис имао је тежину у Душаново време и у српско-грчком царству као допунска гаранција положаја и повластица византијске властеле која је исказала верност цару. Са истом мотивацијом донет је и чл. 124 и из истог разлога изгубио је*

¹⁶ Произвољно делују објашњења А. Соловјева, који у избору једног или другог начина навођења цара у првом делу Законика види одраз интервенција заинтересованих страна у законодавном процесу. По његовом тумачењу, излази да су све одредбе у којима се о цару говори у трећем лицу донете на подстицај властеле или цркве [Соловјев 1980: 108–110].

актуелност после Душанове смрти: Градовѣ грѣтъѣи коєхъ естъ пріємъ (рго пріємъ) господињь царь . що имъ естъ оутинилъ , хрисовъле и простаг'ме . що си имлау гдѣ и дрѣже до сієгазѣи събора . тозѣи да си дрѣже и да имъ естъ тврѣдо , и да имъ се не оузмє нищо [Прз, л. 146^v]. Није имало више смисла задржавати у Законнику ни прелазне одредбе, какав је члан 164, сачуван само у *Прз*: Да людѣи кто боудѣ чѣга чловѣка пріємъ прѣжде сієга събора . да се нице прѣвѣимъ соудомъ , како пише оу прѣвѣимъ закон'никъ [Прз, л. 153^v]. Пропис је изгубио важност када су с протоком времена застарели случајеви преузимања туђих људи пре 1353/1354. године. Разуме се, временска удаљеност преписа од доношења Законика није нужно сразмерна степену редукције грађе, јер они у којима је првобитни састав претрпео минималне измене потичу из XVI века, као *Прз*, или чак са самог краја XVII века, као *Рак*.

Поред промена насталих услед редукције грађе, подједнако су важне и оне које се огледају у новој систематизацији, чији су први покушаји могли бити предузети и пре новелирања Законика 1353/54. године. Испуштања и премештања чланова узели су заправо с временом толико маха да је данас тешко са сигурношћу васпоставити првобитни редослед чланова. Приметна је потреба да се правна грађа доследно среди по сродности, да се постигну боље садржајне целине, истакнуте и заједничким насловима [Соловјев 1980: 119–137; Законик, 3: 12–16]. Начини артикулисања распореда грађе насловима толико се, међутим, разликују међу рукописима да је веома тешко указати на оне који вуку порекло од првобитне верзије [Ђирковић 2006]. С друге стране, исти наслови који се понављају испред појединачних чланова или скупина чланова, расутих на различитим местима у Законнику, представљали су, по свој прилици, једно од мерила према којем је вршен одабир грађе, њено померање с првобитног места и окупљање прописâ о истом предмету под једним насловом смештеним на почетку тако изабране групе. При томе није нарушено начело да се прописи не премештају из првог у други законик и обратно, осим неколико изузетака у *Рак*. Готово сва премештања потврђују ову претпоставку.

Ево само неколико примера. Наслов *О игуманима* окупљао је у првобитној верзији чланове 14, 15 и 16 [Бис, л. 181^r]¹⁷, затим се о игуманима поново говори у чл. 35 и 36, и на почетку те целине, која је обухватала и чл. 37 (тиче се обавеза митрополита и калуђера, а не игумана), стоји наслов *Ијош о игуманима* [Бис, л. 184^v].¹⁸ У *Атн* и *Бар* група 35–37 премештена

¹⁷ Можда и 17, 18 и 19, који су касније издвојени насловом *О калуђерима* [Ђирковић 2006: 23]. Томе би у прилог говорила појава, присутна само у *Стр*, где су чл. 14–19 обједињени под насловом ѿ игуѣнѣхъ и ѿ калуѣгерѣхъ [Стр, л. 2^r].

¹⁸ За илустрацију се узима редослед чланова и наслови у *Бис*, јер су наслови у *Прз* резултат интервенције преписивача из XVI века [Ђирковић 2006: 12–17], *Стр* и *Стд* имају лакуне у делу текста са групом 35–37, а *Рак* изоставља секвенцу 34–36 [Бубало 2010: 122–125].

је иза групе 14–16 и обе су обухваћене насловом који је првобитно стајао испред чл. 14 [*Атн*, л. 211^r–211^v; *Бар*, л. 127^v–128^r]. Занимљиво је како је на редукцију истих наслова утицала промена места чланова 95а и 95б, који у првобитној верзији следе један другом, као посебни прописи, али су добили једну нумеру јер су у *Прз*, који је послужио као основа за стандардну нумерацију, у науци укоренењу и широко прихваћену, спојени у један члан. Оба члана се тичу клирика, први говори о казнама за њихову увреду и има наслов *О псовању*, а други о казнама за њихово убиство, и носи наслов *О убиству*, којим је обележен и наредни, 96. члан, посвећен казнама за убиство у кругу најуже породице [Буџало 2010: 93–94, 132–133]. С друге стране, чланови 50 и 55, о увредама међу припадницима различитих друштвених слојева, у већини рукописа смештени су један иза другог под заједничким насловом *О псовању* [Буџало 2010: 85–86, 126–127]. У *Атн* и *Бар* овај пар допуњен је чланом 95а, који је због тога ослобођен свог првобитног наслова [*Атн*, л. 216^v; *Бар*, л. 132^r]. Осим испред групе 95б, 96 [*Бис*, л. 193^r], у првобитној верзији, на још два места имамо наслов *О убиству* — испред групе 87, 86¹⁹ [*Бис*, л. 191^v] и испред члана 94 [*Бис*, л. 192^v]. Све ове прописе редактор Атонско-барањске верзије сјединио је у једну скупину (87, 86, 94, 95б, 96) са заједничким првобитним насловом [*Атн*, л. 223^r–223^v; *Бар*, л. 137^r–137^v].

Међу рукописима и групама рукописа препознају се испуштања и премештања грађе поникла из различитих побуда и циљева, али се могу успоставити и везе у којима се огледа поступност у редукцији и систематизацији. Неку врсту копче између рукописа који настоје да се не удаље превише од првобитне верзије и оних којима су накнадне прераде начиниле препознатљиво обележје чини *Бис*. У њему су, рецимо, задржани чл. 51, 106 (о двору царевом), 117 (о имовинским правима у новоосвојеним византијским областима), 121 (сувишан уз члан који му претходи и онај који му следи), 124 (о грчким градовима), 128 (о женидби царевића), који су због губитка актуелности изостављени у Атонско-барањској верзији. Скупина *Хил*, *Ход* и *Шиш*, која се ослања на *Бис* иде још даље у редукцији и изоставља и чл. 44, 46, 48, 49, 54, 57, 60, 83, 84 итд. Група чланова 35–37 налази се у *Бис* на првобитном месту (прате га *Хил*, *Ход*, *Шиш*), а у *Атн* и *Бар*, премештена је иза чл. 16²⁰. Група 31, 65, под насловом *О поповима* следи члану 30 у *Бис* [*Бис*, л. 183^r] и у томе га прате *Хил*, *Ход* и *Шиш*, а у *Атн* и *Бар* премештена је после члана 34 [*Атн*, л. 214^r; *Бар*, л. 130^r]. Премештањем чланова формиран је у *Бис* след 50, 55, 53, 54, 49, 51, 52 [*Бис*, л. 186^v–187^v]. У *Атн-Бар* изостављен је 51, а после 55 убачен

¹⁹ Који су грешком заменили места у *Прз*, па отуд нумерација која наводи на погрешан утисак о обрнутом редоследу. У *Атн*, *Бис*, *Бар* спојени су у један члан.

²⁰ Видети претходни пасус.

95a [Атн, л. 216^v–217^v; Бар, л. 132^r–132^v], а у Хил, Ход, Шиш изостављена је група 54, 49, 51 [Хил, л. 112^v–113^r; Ход, л. 90^r–90^v]. Према првобитном редоследу, какав је задржан и у Бис, иза наслова *О татима и гусарима* следили су чланови 145–147, затим је долазио чл. 148 под насловом *О судијама*, а потом поново наслов *О татима и гусарима* испред чл. 149 и 150 [Бис, л. 200^v–202^r]. Према раније образложеном и илустрованом начелу, не само у *Атн-Бар*, већ и у *Ход* и *Шиш*, који су до тада следили рашчлањавање грађе какво је у *Бис*,²¹ чл. 149 и 150 премештени су иза чл. 145–147 и обухваћени једним насловом [Атн, л. 232^r–233^v; Бар, л. 144^r–145^r; Ход, л. 97^r–97^v].

Најзад, кодификаторске измене ишле су за тим да се одредбе које су биле двосмислено или непрецизно срочене побољшају или да се допуне и преиначе у складу с измењеним друштвеним околностима и правном праксом која их је пратила. Казне су за поједине преступе ублажаване, а за друге поштрене. Члан 97 прописује, према *Стр*: Кто се охрѣте ѿскоубъ брадѣ властелиноу или доброу чловѣкоу да се томоузи ѿбѣ рѣцѣ ѿскоу [Стр, л. 8^r]. Брада је била симбол људског достојанства, па се чупање браде властелину или угледном човеку сматрало нарочито тешком увредом, због које су, према првобитној верзији Законика, доказани кривци бивали осуђени на одсецање обе руке, као и код хотимичног убиства. У ревизији Законика та је казна смањена на одсецање једне руке: да се томоузи роука ѿсѣче [Атн, л. 224^v; БуБало 2010: 94, 183–184]. И члан 131 измењен је с циљем да се казна ублажи. Допушта се да се сукоб између два војника на походу реши двобојем, али се настоји најоштријим мерама спречити да двобој прерасте у општу тучу. Првобитна верзија предвиђа смртну казну за помагаче: . . . Ако ли тко потече и поможе на поир'внцоу онызи да се оубию [Стр, л. 10^v]. Она је, међутим, приликом ревизије ублажена на телесну казну одсецања руку, вероватно по начелу да се кажњава орган којим је почињено кривично дело: да се кажоутъ . . . рѣцѣ да им' се оусѣкоутъ [Атн, л. 229^v; БуБало 2010: 101, 197].

Члан 99, који одређује казне за пиромана, иде у супротном правцу. Према првобитној верзији, за паликућу који је подметнуо пожар у селу прописана је колективна одговорност села. Уколико паликућа не би био пронађен и предат ради суђења, село је имало да накнади штету која би падала на терет паликуће [Стр, л. 8^r; Прз, л. 143^v]. Из тога се посредно види да је окривљени пироман морао надокнадити штету причињену пожаром. Приликом ревизије Законика уведена је, према византијском законодавству, најстрожа казна спаљивањем за умишљајног пиромана који би био ухваћен на делу: да се пожеж'ца тѣзи нждеже на огни. Уколико пак не би био ухваћен на делу, село је било дужно да га преда или да накнади штету [Атн, л. 224^v; БуБало 2010: 94, 184–185].

²¹ Хил се прекида код чл. 125.

Све наведене измене могле би се приписати ревизији подстакнутој претпостављеним спајањем СС и ЈЗ, уколико су првобитно самостално преписивани, у један рукописни зборник са ДЗ, од којег се више неће одвајати. Томе би у прилог говорило и испуштање чл. 109, који забрањује деловање врачара и зналаца отрова и за казне упућује на Номоканон: Магѣнникъ и отровникъ кон се нанде облично . да се каже по законъ светѣиныхъ штыць [Прз, л. 144^v]. По моме уверењу, овај члан постао је сувишан када су СС, ЈЗ и ДЗ спојени у један, троделни кодекс, јер глава М-1 СС прописује казне за врачарство и тровање [Флоринский 1888: Приложения, 181-185], а Правила св. Јована Посника дају упуте за покајнике који су та дела починили [Флоринский 1888: Приложения, 223].

Како су се повећавале наслаге времена између оригинала и преписа, тако је и окружење у којем су ти преписи настајали постајало све даље и другачије од онога којем је Законик првобитно био намењен. Растао је и број посредника, а с њима и вероватноћа грешака услед превида или неразумевања. Ово друго је неретко водило до далекосежних промена, које су даљим преписивањем бивале озаконјене, јер су појмови и речи из другачијег времена, непознати писарима или наручиоцима њихових дела, замењивани онима које су боље одговарале потребама средине и смислу прописа какав му је даван у некој од карика ланца преписивача. Ако се временској и културолошкој дистанци дода и просторна, подједнако одговорна за промене у језику, за уношење дијалектизама, онда не треба да изненади неверица неупућених да су преписи Законика из XVIII века имали исто исходиште као и они три столећа старији.

О тим променама можда најбоље сведочи *Рак*, преписан на самом крају XVII века, али као представник рукописне породице ближе по структури и тексту изгубљеном оригиналу. Писар *Рак*, јеромонах Пахомије, или писар неког од његових предложака, тежио је да средњовековне појмове приближи схватањима свога времена, замењивањем застарелих и непознатих термина и поједностављивањем језика, са исходом који је неретко био одређен неразумевањем, али и способношћу да се значење непознатог појма наслути из контекста. У том науму ипак није увек био доследан, па исте, старе изразе у неким прописима осавременује а у неким оставља. Логотет, старшина цареве канцеларије, био му је непознат појам, па га у чл. 25, где се из текста не може наслутити чиме се бавио (Црѣквани да облада господињ царь, и патриарха и логофеть, а инь никто [Прз, л. 134^v]), преноси у облику логофеть [Рак, л. 55^v], свакако зато што је у предлошку стајало логофеть, што је, уз облике логотеть, логофеть, био равноправан начин писања ове именице у старосрпском језику. Али у чл. 134, где је одређена накнада логотету за редиговање и издавање царевих хрисовуља, Пахомије је помислио да његова служба има везе с писањем исправа

па га назива писарь [*Рак*, л. 64^v]. Користећи исти приступ и са сразмерним успехом, преписивач *Рак* је у чл. 94 протумачио катънь као шаторъ, што је и било једно од значења у то време [*Рак*, л. 61^r]; сѣжънь је у чл. 113 заменио турцизмом тоуцакъ [*Рак*, л. 62^v], а закѣль је у чл. 74 постао жито [*Рак*, л. 59^r]. Средњовековни појам забавка (узнемиравање) једном је протумачио као соудненіе, у чл. 119 [*Рак*, л. 63^r], а други пут као злоба, у чл. 160 [*Рак*, л. 67^r], оба пута из контекста, али се стварном значењу приближио само у другом случају. Жупу је у чл. 94, где се наглашава разлика у односу на град, преиначио у полк [*Рак*, л. 61^r], у чл. 127, где је жупа означена као градска област, употребио је турцизам вилаетъ [*Рак*, л. 64^r], а у чл. 176 оставио је оригинални термин [*Рак*, л. 68^v]. Стари инстр. мн. именице стапъ (штап, батина) у облику стапѣн није познавао, па је, с обзиром на то да се термин употребљава у члановима који прописују казну ударања штаповима, помислио да је посреди искварен облик множине именице стопа. Тако је уместо да се бѣ стапѣн, тј. штаповима, у чл. 50, испало да се бѣю стопи его [*Рак*, л. 57^v], тј. његове стопе, а у чл. 166 отишао је и даље — да се бѣ по табани [*Рак*, л. 68^r]. Партицип гоушено значи отето у разбојничком препаду, од глагола гоусити (чинити разбојништво), од којег су изведене и именице гоусарь (разбојник) и гоуса (разбојништво), а писар *Рак* га тумачи као партицип глагола гоушити, и замењује у чл. 180 синонимом оудављено [*Рак*, л. 61^r].

Најраније у другој половини XVII века настала је посебна редакција Душановог законодавства, најбогатија по броју сачуваних рукописа (чак 16), са особеним решењима у саставу и језику. Такозвану млађу редакцију не чине позни преписи без правне снаге, већ прераде поникле највероватније у крилу Српске цркве с циљем да се, коришћењем ауторитета светих царева и угледа Законика, његова грађа прилагоди и употреби за регулисање оних правних односа у којима су црквена јерархија и представници самоуправа задржали надлежност под туђинском влашћу. Најмаркантнија одлика рукописа млађе редакције јесте расподела грађе из три правна састава (СС, ЈЗ и ДЗ) у два — тзв. Закон Константина Јустинијана или Књига звана судец (ЗКЈ) и Законик македонског цара Душана. У садржају ДЗ вршена је даља редуција избацивањем одредаба које су изгубиле актуелност, стил и језик су осавремењени, а прописи често преформулисани или проширени тако да постану ближи схватањима људи и приликама XVII и XVIII века. Скраћена синтагма, као посебан део законског зборника, изостављена је, а већи део њених одредаба укључен је у састав ЗКЈ и ДЗ. Наслов ЗКЈ, према *Тек*, гласи: благочѣстиваго и христолюбѣваго съмодржавнаго вѣликаго цара константина ноустинѣана, грѣскаго съ светѣншиныхъ патриарходѣ кѣрѣ григориедѣ: съ кнези и са вѣлможѣ и са болярн благочѣстиваго царѣства его въ константинополи [Тек, л. 1^r]. Утиску старине и неприкосновеног ауторитета правоверних царева требало је да допринесе и прикључивање

Константина Јустинијану и византијско порекло закона, док је патријарх Григорије уметнут према примеру Душановог наступа с патријархом Јоаникијем у Законнику. Из тих интервенција провирује тежња да се нагласи удео патријарха у законодавном раду [Ђирковић 2005: 93]. Према наслову ДЗ у неким рукописима — *благочѣствѣаго и христолюбѣаго ꙗмакедонѣаго цара Стефана срѣбѣакога болгарѣакога ꙗугарѣакога ꙗдалѣматѣакога ꙗдрѣанаскаго ꙗзгровлахѣнѣакога ꙗи нинѣиꙗ многиꙗ прѣделомѣи и землямѣи самодрѣжѣа [..] Законѣи и ѡставѣ* [Ков, л. 62^г] — Душану је намењена власт над свим оним областима над којима је српски патријарх на прелому XVII и XVIII века имао стварну или номиналну јурисдикцију или гајио претензије, а атрибут *македонски* добио је, по свој прилици, према територији на којој су се простирале средишње области његовог царства.

У српском Приморју Законик се користио све до краја XVIII века. У територијално, политички и економски скромним аутономним општинама (Паштровићи, Грбаљ), с традиционалним друштвом у којем је обичајно право имало истакнуту улогу, Законик је прерађен и добрим делом прилагођен начину живота и суђења, као и говорном језику. Није стога случајно да су се у целокупној рукописној традицији Законика наша четири из Приморја — *Режевићи*, нађен у манастиру Режевићу, *Грбаљски*, по имену Грбаљске жупе, и *Јагићев* и *Богишићев*. Локализми, нарочито романизми, особена су одлика ове скупине рукописа. Ево неколико примера из *Грб* и *Реж*:

авизат (ven. avixar, vixar) — обавестити;

дешпек (ven. despeto) — инат, пакост;

интрада (ven. intrada) — годишњи род од земље једног домаћинства, приход;

комун (ven. comun) — назив за било коју врсту колективне својине (придев *комунски*);

канаја (ven. canagia, canaja; it. canaglia) — нитков, хуља, покварењак;

на посту (ven. aposta, it. apposta < a posta) — намерно, с одређеним циљем;

прокарадур (ven. procurador) — заступник;

редитат (ven. reditar, it. ereditare) — наследити;

стађун од рабоѣ (ven. stajon, staxon; it. stagione) — радно време, време рада у пољу;

чардин (ven. jardin, hardin; it. giardino) — врт;

шпоркеца (ven. sporcheso, sporchezza) — прљавштина;

штролиге (ven. strolego) — враџбине астролога;

шубито (ven. it. subito) — одмах²².

²² Примери из ДЗ према издању у [Законик, 4] (видети списак преписа), а примери из ЗКЈ према [Соловјев 1938: 55–60; Мошин 1951: 13–23].

Од свих рукописа млађе редакције, не само оних из српског приморја, *Реж* је особен по томе што је најдаље отишао у настојању да се прилагоди језику и обичајима средине у којој се примењивао. Међу многобројним сачуваним судским актима из Паштровића пронађени су и они који сведоче о томе да се судило по одредбама Законика [Соловјев 1947]. Језик *Реж*, с мноштвом романизама и локализама, представља веома драгоцен пример српског говорног језика у Паштровићима прве половине XVIII века. Из начина формулисања одредаба о цркви јасно је да је овај препис Законика настао и примењивао се у чисто православној средини. И поред изразито понарођеног језика и слободних парафраза, није нарушен основни, првобитни смисао одредаба. Ево како члан 152 гласи у старијој редакцији (према *Атн*), а како у *Реж*:

Како естъ быль законъ , оу дѣда царева в светаго крала . да св велїиць властеломъ , велїи властеле поротѣци . а срѣднїиць людемъ противъ нїхъ дрѣжина . а себрѣднїиць нїхъ дрѣжина да соу поротѣци . и да нѣсть оу поротѣ роднїа . ни пїзматара [*Атн*, л. 234^v];

тако е речено да вефон господи веля господа кдети а главарица главари а простоме прости и в кдетство да не интра прїятеля ни роѣака толнко ни пїзматара [*Реж*, л. 16^r].

Друга главна област примене Законика коначно се уобличила у кругу српске јерархије и поданика Хабзбуршке монархије, након Велике сеобе, у последњој деценији XVII века и првих година XVIII века, можда и на подстицај српског патријарха Арсенија III Црнојевића. Ова скупина рукописа, условно названа карловачка, по Карловачкој митрополији, где је настала и примењивала се, одликује се: а) хибридниим језичким изразом, у чијој основи је српски народни језик с примесима српскословенског, у старијим преписима, и рускословенског, у млађим; б) очигледним и ненамерним премештањем чланова, које је озакоњено преписивањем с предлошка поремећеног распореда листова и континуираном нумерацијом по новом редоследу; в) текстуелним проширењима и архаизацијама појединих чланова ДЗ и додавањем у састав ЗКЈ тзв. школске уредбе и прописа о војној обавези и издаји, чије порекло, без сумње, није средњовековно. Напротив, управо у круговима српске црквене јерархије у Хабзбуршкој монархији треба тражити извор тих допуна. Кратки одељци из њих не остављају места сумњи: “У сваком граду и варошима и селима, тамо где су цркве тамо и училишта треба градити, то јест школе, да се уче православна деца Светоме писму и закону божјем. [. . .] А потом по градовима и варошима, цареви и кнежеви и сви бољари да постављају философе и учене дидаскале који ће децу учити свакој књижној премудрости. . .” [Марковић 2007: 104] или “И војници да се уче свакој вештини, и мудрости и врлини, а више од свега чврсто да

чувају свету православну веру нашу [. . .] и своје капетане и војводе да поштују и да их се боје. Свога цара као бога на земљи да поштују” [Марковић 2007: 107]. Овде се, разуме се, мисли на владара Хабзбуршке монархије.

Као у раније саопштеним примерима, и у карловачкој верзији млађе редакције ДЗ писари или наручиоци преписа настојали су да прилагоде текст знањима и потребама свога времена. Њихова вештина нарочито је долазила до изражаја код појмова или чак читавих прописа који су им били неразумљиви. Средњовековни термин *поносъ*, у значењу обавезе зависног становништва да преноси пртљаг и превози владара, његове чиновнике и властелу, људима XVIII века свакако није био познат, па је тако вероватно и цео 23. члан измицао њиховој способности разумевања. Првобитни текст Црквцадь поноса да нѣсть . развѣ къда гредѣ како царь . тѣдази да га днжоу [Атн, л. 212^v; Бубало 2010: 80], у карловачкој верзији млађе редакције је преиначен тако да је добио сасвим другачији смисао, али примењив на тадашње прилике: Црквцадь да не чинет' се досаде ни отъ кога . разъма кадъ има доћи тако царь . тада да чьстьно его приемляють [Ков, л. 86^v]. Разлог овој промени се препознаје у могућој семантичкој вези између именица *понос* и *досада*. Према једном тумачењу, секундарно значење именице *понос* у основи одговара примарном значењу именице *досада* (увреда, погрда, узнемиравање) [Савић 2014]. Прилагођавање је значило и проширивање, као у члану 107. У старијој редакцији он гласи, према Атн: Кто се нанде отъбыивъ соудѣнна послаиника . или пристава . да се плѣни . в'се да моу се оузде що има [Атн, л. 225^v; Бубало 2010: 96], а у карловачкој верзији, према Ков: Яще кто садокочланъ и силанъ и безъобразанъ овезъчаститъ посланика господьскаго да платитъ ѣ: пер'перъ . аще ли ѣдаритъ его таи насил'никъ въсего своего да лишитъ се [Ков, л. 94^v–95^r].

Законик није требало само да пружи позитивну правну грађу, већ да својом појавом и ауторитетом сведочи о сјајним традицијама средњовековне државе у складу с тежњама ка историзму међу ученим Србима барокног доба. Као својеврсна историјска читанка, Законик је у једном броју рукописа обогаћен и текстом српског летописа [Бошков 2013]. Заправо, како се XVIII век ближио крају та његова улога преузимала је примат над правном, практичном. Најмлађи од сачуваних рукописа карловачке верзије, *Врш*, преписао је протођакон Јован Фелдвари по налогу карловачког митрополита Јована Георгијевића, за восподинаніе древности. Преписивање је завршено 1. маја 1772. и рукопис прилаженъ во енкліотеку Архїепископскую [Законик, 4: 451]. Подстицај архиепископа за преписивање рукописа и његово смештање у фондове архиепископске библиотеке у Сремским Карловцима није био израз само његове бригае за просвећивање и ширење писане речи, већ, и на првом месту, настојања српске црквене

јерархије у Хабзбуршкој монархији да нагласи српску државно-правну традицију и тежње ка обнови државне самосталности. Здружени у рукописним зборницима, српски летопис и Душаново законодавство сведочили су појавом, ауторитетом и садржином о томе [Медаковић 1988: 19–20, 99–100]. Карловачка редакција била је последњи и најроднији изданак Душановог законика, која се по језику и начину формулисања законских одредаба знатно удаљила од својих средњовековних корена, али која је из њих црпела своју животност и углед.

Како је ипак дошло до тога да, и поред преваге млађе редакције у правном и културном животу Срба XVIII века, до наших дана опстану и рукописи старије редакције. И у томе је, по свој прилици, Црква одиграла пресудну улогу. Више од једне трећине садржаја Законика чине прописи, посредно или непосредно везани за питања Цркве. Црква је у односу на одговарајуће одредбе Законика имала двојаку улогу — примењивала је и бранила своја права, али је морала и да поступа у складу с обавезама. Она је, такорећи, истовремено била у положају субјекта и објекта Законика и зато су црквене установе и старешине морали поседовати примерак Законика, примењивати његове прописе у оквиру своје судске надлежности или доказивати и бранити своје повластице и права [Бубало 2014]. Није без значаја чињеница да је редукација грађе Законика, присутна у појединим рукописима од XV века као израз прилагођавања другачијим условима примене, оставила нетакнуте оне чланове који се тичу Цркве. На истој страни једино је могуће тражити одговорност и за измене и допуне текста појединих прописа (чл. 11, 13а, 18, 78, 101 и т. д.).

Средину у којој су употребљавани и сачувани рукописи са ДЗ откривају састави који су, свакако с разлогом, преписивани уз њега. То је не само стални пратилац, СС, у чији избор је ушло преко две трећине прописа у судској надлежности Цркве [Троицки 1953: 192–193], већ и променљиви део кодиколошког окружења, са догматско-полемичким саставима, епитимијним номоканонима, компилацијама и изводима из канонских правила и требника [Бубало 2013: 732–734]. Од свих рукописа Душановог законодавства старије редакције (потпуних и непотпуних), једино *Стд*, *Бис* и *Рак* не садрже допунске црквеноправне саставе. Иако има доста разлога да верујемо да текст ДЗ у сачуваним рукописима старије редакције садржи знатан број одлика изгубљеног оригинала, он је искоришћен као стожер око којег су окупљани црквено-правни и догматски састави према потребама корисника, вероватно за црквене судове и свакодневну пастирску службу духовних лица. Јер, као што сведоче турски берати о именовану српских архијереја [Бубало 2014: 54. нап. 27], Српска црква је задржала пуну или делимичну судску аутономију у појединим правним областима и питањима, за чије реша-

вање су могли да се ослањају на правну грађу у зборницима са Душановим законодавством. Најзад, већина рукописа Душановог законодавства добила је називе по којима се данас препознају према манастирима у којима су пронађени или у чијем власништву су били извесно време [Бубало 2013: 734]. Управо чињеница да су се преписи ДЗ чували и користили у црквама и манастирима пружила им је могућност да опстану до садашњег времена. У томе је, вероватно, и највећа заслуга Цркве за Душанов законик.

Скраћенице

ДЗ	Душанов законик
ЗКЈ	Закон Константина Јустинијана
ЈЗ	Јустинијанов закон
СС	Скраћена синтагма Матије Властара

Рукописне збирке

АЗВБ	Архив Збирке Валтазара Богишића (Цавтат)
АХАЗУ	Архив Хрватске академије знаности и умјетности (Загреб)
БМС	Библиотека Матице српске (Нови Сад)
НБС	Народна библиотека Србије (Београд)
РГБ	Российская государственная библиотека (Москва)
KNM	Knihovny Národního muzea (Praha)

Библиографија

Преписи Душановог Законика

Атн

Атонски, РГБ, ф. 87 (собр. В. И. Григоровича), № 28. М 1708, српски, друга четвртина XV века; по изд.: [Законик, 1: 163–207].

Бар

Барански, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд, № 39 (К. И. 16285), српски, прва четвртина XVI века; по изд.: [Законик, 3: 35–81].

Бгд

Београдски, Народна библиотека у Београду, № 38, српски, пре 1757. г., изгорео 1941. г.; препис Јанка Шафарика из 1847. г., KNM, IX G 9 (Š 18); по изд.: [Законик, 4: 345–368].

Бис

Бистрички, Государственный исторический музей, Москва, собр. Е. В. Барсова, № 151, српски, средина XV века; по изд.: [Законик, 2: 171–219].

Бог

Богишићев, АЗВБ, № 123, српски са примесам рускословенског, друга пол. XIX века ; по изд.: [Законик, 4: 485–502].

Бор

Борђошких, БМС, РР III 2, српски, око 1703–1710. г.; по изд.: [Законик, 4: 169–193].

Врш

Вршачки, Градски музеј Вршац, И 2969, српски са примесам рускословенског, 1772. г.; по изд.: [Законик, 4: 425–448].

Грб

Грбаљски, АЗВБ, № 19 (А. XIV 2/29), српски, последња четвртина XVIII века; по изд.: [Законик, 4: 459–473].

Јаг

Јагићев, Семинар за српски језик Филолошког факултета у Београду, Ј 1602, српски са примесам рускословенског, друга пол. XIX века; по изд.: [Законик, 4: 509–525].

Кар

Карловачки, НБС, № 152, српски са примесам рускословенског, 1764. г.; по изд.: [Законик, 4: 391–414].

Ков

Ковиљски, БМС, РР I 35, српски, 1726. г.; по изд.: [Законик, 4: 311–334].

Пат

Патријаршијски, Библиотека Српске патријаршије, Београд, № 42, српски, крај XVII – поч. XVIII века; по изд.: [Законик, 4: 145–158].

Поп

Попиначки, БМС, РР I 33, српски, око 1705. г.; по изд.: [Законик, 4: 205–228].

Прз

Призренски, НБС, № 688, српски, прва четвртина XVI века; по изд.: [Законик, 3: 97–155].

Рав

Раванички, КНМ, IX Н 7 (Š 17), српски, друга половина XVII века; по изд.: [Законик, 3: 299–337].

Рак

Раковачки, КНМ, IX С 4 (Š 16), српски, 1700–1701. гг.; по изд.: [Законик, 3: 227–281].

Реж

Режевићки, АХАЗУ, III а 28 (Kukuljević 500), српски, прва пол. XVIII века; по изд.: [Законик, 4: 377–384].

Рум

Румунски, Biblioteca Academiei Române, București, ms. гош. № 3093, румунски, 1776. г. [ANDRÉEV, CRONȚ 1971; MARCU 1989].

Сан

Сандићев, БМС, РР I 34, српски, око 1725. г.; по изд.: [Законик, 4: 275–299].

Соф

Софијски, Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методиј”, Софија, № 293, српски, 1728. г.; по изд.: [Законик, 3: 357–403].

Стд

Студенички, АХАЗУ, IV d 114, српски, око 1430. г.; по изд.: [Законик, 2: 41–59].

Стр

Струшки, РГБ, ф. 87 (собр. В. И. Григоровича), № 29. М 1732, српски, последња деценија XIV века; по изд.: [Законик, 1: 97–121].

Тек

Текелијин, БМС, РР III 85, српски, 1711. г.; по изд.: [Законик, 4: 239–264].

Хил

Хиландарски, Манастир Хиландар, № 300, српски, 1420–1430. г.; по изд.: [Законик, 2: 75–101].

Ход

Ходошки, КНМ, IX F 10 (§ 14), српски, прва трећина XV века; по изд.: [Законик, 2: 113–147].

Шиш

Шишатовачки, КНМ, IX F 21 (§ 15), српски, средина XVII века; по изд.: [Законик, 3: 173–209].

Литература

Бошков 2013

Бошков М., “Три брата Мрњавчевића у рукописној традицији рачанских летописа”, у: С. Томин, Љ. Пешикан-Љуштановић, Н. Половина, ред., *Зборник у част Марији Клеут*, Нови Сад, 2013, 339–356.

Бубало 2010

Бубало Ђ., изд., *Душанов законик*, Београд, 2010.

— 2013

Бубало Ђ., “Оглед из историје текста Душановог законика (рукописно окружење)”, *Зборник радова Византолошког института*, 50/2, 2013, 725–740.

— 2014

Бубало Ђ., “Душаново законодавство на Светој гори”, в: Ж. Л. Левшина, ред., *Афон и Славјански мир 1, Материјали међународној научној конференцији, посвећеној 1000-летију присуства руских на Светој Гори. Белград 16–18 маја 2013 г.*, Светаја Гора Афон, 2014, 47–57.

Законик, 1

Беговић М., ред., *Законик цара Стефана Душана, 1: Струшки и Атонски рукопис* (= Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права, 4), Београд, 1975.

—, 2

Беговић М., ред., *Законик цара Стефана Душана, 2: Студенички, Хиландарски, Ходошки и Бистрички рукопис* (= Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права, 4), Београд, 1981.

—, 3

Пешикан М., Грицкат-Радуловић И., Јовичић М., ред., *Законик цара Стефана Душана, 3: Барањски, Призренски, Шишатовачки, Раковачки, Раванички и Софијски рукопис* (= Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права, 4), Београд, 1997.

—, 4

Чавошки К., Бубало Ђ., ред., *Законик цара Стефана Душана, 4: Патријаршијски, Борђошких, Попиначки, Текелијин, Сандићев, Ковиљски, Београдски, Режевићки, Карловачки, Вршачки, Грбальски, Богишићев и Јагићев рукопис* (= Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права, 4), Београд, 2015.

ЗС

Новаковић С., изд., *Законски споменици српских држава средњег века*, Београд, 1912.

Марковић 2007

Марковић Б., изд., *Јустинијанов закон. Средњовековна византијско-српска правна компилација* (= Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права, 15), Београд, 2007.

МЕДАКОВИЋ 1988

МЕДАКОВИЋ Д., *Барок код Срба*, Загреб, 1988.

НОВАКОВИЋ 1907

НОВАКОВИЋ С., изд., *Матије Властара Синтагмат* (= Српска краљевска академија, Зборник за историју, језик и књижевност српског народа, 1/4), Београд, 1907.

Опис Дечани 2011

БОГДАНОВИЋ Д., ШТАВЉАНИН-БОРЂЕВИЋ Љ., ЈОВАНОВИЋ-СТИПЧЕВИЋ Б., ВАСИЉЕВ Љ., ЦЕРНИЋ Л., ГРОЗДАНОВИЋ-ПАЈИЋ М., *Опис ћирилских рукописних књига манастира Високи Дечани*, 1, прир. Н. Синдик (= Народна библиотека Србије. Опис јужнословенских ћирилских рукописа, 4), Београд, 2011.

РАДОЈЧИЋ-КОСТИЋ 2006

РАДОЈЧИЋ-КОСТИЋ Г., *Библиографија о законодавству цара Стефана Душана* (= Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права, 12), Београд, 2006.

САВИЋ 2014

САВИЋ В., “‘Понос’ и [‘досада’] у Душанову законуку. Трагом неких изгубљених значења”, *Зборник Матице српске за филологију и лингвистику*, 57/1, 2014, 31–47.

СИНДИК 1998

СИНДИК Н., “Обнова библиотеке манастира Високи Дечани крајем XIV и у првој деценији XV века”, у: М. ПАНТИЋ, ред., *Српска књижевност у доба Деспотовине, научни скуп. Деспотовац, 22–23.8.1997* (= Дани српскога духовног преображења, 5), Деспотовац, 1998, 247–256.

СОЛОВЈЕВ 1927

СОЛОВЈЕВ А., “Два прилога проучавању Душанове државе”, *Гласник Скопског научног друштва*, 2, 1927, 25–45.

— 1928/1998

СОЛОВЈЕВ А., *Законодавство Стефана Душана цара Срба и Грка*, Скопље, 1928, 2-е изд., Београд, 1998.

— 1938

СОЛОВЈЕВ А., “Књига привилегија Грбаљске жупе (1647–1767) са Душановим закономиком”, *Споменик СКА*, 87, 1938, 21–79.

— 1947

СОЛОВЈЕВ А., “Студије из историје нашег народног права у XVIII веку”, *Гласник Земалског музеја у Сарајеву*, 2, 1947, 224–240.

— 1980

СОЛОВЈЕВ А., *Законик цара Стефана Душана 1349. и 1354. године* (= Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права, 6), Београд, 1980.

ССП 1–2

СТОЈАНОВИЋ Љ., изд., *Старе српске повеље и писма*, 1–2, Београд, Сремски Карловци, 1929–1934.

ТРОИЦКИ 1953

ТРОИЦКИ С., “Црквено-политичка идеологија Светосавске крмчије и Властареве синтагме”, *Глас САН*, 212, 1953, 186–202.

ТУРИЛОВ 2008

ТУРИЛОВ А. А., “Книжно писмо в сербских грамотах XIV–XV вв.: проблемы писцов, подлинности и датировки актов (из предварительных наблюдений)”, в: *Палеография и кодикология: 300 лет после Монфокона*, Москва, 2008, 195–202.

ЂИРКОВИЋ 1994

ЂИРКОВИЋ С., “Краљ у Душановом законуку”, *Зборник радова Византолошког института*, 33, 1994, 149–164.

——— 2004

Ђирковић С., “Ана, царица, жена цара Уроша”, у: *Српски биографски речник*, 1, Нови Сад, 2004, 138.

——— 2005

Ђирковић С., “Старија и млађа редакција Душановог законика”, у: С. Ђирковић, К. Чавошки, ред., *Законик цара Стефана Душана. Зборник радова са научног скупа одржаног 3. октобра 2000, поводом 650 година од проглашења* (= САНУ, Научни скупови, 108, Одељење друштвених наука, 24), Београд, 2005, 91–96.

——— 2006

Ђирковић С., “Студије о Душановом законуку: 1. Наслови и редни бројеви чланова”, *Мешовита грађа*, 27, 2006, 7–41.

——— 2011

Ђирковић С., “Студије о Душановом законуку: 2. Удвојени, раздвојени и фрагментарни чланови Раковачког рукописа”, *Мешовита грађа*, 32, 2011, 9–38.

Флоринский 1888

Флоринский Т., *Памятники законодательной деятельности Душана Царя Сербов и Греков*, Киев, 1888.

Цернић 1981

Цернић Л., “О атрибуцији средњовековних српских ћирилских рукописа”, у: Д. Богдановић, ред., *Текстологија средњовековних јужнословенских књижевности* (= САНУ, Научни скупови, 10, Одељење језика и књижевности, 2), Београд, 1981, 335–360.

ANDRÉEV, CRONȚ 1971

ANDRÉEV M., CRONȚ G., *Loi de jugement. Compilation attribuée aux empereurs Constantin et Justinien, versions slave et roumaine*, Bucarest, 1971.

MARCU 1989

MARCU L., “Une variante roumaine du code d’Etienne Douchan,” *Revue des études sud-est européennes*, 27/1–2, 1989, 145–158.

Мошин 1949

Мошин В., “Vlastareva sintagma i Dušanov zakonik u Studeničkom ‘Otečniku,’” *Starine JAZU*, 42, 1949, 7–25.

——— 1951

Мошин В., “Paštrovski spisak Dušanova zakonodavstva prema Zagrebačkom rukopisu,” *Starine JAZU*, 43, 1951, 7–27.

Đorđe Bubalo

University of Belgrade, Belgrade, Serbia

The Era of Dušan's Code

Abstract

Drawing on the structure and contents of the extant manuscripts of Dušan's Code, this paper attempts roughly to outline the history of its application and changes from the time of its promulgation in 1349 and revision in 1353–1354, a process that continued to the end of the 18th century. The scarce evidence about the application of the Code has been preserved in some charters issued by the emperors Dušan and

Uroš, but since the 15th century the only evidence about its application is found in new copies or in the changes in its structure and in the phrasing of certain stipulations. The production of copies similar to the original version continued simultaneously with the revisions, with all sharing a single trait: the coalescence of Dušan's *Code* with its codicological environment, whose first and fixed layer included the abbreviated *Syntagma* of Matthew Blastares and the so-called Code of Justinian. Along with these, other ecclesiastical-legal compositions were also copied, which suggests that the extant copies of Dušan's *Code* were used in ecclesiastical courts or for the clergy's everyday service needs. The signs suggesting that the *Code* was gradually adapted to suit different legal and social conditions are as follows: the exclusion of stipulations which were no longer up to date; a new systematization of stipulations according to subject matter; changes in penalties and sanctions; amendments and clarifications of some stipulations; and the modernization of the document's language and legal terms.

At a point no earlier than the second half of the 17th century, a separate recension of Dušan's *Code* was created in order to facilitate the adaptation and use of its legal material for the regulation of those legal relations that the Serbian ecclesiastical hierarchy or the local self-governing authorities had kept within their own jurisdictions under foreign rule. The majority of the copies of this new, younger recension was created and enacted in the circle of the Serbian ecclesiastical hierarchy and the subjects of the Habsburg monarchy after the Great Exodus. Not only did the *Code* provide positive legal material, but its mere existence and authority also helped the efforts of the Serbian hierarchy in the Habsburg monarchy to emphasize the tradition of Serbian statehood, as well as its tendencies toward a renewal of state independence.

Keywords

Dušan's *Code*, *Syntagma Canonum*, Matthew Blastares, Code of Justinian, Serbian Orthodox Church

References

- Andréev M., Cronț G., *Loi de jugement. Compilation attribuée aux empereurs Constantin et Justinien, versions slave et roumaine*, Bucarest, 1971.
- Begović M., red., *Zakonik cara Stefana Dušana*, 1: *Struški i Atonski rukopis* (= Odeljenje društvenih nauka SANU, Izvori srpskog prava, 4), Beograd, 1975.
- Begović M., red., *Zakonik cara Stefana Dušana*, 2: *Studenički, Hilandarski, Hodoški i Bistrički rukopis* (= Odeljenje društvenih nauka SANU, Izvori srpskog prava, 4), Beograd, 1981.
- Bogdanović D., Štavljanin-Đorđević Lj., Jovanović-Stipčević B., Vasiljev Lj., Cernić L., Grozdanović-Pajić M., *Opis ćirilskih rukopisnih knjiga manastira Visoki Dečani*, 1, prir. N. Sindik (= Narodna biblioteka Srbije. Opis južnoslovenskih ćirilskih rukopisa, 4), Beograd, 2011.
- Bošković M., "Tri brata Mrnjavčevića u rukopisnoj tradiciji račanskih letopisa," u: S. Tomin, Lj. Pešikan-Ljuštanović, N. Polovina, red., *Zbornik u čast Mariji Kleut*, Novi Sad, 2013, 339–356.
- Bubalo Đ., izd., *Dušanov zakonik*, Beograd, 2010.
- Bubalo Đ., "Ogled iz istorije teksta Dušanovog zakonika (rukopisno okruženje)," *Zbornik radova Vizantološkog instituta*, 50/2, 2013, 725–740.
- Bubalo Đ., "Dušanovo zakonodavstvo na Svetogori," in: Zh. L. Levshina, ed., *Afon i Slavianskii mir 1. Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, posviashchennoi 1000-letiiu prisustvii russkikh na Sviatoi Gore. Belgrad 16–18 maia 2013 g.*, Mount Athos, 2014, 47–57.
- Cernić L., "O atribuciji srednjovekovnih srpskih ćirilskih rukopisa," u: D. Bogdanović, red., *Tekstologija srednjovekovnih južnoslovenskih književnosti* (= SANU, Naučni skupovi, 10, Odeljenje jezika i književnosti, 2), Beograd, 1981, 335–360.

Čavoški K., Bubalo Đ., red., *Zakonik cara Stefana Dušana*, 4: *Patrijaršijski, Borđoških, Popinački, Tekelijin, Sandičev, Koviljski, Beogradski, Reževići, Karlovački, Vršački, Grbaljski, Bogišićev i Jagićev rukopis* (= Odeljenje društvenih nauka SANU, Izvori srpskog prava, 4), Beograd, 2015.

Čirković S., "Kralj u Dušanovom zakoniku," *Zbornik radova Vizantološkog instituta*, 33, 1994, 149–164.

Čirković S., "Ana, carica, žena cara Uroša," u: *Srpski biografski rečnik*, 1, Novi Sad, 2004, 138.

Čirković S., "Starija i mlađa redakcija Dušanovog zakonika," u: S. Čirković, K. Čavoški, red., *Zakonik cara Stefana Dušana. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 3. oktobra 2000, povodom 650 godina od proglašenja* (= SANU, Naučni skupovi, 108, Odeljenje društvenih nauka, 24), Beograd, 2005, 91–96.

Čirković S., "Studije o Dušanovom zakoniku: 1. Naslovi i redni brojevi članova," *Mešovita građa*, 27, 2006, 7–41.

Čirković S., "Studije o Dušanovom zakoniku: 2. Udvojeni, razdeljeni i fragmentarni članovi Rakovačkog rukopisa," *Mešovita građa*, 32, 2011, 9–38.

Marcu L., "Une variante roumaine du code d'Etienne Douchan," *Revue des études sud-est européennes*, 27/1–2, 1989, 145–158.

Marković B., izd., *Justinijanov zakon. Srednjovekovna vizantijsko-srpska pravna kompilacija* (= Odeljenje društvenih nauka SANU, Izvori srpskog prava, 15), Beograd, 2007.

Medaković D., *Barok kod Srba*, Zagreb, 1988.

Mošin V., "Vlastareva sintagma i Dušanov zakonik u Studeničkom 'Otečniku'," *Starine JAZU*, 42, 1949, 7–25.

Mošin V., "Paštrovski spisak Dušanova zakonodavstva prema Zagrebačkom rukopisu," *Starine JAZU*, 43, 1951, 7–27.

Pešikan M., Grickat-Radulović I., Jovičić M., red., *Zakonik cara Stefana Dušana*, 3: *Baranjski, Pribrenski, Šišatovački, Rakovački, Ravanički i Sofjski*

rukopis (= Odeljenje društvenih nauka SANU, Izvori srpskog prava, 4), Beograd, 1997.

Radojčić-Kostić G., *Bibliografija o zakonodavstvu cara Stefana Dušana* (= Odeljenje društvenih nauka SANU, Izvori srpskog prava, 12), Beograd, 2006.

Savić V., "'Ponos' i ['dosada'] u Dušanovu zakoniku. Tragom nekih izgubljenih značenja," *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku*, 57/1, 2014, 31–47.

Sindik N., "Obnova biblioteke manastira Visoki Dečani krajem XIV i u prvoj deceniji XV veka," u: M. Pantić, red., *Srpska književnost u doba Despotovine, naučni skup. Despotovac, 22–23.8.1997* (= Dani srpskoga duhovnog preobraženja, 5), Despotovac, 1998, 247–256.

Soloviev A., "Dva priloga proučavanju Dušanove države," *Glasnik Skopskog naučnog društva*, 2, 1927, 25–45.

Soloviev A., "Knjiga privilegija Grbaljske župe (1647–1767) sa Dušanovim zakonikom," *Spomenik SKA*, 87, 1938, 21–79.

Soloviev A., "Studije iz istorije našeg narodnog prava u XVIII veku," *Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu*, 2, 1947, 224–240.

Soloviev A., *Zakonik cara Stefana Dušana 1349. i 1354. godine* (= Odeljenje društvenih nauka SANU, Izvori srpskog prava, 6), Beograd, 1980.

Soloviev A., *Zakonodavstvo Stefana Dušana cara Srba i Grka*, 2-e izd., Beograd, 1998.

Stojanović Lj., izd., *Stare srpske povelje i pisma*, 1–2, Beograd, Sremski Karlovci, 1929–1934.

Troicki S., "Crkveno-politička ideologija Svetosavske krmčije i Vlastareve sintagme," *Glas SAN*, 212, 1953, 186–202.

Turilov A. A., "Knizhnoe pis'mo v serbskikh gramotakh XIV–XV vv.: problemy pistsov, podlinnosti i datirovki aktov (iz predvaritel'nykh nabliudenii)," in: *Paleografija i kodikologija: 300 let posle Monfokona*, Moscow, 2008, 195–202.

Проф. др Ђорђе Бубало

Универзитет у Београду. Филозофски факултет. Одељење за историју

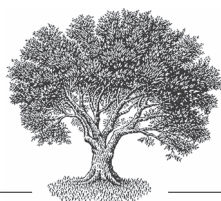
Чика Љубина 18–20

11000 Београд

Србија/Serbia

djbubalo@f.bg.ac.rs

Received on April 16, 2015



Об одном
маргинальном
употреблении
императивных форм
в восточнославянских
памятниках XI–XV вв.*

On a Marginal Use
of the Imperative
in East Slavic
Monuments of the
11th–15th Centuries

Яна Андреевна Пенькова

Институт русского языка им. В. В.
Виноградова РАН, Москва, Россия

Yana A. Pen'kova

Vinogradov Russian Language
Institute of the Russian Academy of
Sciences, Moscow, Russia

Резюме

Статья посвящена одной маргинальной конструкции, представляющей собой «гибрид» императива и будущего сложного второго: вспомогательный глагол в форме повелительного наклонения (*буди*) в соединении с *л*-причастием. Структурно и семантически данная конструкция устроена наподобие славянского перфекта и будущего сложного второго, однако зафиксирована только в архаичных переводных церковнославянских памятниках, представленных восточнославянскими списками XI–XV вв. с южнославянских переводов (“Поучения огласительные” Кирилла Иерусалимского, “Слово на погребение и воскресение Христа” Григория Антиохийского в составе Успенского сборника XII–XIII вв.) или восточнославянскими переводными текстами (“Повесть об Акире Премудром”). Автор статьи предлагает различные варианты интерпретации грамматического статуса данной конструкции, описывает преимущества и недостатки того или иного подхода. Представляются возможными следующие варианты: 1) калькирование структуры оригинала; 2) искусственный

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 13–0400093.

Автор выражает благодарность А. А. Пичхадзе, указавшей на уникальный пример употребления конструкции *буди* + *л*-форма в “Повести об Акире Премудром”, а также К. А. Максимовичу за ценные методологические указания.

риторический прием; 3) аналитическая конструкция с вспомогательным глаголом в форме повелительного наклонения и причастием на -л-, структурно и семантически устроенная наподобие других славянских перфектных образований. Предпочтительным представляется рассматривать конструкцию не как простую кальку структуры в оригинальном тексте, а как особую архаичную перфектную императивную конструкцию. Остается не до конца ясным, была ли эта конструкция исключительно книжной и использовалась в качестве одного из возможных способов перевода греческих конструкций с *ἔστω* или же могла употребляться и независимо.

Ключевые слова

императив от основы *буд-*, императив уступки, императив перфекта, второе будущее, перфект, калька

Abstract

The paper is devoted to the marginal construction that appears to be a kind of hybrid of an imperative and the future perfect: the auxiliary verb has the form of the imperative mood and is used with an *l*-participle. The construction is semantically and structurally similar to the Slavic perfect and the Slavic future perfect, however it is attested only in some archaic translated Church Slavonic monuments represented by East Slavic copies from the 11th through the 15th centuries of South Slavic translations (these include the Catechetical Lectures of Cyril of Jerusalem and the *Homily to the Entombment* and the *Resurrection of Jesus Christ* by Gregory of Antioch, as a part of the *Uspensky Sbornik* of the 12th–13th century) or by East Slavic translations of the *Story of Ahikar*. The author of the article suggests different interpretations of the grammatical state of the construction in question and describes the advantages and disadvantages of each. The following interpretations are offered: 1) regarding the construction as a tracing of the original structure, 2) regarding it as an artificial rhetorical construction, and 3) regarding it as an analytical construction with an auxiliary verb in the imperative mood and the main verb in the form of an *l*-participle. It seems preferable not to regard the construction as a simple calque of the original structure but rather as a particular archaic perfect imperative periphrasis. It remains unclear, however, whether it was an exclusively literary structure and was used as a possible means of translating Greek constructions with *ἔστω* or if it could be used independently.

Keywords

imperative of the stem *bud-*, concessive imperative, imperativus perfecti, future perfect, perfect, calque

В восточнославянских памятниках XI–XV вв. встречаются конструкции, структурно напоминающие форму так называемого будущего сложного второго (типа *будеши възалъ: что будеш(ь) оу мене възал воинои в тот месецъ, тому всему межи нас погребъ, 1375 г. [ДДГ, № 9]*), однако отличающиеся от последней тем, что вспомогательный глагол стоит в форме повелительного наклонения (*буди*). Эти конструкции, намного более редкие, чем будущее сложное второе, встретились всего несколько раз и исключительно в архаичных книжных переводных

текстах. Автору известны всего четыре подобных употребления: один пример в “Повести об Акире Премудром”, второй — в Успенском сборнике, третий и четвертый — в “Огласительных поучениях” Кирилла Иерусалимского. Приведем эти контексты:

(1) . . . [царь] рѣ ми тако: днѣшнѣ днѣ бу^{ли}, Акире, възалъ прѣ Измълъ Бмъ, дако та видѣ жива, ако изучилъ ма еси мудрѣ словѣ ‘Царь сказал мне так: сегодня пусть, Акир, ты взял (т. е. одержал победу) перед Богом Измаила, так как я увидел тебя живым, так как ты научил меня мудрым словом’ [Пов. об АКИРЕ: 205] — речь идет о том, что Акиру удалось разрешить все загадки царя и его вельмож;

(2) Како не оубоѡшасѡ сѡмърти вѣдати (не) сѡтворѣшааго ничѡсоже достоина сѡмърти? . . . **боуди была** така **враждѡ** вѣ врѣмя пропѡтию Юго, чѡто и по оумъртии Юго на гробѣ присѣдѡтъ ‘Как [они] не побоялись предать смерти не сотворившего ничего заслуживающего смерти? . . . пусть даже была такая ненависть во время Его распятия, что и после смерти Его сторожат у гроба’ (Сл.Григ.Антиох.) [Усп. св.: 398], — ср. греч.: Πῶς οὐκ ἐφοβήθησαν θανάτῳ παραδοῦναι, τὸν μηδὲν ἄξιον θανάτου πεποιηκότα. . . ἔστω παρὰ τὸν καιρὸν τῆς ζωῆς τοσαύτην κατ’ αὐτοῦ **μανίαν ἐμάνησαν**, τὶ καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν οὕτω τῷ μνήματι παρεδρεύουσι ‘как не побоялись они смерти предать не сотворившего ничего заслуживающего смерти. . . пусть даже во время жизни [Его] таким безумством безумствовали, что и после кончины в память сидят возле [Него]’ [АмФ.: 18];

(3)–(4) видѣвъше етера чоужде имоуште бракоодѣник, глѡ кму: држже, како вниде сѡмо? кымъ образомъ? кож сѡвѣстию? **боуди** вратарь не **възбранилъ** за обилие подаѣшштааго, **бжди** невѣдѣник **имѣлъ**, кацѣмъ образѣмъ вниде вѣ пирь ‘Увидев кого-то имеющего несоответствующую одежду, сказал ему: друг, как ты вошел сюда? Каким образом? . . . пусть даже привратник не запретил за высокую плату дающего, или пусть даже ты не знал, каким образом вошел на пир’ [Син478: л. 2 об.] (то же: [ВМЧ: 858]); ср. греч.: Ἐλεγε πρὸς αὐτὸν Ἐταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε; ποίῳ χρῶματι; ποία συνειδήσει; ἔστω, ὁ θυρωρὸς οὐκ ἐκώλυσε, διὰ τὸ δαψιλὲς τοῦ παρέχοντος ἔστω, ἄγνοιαν εἶχες ποταπῷ δεῖ σχήματι εἰσελθεῖν εἰς τὸ συμπόσιον ‘Говорил ему: друг, как ты вошел сюда? [с] каким стыдом? какой совестью? пусть даже привратник не запретил за обилие дающего, пусть даже ты не знал, каким образом нужно приходиться на пир’ [PG 33: 337] — аллюзия на евангельскую притчу о человеке, пришедшем на пир не в брачных одеждах (Мф 22:11–12).

Памятники, в которых встретились рассматриваемые структуры, архаичны и при этом различны между собой. “Повесть об Акире Премудром” — восточнославянский перевод XI–XII вв. с неустановленного оригинала (написанного предположительно на сирийском языке), самый ранний список повести датируется XV в. [Григорьев 1913; Пичхадзе 2011: 47–50].

“Слово на погребение и воскресение Христа” Григория Антиохийского (Сл.Григ.Антиох.) — восточнославянский список южнославянского перевода с греческого, входящий во вторую, гомилетическую, часть Успенского сборника XII–XIII вв. (о составе Успенского сборника и оригиналах к переводным текстам в его составе см.: [Благова 1973:

271–273; FREYDANK 1973: 703]). Тексты, входящие в “Успенский сборник”, неоднородны, имеют существенные языковые различия. Согласно исследованиям В. Г. Демьянова [1974: 110–112], Сл.Григ.Антиох. выделяется среди других переводных и оригинальных текстов Успенского сборника некоторыми архаичными признаками в употреблении имперфектов.

“Поучения огласительные” Кирилла Иерусалимского (Кирил.Иерус. поуч.огл.) — южнославянский перевод кон. IX – нач. X вв., приписываемый Константину Преславскому [Цонев 1995] и сохранившийся в нескольких восточнославянских списках. Древнейший список поучений, содержащий окончание третьего и начало четвертого поучения (часть, в которой зафиксированы интересующие нас структуры, в этом списке утрачена), — так называемые Хиландарские листки. Полный текст поучений дошел до нас в описанной в [Горский, Невоструев 1859] рукописи *Син478*, датируемой кон. XI – нач. XII вв., а также в некоторых других более поздних списках, среди которых важнейшие — список XIII в. *F.n.I.39* [л. 89 об.–184] и Успенский список XVI в. в составе [ВМЧ]. Цитаты в статье приводятся по списку *Син478*.

Императивная форма *буди* часто употребляется в книжных текстах раннего периода, однако не в уступительном, а в оптативном употреблении, в том числе в составе книжных безличных конструкций с инфинитивом, ср.:

(5) *внѣ же имѣ отъвѣщааваше: не буди ми възати роуки на брата своѣго ‘он же им отвечал: да не поднять мне руки на моего брата’* [СкБГ: 10 г];

(6) *стѣзь рѣ: не бѣди ми того прияти тако, члѣвчска бо образа слѣце не имѣло николиже ‘Святой сказал: да не принять мне (не согласиться с тем, что) того, человеческого образа солнце не имело никогда’* [ЖАЮ: 430], — ср. греч.: *Μή μοι γένοιτο καταδόξασθαι ἀπὸν ταῦτα ἔχειν. . .* ‘Да не стану я считать, что он [т. е. солнце] таковое имел’ [ЖАЮ: 616];

(7) *бѣди же всѣмъ намъ глѣти: въведе ма црѣ въ клѣтъ свою ‘пусть все мы сможем сказать: ввел меня царь в покои свои’* [*Син478*, л. 20]; — ср. греч.: *Γένοιτο δὲ πάντας ὑμᾶς εἰπεῖν. . .* ‘Да случится же всем нам сказать (= что все мы скажем). . .’ [PG 33: 428].

Императивные формы в целом склонны развивать производные значения и даже служить источником уступительных союзов и частиц, ср. эволюцию императива *хоти* [Потебня 1977: 180] и *пусти* [Санников 2008: 445–454], о семантической деривации императива см., например: [Князев 2007: 111–129], о производных значениях императивной формы *буди* в языке древнерусских памятников XII–XIV вв. см.: [Пенькова 2010]. Однако в уступительном значении *буди* в древнейших

восточнославянских книжных памятниках практически не встречается. В [там же: 125] приведены редкие случаи употребления несогласованного *буди* в значении, близком к значению союза *хотя*, зафиксированные в деловых текстах, ср.:

(8) А за все то взати князю оу Новагорода двенадцать тысяч серебра, буди Андреевы дети, буди Машко з детьми, или Юрьи Калека и все талщики 'А за все то взать князю у Новгорода двенадцать тысяч серебра, будь то (окажись это) Андреевы дети, будь то (окажись то) Машко с детьми, или Юрий Калека и все заложники. . .', 1316 г. [ГВНП: № 11].

Таким образом, в (1)–(4) перед нами редчайшие примеры употребления *буди* в уступительном значении. Эти случаи не тождественны (8), где *буди* функционально близок разделительному союзу; в то же время они различны и между собой. В (1) *буди* имеет значение разрешения, допущения, промежуточное между оптативным и уступительным, а в (2), (3)–(4) — уступительно-ограничительное значение, которое можно примерно перевести как 'пусть даже / пусть только'. Показательна в этом отношении замена *буди* + л-форма на сочетание *аще и* с формой сослагательного наклонения в более позднем списке Сл.Григ. Антиох. в составе Сборника поучений XVI в.:

(9) *Аще и была бы* такова вражда во время пропятия Его, что и по умертию Его на гробѣ присѣдѣ [Унд564: л. 140–145; АмФ.: 18].

Интерес вызывает не только семантика императивной формы в рамках структуры *буди* + л-причастие, но и ее грамматический статус. Представляются возможными следующие варианты: 1) конструкция является калькой структуры, представленной в оригинале (греческом или другом); 2) конструкция представляет собой своего рода риторический прием, позволяющий отразить перфектную семантику и значение уступки, характерное для императивных форм, формально наиболее близко оригиналу; 3) перед нами особая аналитическая конструкция с вспомогательным глаголом в форме повелительного наклонения и причастием на -л-, структурно и семантически устроенная наподобие других славянских перфектных образований, а также греческого перфектного императива (тоже чрезвычайно редко встречающегося в текстах [Соболевский 2000: 70]).

Примеры в (3)–(4) из Кирил.Иерус.поуч.огл. как будто свидетельствуют в пользу первого предположения, как и тот факт, что структура встречается только в переводных памятниках. Действительно, в (3)–(4) славянский текст пословно соответствует греческому. Однако в (2) славянскую конструкцию едва ли можно признать калькой, поскольку здесь славянский перевод формально и содержательно расходится с

оригиналом, в котором речь идет о ненависти к Христу еще при его жизни, а не во время распятия, как в славянском тексте. Кроме того, в тексте перевода не воспроизведена и *figura etymologica* μάνιαν ἐμάνησαν ‘безумством безумствовали’, переданная как *была вражда*, так что точные соответствия обнаруживаются только для ἔστω (*буди*) и παρὰ τὸν καιρὸν (*въ врѣм.л.*).

О том, что в (3)–(4) использование *буди* при переводе греческой структуры с ἔστω — не одно лишь формальное следование тексту оригинала, могут свидетельствовать и другие случаи употребления этой формы в Кирил.Иерус.поуч.огл. в сходной синтаксической позиции, но не в уступительном, а в оптативном значении, ср.:

(10) **бѣди** же: да и цѣм въведени боудете ‘Пусть же будет [так], что и царем введены будете’ [Син478: л. 1–1об.] (то же: [ВМЧ: 857]), — ср. греч.: Γένοιτο ἵνα ὑπὸ τοῦ βασιλέως εἰσάχθῃτε ‘пусть будет [так], чтобы царем вы были введены. . .’ [PG 33: 333];

(11) **боуди** же: да и плодъ написанъ именъ вашихъ ‘Пусть же будет и плод написан имен ваших’ [Син478: л. 1об.] (то же: [ВМЧ: 857]), — ср. греч.: Γένοιτο δὲ ἵνα καὶ ὁ καρπὸς τέλειος ᾗ ‘пусть же будет [так], чтобы плод был совершенным’ [PG 33: 333].

Очевидно, что переводчик четко разграничивает *буди*¹, соответствующий греческому оптативу от γίνομαι, и *буди*², употребляющийся для перевода уступительной конструкции с ἔστω. Еще одной важной особенностью славянских конструкций в (2) и (3)–(4), структурно отличающей их от греческих и опровергающей предположение о калькировании структуры оригинала в славянском тексте в (3)–(4), является их монопредикативность. В греческом ἔστω вводит следующую за ним предикативную единицу, которая представляет собой сентенциальный актант, обнаруживая некоторое сходство с подобными вводящими структурами с ἔσται, ἐγένετο, ἐγενήθη и под.:

(12) Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἀρεῖ Κύριος ὁ Θεὸς σημεῖον ἐν τῇ συμπληρώσει τῶν ἡμερῶν ‘И будет [так]: в последние дни даст (букв.: поднимет) Господь Бог знамение о скончании народов’ [ЖАЮ: 606];

(13) Ἐγένετο δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ συνέλεξαν τὰ δέοντα διπλᾶ ‘было же: в шестой день собрали они необходимое вдвое [больше]’ (Исх 16:22) [LXX].

В славянских текстах находим подобные структуры с вводящими *будет*, *естъ* и *бысть*:

(14) и будѣ в послѣднихъ днѣхъ. **въздвигнетъ** Гъ Бѣ знаменіе въ скончаниіе языкомъ ‘И будет (случится) [так]: в последние дни поднимет Господь Бог знамение о конце народов’ [ЖАЮ: 415–416];

(15) И бы възлеже с нима и приимъ хлѣбъ блѣвѣвъ преломле и дадше има 'И было [так]: [Он] возлег с ними обоими и, взяв хлеб, благословив, преломив, давал им обоим' (Лк 24:30) [МГАМИД 759: л. 3] — то же в: [Тупогр.18: л. 3]¹,

— подробно об этих архаичных конструкциях, являющихся одной из характерных черт библейского нарратива и употребляющихся как для перевода соответствующих греческих структур, так и независимо, см. [ШЕВЕЛЕВА 2008]. Такой же вводящий *буди* при сентенциальном актанте представлен в (10).

В Изборнике 1073 г. также находим один случай аналогичного употребления вводящего *буди* в уступительном значении как соответствие греческой уступительной структуре с таким же вводящим ἔστω, наиболее близкий к (2), (3)–(4):

(16) Боуди бо: кже къ мнѣ съгрѣшаєте плѣти ради, ѡже ношѣ, почто и въ сѣи дхъ съгрѣшаєте [Изб. 1073 г.: л. 178 об.], — ср. греч.: "Ἐστω γὰρ ἐμοὶ παραπαίετε διὰ τὴν σάρκα ἢν περιέχειται διὰτὶ καὶ εἰς τὸ πνεῦμα ἀμαρτάνεται 'Пусть будет же [так]: Мне согрешаете из-за плоти, которую ношу, потому и в Дух согрешаете' [Бод5: л. 157].

Однако структуры в (2) и (3)–(4), на первый взгляд близкие (16), совсем другой природы: *буди* в них представляет собой не отдельный предикат при сентенциальном актанте, но лишь часть предиката, иными словами, не вводит последующую предикативную единицу, но является ее частью, в 3-м лице согласуясь с подлежащим (*буди была вражда, буди вратарь не възбранилъ*) и не допуская подлежащего в форме 2 л. ед. ч.: [ты] *буди имѣлѣ*. При отдельном предикате *буди*, вводящем сентенциальный актант, в структуре фразы должен был бы появиться вспомогательный глагол в форме 2 л. ед. ч.: **буди: невѣдение имѣлѣ еси*. Этого же следовало бы ожидать и в (1): **буди: Акире, възялѣ еси предѣ Бѣ* (связки 1–2 лица перфекта практически не опускаются даже в берестяных грамотах, для книжных текстов коэффициент сохранения связок 1–2 лица вовсе равен 100% [Зализняк 2008: 246–252]).

Чрезвычайно показателен также следующий контекст из более позднего перевода "Поучений огласительных Кирилла Иерусалимского" [Син133]. Этот перевод, согласно [Горский, Невоструев 1859: 66–67], выполнен в XVII в. Евфимием Чудовским, учеником Епифания Славянецкого. Перевод буквален и частично основан на другом, более древнем: "переводчик имел под руками прежний славянский перевод и по местам оставлял оный без изменения" [там же]. Однако в контексте, соответствующем (3)–(4), *буди* заменен на *да будетъ*, а л-формы — на формы аориста и имперфекта:

¹ Славянский контекст цит. по: [ШЕВЕЛЕВА 2008].

(17) Видѣвъ нѣкоего чужда не имуща брака удѣяніе, глаше, друже какъ вшелъ еси сѣмъ [. . .] кою совѣстію; **да будеть**, вратарь не **возбрани**, за убилное подающаго. **да будеть**, невѣдѣніе **имяше**, каковѣмъ же образомъ внити в сопиришество вшелъ еси [*Син133*: л. 6 об.].

В данном случае перевод, использующий структуру с *да будеть*, вводящим предикативные единицы с формами аориста и имперфекта (ср. (14)–(15)), действительно калькирует текст оригинала, в отличие от (3)–(4). В других контекстах, соответствующих (10) и (11), для перевода греческого опатива *γένοιτο* Евфимий сохраняет *буди*, ср.:

(18) **Буди** же да и ѿ црѣа введетеса цвѣти бо нѣ ѡвишаса древесъ [*Син133*: л. 6], – ср. (10);

(19) **Буди** же да и плодъ совершенъ будеть [*Син133*: л. 6], – ср. (11).

Не является ли рассматриваемая структура особым риторическим приемом, сконструированным автором по модели известных ему форм перфекта или будущего сложного второго для одновременной более точной передачи не только значения, но и формальной стороны греческого оригинала?

Отсутствие подобных структур в оригинальных текстах, очевидно, говорит в пользу этого предположения. Однако пример (1) из “Повести об Акире Премудром” согласуется с этим утверждением лишь формально, поскольку здесь *буди* + *л-форма* встречается в прямой речи в составе эллиптической конструкции и, как кажется, в большей степени отражает особенности именно живого употребления. Обращение к оригиналу могло бы внести дополнительную ясность, однако перевод соответствующего фрагмента сирийской версии повести, приведенный в [Пов. об АКИРЕ: 204–205], ситуации не проясняет: “День, въ который Ахикарь родился, пусть будеть благословенъ предъ богомъ Египта”. Очевидно, что в сирийском тексте в фокусе именно день, а в славянском — сам Акир. Однако славянская структура находит подтверждение в версии армянской, с которой, согласно исследованию А. Д. Григорьева [1913: 364–368], славянский текст также имеет большое количество пересечений: “благословен ты перед богами” армянской версии означает почти то же, что *буди възьялъ пред Богомъ* ‘*пусть, Акир, твоя взяла пред Богом*’. В более поздних восточнославянских списках, несколько хуже передающих текст древнейшей редакции повести [там же: 356], соответствующий контекст опущен. В сербской версии повести, вторичной по отношению к восточнославянской [там же: 463–464], тот же смысл передан более книжным оборотом:

(20) **Блѣсвень еси**, ѡ Акуріе, за толику прѣмудрость [ѿ Бѣ іѣлева] [ѡко наоучи ме въсакою хитрости] [Пов. об АКИРЕ: 261].

Очевидно, в сербской редакции *бог Измаиловъ* заменен на Бога Израилева (в одном из списков — в остальных данное предложно-падежное сочетание вовсе опущено), более конкретное *яко тѣ видѣ жива, яко изучилъ ма еси мудрѣ словѣ* заменено на более абстрактное *за толику прѣмудрость* (продолжение фразы *яко науучни ме въсакои хитрости* читается только в одном из списков). По-видимому, замене подвергся и разговорный оборот *буди възьль*, вместо которого находим книжный *блѣсвень еси*.

Единственным аргументом, заставляющим усомниться в показательности примера (1), является достаточно часто используемая в тексте повести формула, подобная той, которая читается на месте (1) в других восточнославянских и сербских списках повести, ср. (1), (20), (21) и (22):

(21) *Блѣвнѣ буди [в] днѣшнии днѣ* Акирови [Акѣре], *яко прѣстави сна своего прѣд мною* [Пов. об АКИРЕ: 15];

(22) *Блѣвнѣ бу^м, Акире, яко оугоди мнѣ въ днѣшнии днѣ* и прѣстави въа моа [ГРИГОРЬЕВ 1913: 361].

Малочисленность примеров не позволяет сделать определенные выводы о том, чем являлась структура *буди* + л-причастие в языке древнейших славянских переводов. На основании рассмотренных выше примеров можно лишь предположить, что *буди* + л-форма, вероятнее всего, представляет собой архаичную перфектную императивную конструкцию, устроенную аналогично другим перфектным образованиям и лишь семантически соответствующую греческим полипредикативным конструкциям с уступительным ἔστω. В позднейших текстах структура подвергается замене (ср. выше (9), (17) и (20)). Не остается до конца ясным, принадлежала ли эта конструкция, как и *буди* + инфинитив, исключительно книжной сфере и использовалась в качестве одного из возможных способов перевода греческих конструкций с ἔστω (примеры (2), (3)–(4)), или же могла употребляться и независимо (пример 1). При этом как структурно, так и семантически конструкция *буди* + л-форма устроена подобно другим формам перфектной группы. Так же как и другие перфектные образования, она выражает актуальность некоторого события, произошедшего до момента речи: 'пусть (даже) окажется, что [Р уже произошло]', а в (3)–(4), кроме того, подобно формам будущего сложного второго передает предположение говорящего о том, каким способом человек, о котором идет речь, мог проникнуть на пир, ср.: *обищи ма аче ти ксмъ невѣренъ яко пришелъ ксмъ отаи и оукралъ буду ѿ плода сего нѣчто 'обыщи меня, неверен ли я тебе (в том, что) я пришел тайно и, возможно, украл какой-нибудь из этих плодов'* [ЖАЮ: 2423–2425] (о модальных употреблениях будущего сложного второго в древнерусском языке см. [Пенькова 2014]).

Сокращенные названия библиотек и древлехранилищ

ГИМ	Государственный исторический музей (Москва)
РГАДА	Российский государственный архив древних актов (Москва)
РГБ	Российская государственная библиотека (Москва), Научно-исследовательский отдел рукописей
РНБ	Российская национальная библиотека (С.-Петербург), Отдел рукописей

Библиография

Источники

*Рукописи**Бод5*

РГБ, ф. 36 (Архив О. М. Бодянского), папка 6, № 5.

МГАМИД 759

РГАДА, Собрание МГАМИД, № 759, Евангелие-апракос кон. XIV в.

Син133

ГИМ, Син. 133, Поучения огласительные Кирилла Иерусалимского, XVII в.

Син478

ГИМ, Син. 478, Огласительные поучения Кирилла Иерусалимского, XI–XII вв.

Ф.п.1.39

РНБ, Ф.п.1.39, Огласительные поучения Кирилла Иерусалимского, XIII в., л. 89 об.–184.

Типогр.18

РГАДА, Типографское собрание, № 18, Евангелие-апракос XIV в., псковское.

Унд564

РГБ, ф. 310 (Собрание В. М. Ундольского), № 564, Сборник XVI в., Слово на погребение Христово и на Св. Воскресение, л. 140–145.

Издания

АмФ.

Амфилохий, архим., *Палеографическое описание рукописей XV–XVII в. определенных лет*, 4, Москва, 1880.

ВМЧ

Weiner E., Hrsg., Šmidr S. O., Škurko A. I., *Die Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Uspenskij spisok. Великие Минеи Четы митрополита Макария. Успенский список. 12.–25. März. 12–25 марта* (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 41/2), Freiburg i. Br., 1998.

ГВНП

Валк С. Н., изд., *Грамоты Великого Новгорода и Пскова*, Москва, Ленинград, 1949.

ДДГ

Черепнин Л. В., изд., *Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв.*, Москва, 1950.

ЖАЮ

Молдован А. М., *“Житие Андрея Юродивого” в славянской письменности*, Москва, 2000.

Изб. 1073 г.

Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.), 1: *Исследования и текст*, София, 1991.

Пов. об Акире

“Повесть об Акире Премудром. Тексты”, в: [Григорьев 1913].

СкБГ

“Сказание о Борисе и Глебе”, в: [Усп.св.].

Усп. сб.

ДЕМЬЯНОВ В. Г., КНЯЗЕВСКАЯ О. А., ЛЯПОН М. В., *Успенский сборник XII–XIII вв.*, С. И. Котков, ред., Москва, 1971.

PG 33

MIGNE J.-P., ed., *Patrologiae cursus completus. Series graeca*, 33, Paris, 1857.

LXX

RAHLFS A., ed., *Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX*, Stuttgart, 1935 (1979).

Литература

Благова 1973

Благова Э., “Обзор греческих и латинских параллелей к Успенскому сборнику XII–XIII вв.”, *Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка*, 32/3, 1973, 271–274.

Горский, Невоструев 1859

Горский А. В., Невоструев К. И., *Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки*, 2/2, Москва, 1859.

Григорьев 1913

Григорьев А. Д., *Повесть об Акире Премудром. Исследование и тексты*, Москва, 1913.

Демьянов 1974

Демьянов В. Г., “О явлениях имперфекта, дифференцирующих древнерусские тексты по происхождению”, в: *Памятники русского языка: вопросы исследования и издания*, Москва, 1974, 105–120.

Зализняк 2008

Зализняк А. А., *Древнерусские энклитики*, Москва, 2008.

Князев 2007

Князев Ю. П., *Грамматическая семантика. Русский язык в типологической перспективе*, Москва, 2007.

Пенькова 2010

Пенькова Я. А., “Императив *буди* в деловых и летописных памятниках XII–XIV вв.”, *Вестник Московского университета. Серия 9. Филология*, 4, 2010, 120–126.

——— 2014

Пенькова Я. А., “К вопросу о семантике так называемого будущего сложного II в древнерусском языке (на материале «Жития Андрея Юродивого»)", *Русский язык в научном освещении*, 1 (27), 2014, 150–184.

Пичхадзе 2011

Пичхадзе А. А., *Переводческая деятельность в домонгольской Руси. Лингвистический аспект*, Москва, 2011.

Потебня 1977

Потебня А. А., *Из записок по русской грамматике*, 4: *Глагол*, Москва, 1977.

Санников 2008

Санников В. З., *Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве*, Москва, 2008.

Соболевский 2000

Соболевский С. И., *Древнегреческий язык*, С.-Петербург, 2000.

Цонев 1995

Цонев И., “Кирил Иерусалимски”, в: *Кирило-Методиевска енциклопедия*, 2, София, 1995, 264–265.

ШЕВЕЛЕВА 2008

ШЕВЕЛЕВА М. Н., “О судьбе древнерусских конструкций с независимыми формами глагола БЫТИ в русском языке”, *Вестник Московского университета. Серия 9. Филология*, 6, 2008, 34–56.

FREYDANK 1973

FREYDANK D., “Verzeichnis griechischer Paralleltexzte zum Успенский сборник,” *Zeitschrift für Slawistik*, 18/5, 1973, 695–704.

Acknowledgements

Russian Foundation for Humanities (grant No. 13-0400093)

Anna A. Pichkhadze

Kirill A. Maksimovich

References

Bláhová E., “Obzor grecheskikh i latinskikh paraleleli k Uspenskomu sborniku XII–XIII vv.,” *Izvestiia Akademii nauk SSSR. Seriya literatury i iazyka*, 32/3, 1973, 271–274.

Cherepnin L. V., ed., *Dukhovnye i dogovornye gramoty velikikh i udel'nykh kniazei XIV–XVI vv.*, Moscow, 1950.

Demyanov V. G., “O iavleniiah imperfekta, differentsiruiushchikh drevnerusskie teksty po proiskhozhdeniiu,” in: *Pamiatniki russkogo iazyka: voprosy issledovaniia i izdaniia*, Moscow, 1974, 105–120.

Demyanov V. G., Knyazevskaya O. A., Lyapon M. V., *Uspenskii sbornik XII–XIII vv.*, S. I. Kotkov, ed., Moscow, 1971.

Freydank D., “Verzeichnis griechischer Paralleltexzte zum Uspenskij sbornik,” *Zeitschrift für Slawistik*, 18/5, 1973, 695–704.

Knyazev Yu. P., *Grammaticheskaia semantika. Russkii iazyk v tipologicheskoi perspektive*, Moscow, 2007.

Moldovan A. M., “*Zhitie Andreia Iurodivogo*” v *slavianskoi pis'mennosti*, Moscow, 2000.

Pen'kova Ya. A., “Imperativ *budi* v delovykh i letopisnykh pamiatnikakh XII–XIV vv.,” *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9. Filologiya*, 4, 2010, 120–126.

Pen'kova Ya. A., “K voprosu o semantike tak nazываемого budushchego II v drev-

nerusskom iazyke (na materiale «Zhitia Andreia Iurodivogo»),” *Russkii iazyk v nauchnom osveshchenii*, 1 (27), 2014, 150–184.

Pichkhadze A. A., *Perevodcheskaia deiatel'nost' v domongol'skoi Rusi. Lingvisticheskii aspekt*, Moscow, 2011.

Potebnia A. A., *Iz zapisok po russkoi grammatike*, 4: Glagol, Moscow, 1977.

Sannikov V. Z., *Russkii sintaksis v semantiko-pragmaticheskom prostranstve*, Moscow, 2008.

Sheveleva M. N., “O sud'be drevnerusskikh konstruktsii s nezavisimymi formami glagola BYTI v russkom iazyke,” *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9. Filologiya*, 6, 2008, 34–56.

Sobolevskiy S. I., *Drevnegrecheskii iazyk*, St. Petersburg, 2000.

Tsonev I., “Kiril Ierusalimski,” in: *Kirilo-Metodievskia entsiklopediia*, 2, Sofia, 1995, 264–265.

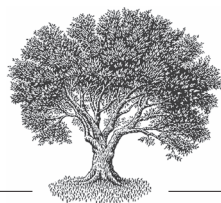
Valk S. N., ed., *Gramoty Velikogo Novgoroda i Pskova*, Moscow, Leningrad, 1949.

Weither E., Hrgsg., Šmidt S. O., Škurko A. I., *Die Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. 12.–25. März. 12–25 марта* (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 41/2), Freiburg i. Br., 1998.

Zalizniak A. A., *Drevnerusskie enklitiki*, Moscow, 2008.

Яна Андреевна Пенькова, канд. филол. наук
научный сотрудник Отдела исторической лексикографии,
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
119019 Москва, Волхонка 18/2
Россия/Russia
amoena@inbox.ru

Received on July 3, 2015



О ВОЗМОЖНОМ
ИСТОЧНИКЕ
НЕКОТОРЫХ ОБРАЗОВ
ЛЕТОПИСНОЙ
“ПОХВАЛЫ” КНЯЗЮ
РОМАНУ МСТИСЛАВИЧУ

**Вадим Изяславович
Ставиский**

Независимый исследователь,
Киев, Украина

On a Possible
Source of Some of
the Images in the
Annalistic *Pokhvala*
to Prince Roman
Mstislavich

Vadym I. Stavyskyi

Independent scholar, Kiev, Ukraine

Резюме

Предметом исследования в статье является текст, выделяемый в начальной части Галицко-Волынской летописи и получивший условное название “Похвала князю Роману Мстиславичу Галицкому”. Автор статьи уточняет отдельные наблюдения, сделанные А. С. Орловым по поводу заимствований в тексте “Похвалы” из переводных произведений. Дополнительный материал для сопоставлений предоставляет текст толкования пророков св. Ипполитом Римским, известный в славянском переводе XII в. под названием “Слово о Христе и об антихристе”. В его тексте находит возможное объяснение оригинальная конструкция ума мудростью, предложенная автором для пояснения причин внешнеполитических успехов князя Романа, а также логика сопоставления князя со зверями апокалипсиса: львом-орлом, рысью, крокодилом. Характерные особенности, обнаруживаемые в тексте “Похвалы” в изложении сведений о сомнительном изгнании Владимиром Мономахом хана Атрака и последовавшем легендарном посольстве к нему хана Сырчана (оба известия не подтверждаются другими источниками), обусловлены, по нашему мнению, использованием текста “Слова”. Литературные образы “Похвалы” на всем

протяжении ее текста оказываются детерминированными апокалиптической символикой, несущей следы, характерные для ее истолкования св. Ипполитом. Это наблюдение позволяет расширить наше представление о перечне переводных произведений, использованных при составлении Галицко-Волынской летописи.

Ключевые слова

древнерусская литература, Галицко-Волынская летопись, текстология, похвала, Ипполит Римский

Abstract

The subject of this article is the text known as the “Eulogy (*Pokhvala*) to Prince Roman Mstislavich Galitsky,” which is from the opening section of the Galician-Volhynian Chronicle. The author of the article amplifies remarks made by Alexander Orlov about loanwords taken from translated works that appear in the text of the *Pokhvala*. The text of the exegesis of prophets by St. Hippolytus of Rome, which was widely known in Slavonic translation from the 12th century as the *Slovo o Khriste i ob Antikhriste*, produces additional material for comparison. St. Hippolytus’s text offers a possible interpretation of the concept “*uma mudrost’iu*,” which the author of the *Pokhvala* offers as an explanation of the successful foreign policy of Prince Roman; in addition, this explanation helps to clarify the comparison of the prince with the eagle-lion, the lynx, and the crocodile. Certain characteristics of the text of the *Pokhvala* as revealed in the account of the exile of Khan Atrak by Prince Vladimir Monomakh and the subsequent mission carried out by Khan Syrchan, both unsupported in other sources, were, we believe, influenced by the text of the *Slovo* as well. It appears that literary images used throughout the *Pokhvala* were determined by apocalyptic symbols, following the approach that was typical of their interpretation by St. Hippolytus. This conclusion permits us to broaden our notions about the enumeration of works in translation used by the creator of the Galician-Volhynian Chronicle.

Keywords

Old Russian literature, Galician-Volhynian Chronicle, text criticism, St. Hippolytus of Rome, eulogy

Во вступительной части Галицко-Волынской летописи (далее — ГВЛ), в том виде, в котором она дошла до нас, ее автором или редактором помещен панегирик князю Роману Мстиславичу Галицкому (“Похвала”). Текст “Похвалы” князю Роману, в летописях по Ипатьевскому началу XV в. (далее — Ипат.) и Хлебниковскому XVI в. (далее — Хлеб.) спискам стоит под 1201 г. и разрывает зачин летописи, начинавшейся с сообщения о смерти князя Романа в 1205 г. с продолжением в виде сообщения о предполагавшемся описании злочлукений его малолетних сыновей.

В новейшем комментарии текста ГВЛ высказана мысль о том, что “истоки летописной похвалы Роману Мстиславичу берут начало в

древнерусском фольклоре” [Котляр 2005: 181–182]. Н. Ф. Котляр развивает мысль акад. Б. А. Рыбакова о том, что панегирик князю Роману был создан придворным галицким поэтом в виде “славы” — “хвалы”, и утверждает, что яркая жизнь князя способствовала созданию народных преданий, легенд и песен как у древнерусского народа, так и среди его соседей [Котляр 2005: 182]. В этом случае обозначенный исследователями путь формирования текста “Похвалы” предполагает существование длительной предыстории, а значит, весьма поздний этап ее включения в текст ГВЛ. Учитывая весьма слабую фактологическую базу текста “Похвалы”, единственно возможным направлением для обоснования этой мысли является исследование лексики ее текста.

До сегодняшнего дня наиболее полно анализ лексики “Похвалы” представлен в работах акад. А. С. Орлова. В частности, в “Лекциях по истории древней русской литературы” им было высказано “предположение о заимствовании Галицко-Волынской летописью фразеологии Малалы по Еллинскому Летописцу для характеристики Романа Мстиславича Галицкого, под 1201 г. Ипатьевского списка” [Орлов 1916: 74]. Позже оно без изменений было включено в обобщающую статью, изданную в 1926 г. [он же 1926: 101–103]. Однако акад. Орлов не скрывал, что “при сопоставлениях, мы не достигли окончательных результатов” [там же 1926: 97], что позволяет нам с большей свободой подойти к анализу текста “Похвалы”.

Фразеология панегирика князю Роману, по мысли А. С. Орлова, свидетельствует о сугубо книжном характере текста, набранного из отдельных фраз и отрывков из славянских переводов византийских текстов, входивших в состав сборника типа Архивского. Утверждение ученого о том, что такой сборник “происходил из Галицко-Волынской области и относился ко второй половине XIII века” [Орлов 1916: 95], заставляет с большим вниманием отнестись к его составу. Мы имеем в виду, что литературные особенности образной системы “Похвалы” могли быть обусловлены не только переводными текстами, входившими в состав Хронографа (хроники Амартола и Малалы, Александрия, текст Флавия), но и текстом, близким к Толковому Апокалипсису.

Свои выводы исследователь строил прежде всего на анализе начальной фразы текста, в которой сообщается о том, что князь Роман “одо́лѣвша всимъ поганьскымъ языкъ оума мудростью. ходаща по заповѣдемъ Бжѣимъ” (Ипат.) [ПСРЛ, 2: 715–716] или “одо́лѣвша всѣмъ поганьскымъ языкомъ, ума мудростию ходяще по заповѣдемъ Божиимъ” (Хлеб.) [ГВЛ 1990: 308]. А. С. Орлов сопоставил это выражение с фразой из Хроники Малалы по Еллинскому Летописцу первой редакции, которой характеризовался звероподобный Геракл:

его-же глаголють во лвѣи язвени ходяща и палицю имуща [. . .] палицею убивша змия, рекше одолѣвшу тремъ частемъ злымъ похотемъ ума мудростью акы палицею, ходяща в котызѣ яко въ лвѣ язвенѣ [Орлов 1916: 101, прим. 1], ср.: палицею оубившую змия. рекше одолѣвша частѣ слѣ похотѣ, оума мростию. акы палицею ходяща въ котызѣ. акы въ левѣи ямѣ. въ твердѣ оумѣ [Истрин 1994: 30].

Интересующую нас фразу в контексте “Похвалы” Л. Е. Махновец перевел следующим образом: “. . . одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючи заповідей божих” [ЛР 1989: 368]. Переводя текст по Ипат., ученый, тем не менее, отдал предпочтение пунктуации Хлеб. О. П. Лихачева, опираясь на Ипат., изданный в “Библиотеке литературы Древней Руси”, расставила акценты иначе: “Он победил все языческие народы мудростью своего ума, следуя заповедям Божиим” [Лихачева 1997: 185]. Разница в понимании фразы исследователями достаточно существенна и определяется местом запятой в тексте — перед словом *ума* или после слова *мудростью*. В результате из перевода Л. Е. Махновца очевидно, что победы князя Романа были обусловлены тем, что он при помощи загадочной *ума мудрости* придерживался (*ходяще*) заповедей Божиих, а из перевода О. П. Лихачевой следует, что он победил народы “мудростью своего ума”, что выглядит как тавтология.

При всей внешней сопоставимости фразы “одолевшу всеимъ поганьскимъ язкѣ оума мудростью” со словами “одолевшу тремъ частемъ злымъ похотемъ ума мудростью” в обоих текстах совершенно очевидно, что на этом их родственность заканчивается. Многое зависит от наличия в тексте знака препинания после исследуемого выражения, отсутствующего в Хлеб., и превращающего в деепричастный оборот последующие слова в Ипат., что и нашло отражение в переводе О. П. Лихачевой. В данном случае пунктуация Ипат. полностью соответствует пунктуации текста в Хронике. По мнению Т. Л. Вилкул¹, подстрочный перевод соответствующего места греческого текста (опубликованного В. М. Истриным) выглядит следующим образом: “Победил разнообразные страсти (влечения, похоти) ума посредством палицы философии (мудрости)”. Он не дает оснований для возникновения словосочетания *ума мудростью* и всецело относит ее возникновение на счет славянского переводчика.

То есть в греческом тексте Малалы выражение “ума мудростью” вообще отсутствует, а речь в тексте идет о победе мудрости над страстями ума. Оно относится не к “хождению”, как следует из пунктуации Хлеб., а к “одолению злымъ похотемъ ума”, как в Ипат., олицетворенным для христианина в змие-антихристе, и является аллегорией. Это означает, что прямого заимствования летописцем из

¹ Выказано устно.

греческого текста Хроники быть не могло. Более того, одоление “всимъ поганьскымъ языкомъ ума” весьма отдалено по смыслу от исходного текста об одолении “злымъ похотемъ ума”. Это дает основания предположить, что автор “Похвалы” сосредоточился на редком словосочетании *ума мудростью* в ущерб наполнению его обычным смыслом. Таким образом, перевод О. Лихачевой максимально точно передает смысл фразы, но все же остается открытым вопрос о том, как можно было бы избежать сложности в понимании фразы о победе, достигаемой “мудростью своего ума”.

Из текстов, которые функционировали в древнерусской духовной среде, известно, что мудрость возносит, повелевает, показывает, возлагает; ее обретают и принимают, ею хвалятся и укрепляются [СДРЯ XI–XIV вв., 5: 33–34]. Таким образом, мудрость выступает действенной силой, оказывающей всеобъемлющее влияние на судьбу ее обладателя. Положение ума представляется более статичным: лишь в двух случаях он “летает” [Срезневский 1912, 3: 1212]. Но вот литературный топос, в котором была бы обозначена связь ума и мудрости, мы наблюдаем совсем редко. Один из таких случаев — это славянский перевод Откровения Иоанна Богослова (Откр 13:18): “Сдѣ мѣть естъ иже има оумъ. да почтѣ число звѣрино” [*Tr121*: л. 50]². Из этой фразы нам становится понятным, что мудрость, сопряженная с умом, представлялась как высшая степень мудрости в христианском контексте ее понимания — это мудрость пророков, предсказывавших самый животрепещущий момент христианской истории — приближение царства антихриста. Это позволяет предположить, что автор “Похвалы” князю Роману намеревался связать внешнеполитические успехи князя с наличием у него особенного дара предвидения. Но был ли текст Библии непосредственно источником создания литературного топоса “Похвалы” или он был воспринят ее автором опосредованно?

В 1868 г. К. И. Невоструевым был опубликован славянский перевод сочинения св. Ипполита Римского “О Христе и антихристе” в рукописи XII в. из Чудовского монастыря. Рукопись имела название “Иполита епискупа Съказаніе о Христосѣ и о антихристѣ” и была издана параллельно с греческим текстом и с переводом на русский язык [Ипполит 1868]³. Вскоре И. И. Срезневский издал текст этого сочинения, имевшего название “Ипполита епископа папы Римскаго толкование: Сказание о Христѣ и о антихристѣ”, по Академическому списку с

² О текстологии славянского перевода Апокалипсиса см.: [Алексеев, Лихачева 1987]. Благодаря данным этой работы, в качестве источника текста славянского Апокалипсиса нами был выбран список *Tr121* кон. XIV в., представляющий толковую редакцию — единственную, известную в Древней Руси, а также представленную исключительно древнерусскими списками.

³ В дальнейшем текст св. Ипполита цитируется по этому изданию.

разночтениями по Чудовской рукописи [Срезневский 1874]. В 1899 г. был издан новый перевод на русский язык этого сочинения св. Ипполита по греческой рукописи X в., опубликованной ранее в 1897 г. Эта рукопись, найденная в библиотеке Храма Гроба Господня, интересна тем, что не имеет пропусков, характерных для текста греческой рукописи, изданной К. И. Невоструевым, но буквально соответствует изданному им славянскому переводу [Ипполит 1899: 9–46]. Таким образом, можно утверждать, что славянский перевод текста “Сказания” св. Ипполита (СИ), представленный Чудовским и Академическим списками, был сделан с реально существовавшего полного греческого списка этого произведения, в каком виде он и был известен на Руси в XII в., и этот факт нельзя не учитывать при изучении древнерусского литературного процесса.

В своем произведении св. Ипполит толкует библейские пророчества о признаках второго пришествия. В нем главное внимание автора обращено на выяснение вопроса о сущности антихриста. Впрочем, автор значительную часть своего сочинения отводит также рассуждению о сущности, природе и признаках истинного пророческого дара. По этому поводу св. Ипполит утверждает: “Не бо ѿ свокѣ силы прѣрочи бесѣдоваахоу [. . .]. нь първок оубо ѿ словесе моудрость приимаахоу” [Ипполит 1868: 5]. Здесь мы обнаруживаем, что источником истинной мудрости провозглашается Слово, даровавшее заповеди. В таком случае выражение галицкого летописца “ума мудростию, ходяще по заповѣдемъ” следует признать близким утверждению св. Ипполита о том, что истинные пророки “отъ Словесе мудрость приимаху”.

Полагаем, что словосочетание *ума мудростию* воспринималось в древнерусской литературной среде XIII в. как устойчивый литературный топос, относящийся к определенному событию. Находим мы его у св. Ипполита, который дважды обращается к тексту Откровения Иоанна, пересказывая его с некоторыми отличиями: “Съде вса моудрость кѣсть иже моудрость имать да почъте число имени звѣрю” [Ипполит 1868: 73]; “съде кѣсть разоумъ иже има моудрость. да почъте число звѣри” [там же: 78]. В “Слове” Даниила Заточника, которое исследователи относят к XII в., этот же топос применен в развернутом виде, буквально повторяющем текст второй цитаты из СИ: “Вѣструбим, яко в златокванныя трубы, в разоумъ ума своего и начнемъ бити в сребреныя органы возвитие мудрости своя” [Слово Даниила Заточника 1932: 4]. О том, что источником образа “серебряных органов мудрости” у Заточника был именно текст СИ, свидетельствует указание последнего на то, что пророки “аки органи себе съкоуплени. имѣще въ себе выиноу слово аки било” [Ипполит 1868: 5]. Со Словом,

как мы помним, св. Ипполит связывает получение мудрости (“мудрость приимаху”), что равнозначно “возвиту мудрости” текста Заточника. Если допустить, что *разумъ ума* текста Заточника передает на самом деле неправильно понятое *разумъ ума* текста св. Ипполита, что вполне объяснимо палеографически, то совпадение в выражении будет буквальным. Показательно, что и у Малалы мудрость сопоставляется с “палицею убивша змия”. Повергнутый змий, по словам хрониста, олицетворял три “злыи похоти ума”. В таком случае змий определенно сопоставим с антихристом, а палица с билом — орудием пророков в борьбе с антихристом. То есть мы предполагаем, что смысл, который автор “Похвалы” включил в выражение *ума мудрость*, наиболее полно раскрывается через рассуждения св. Ипполита о происхождении феномена истинной пророческой мудрости.

Князь Роман представляется летописцем в качестве носителя истинной мудрости, сопоставимой с мудростью библейских пророков, которым было открыто о судьбе человечества. Предложенная летописцем конструкция подразумевает обладание князем Романом истинным знанием о грядущих переменах, предшествующих явлению антихриста. Для этого периода характерно появление четырех зверей антихриста. А поэтому использование в продолжение летописной характеристики князя сравнений его с экзотическими зверьми, которыми насыщены эти пророчества, должно натолкнуть нас на серьезные размышления об источнике и смысле сопоставлений, представленных в тексте “Похвалы”.

Князь Роман последовательно сравнивается со львом, рысью, крокодиллом, орлом и туром:

оустремил бо са баше на поганѣхъ яко и левъ. сердить же бѣ яко и рысь. и гоубаше яко и коркодиль. и прехожаше землю ихъ яко и врель. храборъ бо бѣ яко и тоуръ [ПСРЛ, 2: 716].

Для первого зверя А. С. Орлов увидел параллель из того же отрывка Малалы, в котором победа Геракла над “злыми похотями ума” происходит на фоне его обращения во льва, “егоже глаголють во лвѣи язвени ходяща [. . .] ходяща въ котызѣ. акы въ левѣи ямѣ. въ твердѣ оумѣ”. Поэтому сравнение князя Романа со львом сразу за указанием на его исключительное следование *ума мудрости* выглядит совершенно логичным. Однако полного соответствия мы не наблюдаем. Сопоставление князя Романа со львом продолжается сравнением его с рысью. Акад. Орлов справедливо обратил внимание на сопоставимость слов галицкого летописца “сердить же бѣ яко и рысь” “Похвалы” с характеристикой Александра Македонского из толкования шестого видения пророка Даниила из Еллинского летописца: “уподобися [Александр Македонский. — В. С.] рыси, занеже

бѣше острѣ у момѣ и многокозненѣ в помыслѣхѣ и лютѣ сердцемѣ и кровь челоуѣческу пити (пить)” [Орлов 1926: 104, прим. 1]. Интересно, что под 1251 г. галицкий летописец продолжает эту же мысль и вспоминает: “иже бѣ изоустрилса на поганыа. яко левъ. имже Половци дѣти страшахоу” [ПСРЛ, 2: 813]. Хотя в одном случае князь Роман “оустремил бо са баше на поганыа яко и левъ”, а в другом он “бѣ изоустрилса на поганыа. яко левъ”, очевидно, что характеристика князя Романа под 1251 г. связана с текстом “Похвалы”. Причем использование в ней глагола *изоустрилса* вместо *устремилса* предполагает знакомство ее автора с одним и тем же апокалиптическим текстом, в котором была дана характеристика Александру Македонскому.

Термин *изоустрилса*, судя по всему, является неологизмом, созданным автором “Похвалы”. До этого времени он был известен в форме *възоустрилса*, которая особенно интересно употребляется в статье Киевской летописи под 1174 г. Негативно оценивая действия князя Андрея, летописец рассуждает в образах, близких рассматриваемому месту “Похвалы”:

Андрѣи же [. . .] и възоустриса на рать [. . .]. Андрѣи же князь толикѣ оумникѣ сы. во всехѣ дѣлѣхѣ. добль сы и погуби смыслъ свои. и невоздержаниемъ. распольвьса гнѣвомъ. такова оубо слова похвална испусти. яже Бѣи студна и мерьска. хвала и гордость. си бо вса быша ѿ дьявола на ны. иже всѣваеть въ срѣце наше. хвалу и гордость [ПСРЛ, 2: 573–574].

Термин *възоустриса* в данном случае применен явно в негативном смысле, и раскрывается через пояснение *распольвьса гнѣвомъ*. Им поясняется последствие активности дьявола, в результате воздействия которого князь “погуби смыслъ свои”. Идея явно противоположна возвещенной в “Похвале” победе мудрости ума князя Романа над “всимъ поганскимъ языкомъ”. Для того, чтобы такое противопоставление стало очевидным для читателя, который не должен был оценить их в аспекте богопротивных действий князя Андрея, автор “Похвалы”, видимо, и создал неологизм *изоустрилса*.

Использование сравнения князя Романа со львом в статье 1251 г. акад. Орлов считал заимствованием из текста “Похвалы”. Но мы видим, что характер взаимосвязи обоих лексем выглядит сложнее и указывает на одновременность создания двух сравнений князя Романа — со львом в “Похвале” и в статье 1251 г. Ведь нельзя отрицать возможность развития лексемы от более сложной (*изоустрилса*) к более простой (*устремилса*).

Д. С. Лихачев, опубликовав исследование “галицкой литературной традиции” и ее влияния на текст Жития князя Александра Невского, отметил:

В житии Александра дважды говорится о степных народах, которые пугают своих детей именем русского князя: в “Слове о погибели” [которое он считал вступлением к жизнеописанию князя Александра. — В. С.] говорится о Мономахе, “*которым то половоци дети своя ношаху* (описка вм. «страшаху») *в колыбели*”, и в собственно житии то же говорится об Александре: “*проиде вестъ до усть Волги, и начаша жены Моявидския полошати дети своя* рекуще, едет князь Александр Ярославичъ”. Единственная параллель к этим двум местам жития может быть указана только в Галицкой летописи под 1252 г. [Лихачев 1947: 52].

Слова, стоящие в окончании статьи ГВЛ под 1251 г. (“имже Половци дѣти страшаху”) и Жития (“начаша жены Моявидския полошати дети”), явно связаны с текстом первой редакции Мефодия Патарского. В нем сказано, что измаильтяне будут вторично изгнаны “греческим царем”, неким реинкарнированным Александром Македонским, который

съ великою яростию възънепретсе [. . .] кгоже начнууть члѣвци мнѣти мртва быѣша [. . .] и расиплетсе власть имь и плѣннѣти жены ихъ и дѣти ихъ [. . .] и нападетъ на нкѣ стрѣѣ ѿвсоуѣ и на жены ихъ и на дѣти ихъ [Истрин 1897: 97–98].

В тексте ГВЛ под 1251 г. с т р а х (более первичное чтение, чем в Житии) у “половецких детей”, между тем, вызывает не сам князь Роман, а образ льва, в котором князь им является. Эта важная психологическая деталь явно опущена в текстах “Слова о погибели” и Жития. В Житии это оправдано именем героя, акцент поставлен иначе — князь Александр сам представлен как воплощение “греческого царя”. Автор Жития замещает князя Александра Ярославича образом царя Александра, подобного “мужьствомъ звѣри”. Это почувствовали жены, которые пугали своих детей перспективой того, что “Олександро князь и д е т ь”. “Царь” Батый также обнаружил в князе Александре Ярославиче обладателя особых качеств, увидев, что “нѣсть подобна сему князю [. . .] отпусти и съ честию”.

Среди немногочисленных случаев упоминания рыси в древнерусских текстах с ней, кроме Александра Македонского в приведенном А. С. Орловым отрывке из толкования на пророка Даниила, сравнивается третий зверь апокалипсиса у того же пророка Даниила и истолковывавшего его пророчества св. Ипполита: “. . . и се звѣрь дроугыи, акы рысь [. . .] чѣтыри глѣ вы звѣри томѣ. Въ слѣдъ ѿго видаахъ” [Ипполит 1868: 31–32]. В Откр 13:2 то же: “И звѣрь веходѣщи видѣ. и бѣ подобенъ рысици [. . .] И дасть ѿму змии силу свою и прѣлѣ съи и область велию” [Тр121: лл. 47 об.–48]. В своем толковании св. Ипполит сравнивает третьего зверя с царством Александра Македонского: “Потомъ же третий звѣрь. рысь. еже бѣша елини. По персѣхъ бо александръ. предъержа македонань. . .” [Ипполит 1868: 36]. Но и первый зверь Апокалипсиса

св. Ипполитом представлен так: “Първыи акы львица. и пера ки акы орлоу. видаахъ донѣде испадоса пера ки. и Ѡнашаса Ѡ земля” [ТАМ ЖЕ: 31]. Значит, в контексте апокалиптических образов сравнение князя Романа со львом выглядит совершенно не случайным. Равно как и его сравнение с орлом: “и прехо ж а ш е землю ихъ [языковъ. — В. С.] я к о и о р е л ь”. Св. Ипполит, цитируя пророка Исаяю, пишет: “Горе земли [. . .] и д у т ь б о а к ы о р ь л и л ь г ь ц и к ь я з ы к у в ы с о к у и к ь ч у ж и м ь л ю д ь м ь и л ю т о м ь, к ы и е г о я з ы к ь д а л е н а д ь я с я и п о п ь р а н ь е с ь т ь” [ТАМ ЖЕ: 91]. В сравниваемых фразах, содержащих общие термины *земля* и *языкъ*, сопоставимы выражения *прехо ж а ш е я к о и о р е л ь* и *и д у т ь б о а к ы о р ь л и*, что позволяет достаточно уверенно предположить источник образа орла в характеристике князя Романа.

Каждому зверю, упомянутому в панегирике князю Роману, автором приписывается определенное характерное только для него качество: лев — устремляется, рысь — “сердита бысть”, тур — храбр. Особенностью крокодила автор считал, что этот зверь как-то особенно убивал свою жертву — “губяше яко”. Известно, что череда зверей Апокалипсиса завершается описанием неопределенного четвертого зверя:

и се звѣрь четвертыи страшнѣи. и чоуднѣи и крѣпкѣи излиха. зоуби кго желѣзни. и ногѣи кго мѣднью снѣдад и дробл и прочнѣа ногама сѣпирад. и тѣ излиха различнѣи Ѡ всѣхъ звѣри иже предѣ нимъ [. . .] и се акы очи члвѣчьстѣ [Ипполит 1868: 32].

Этот четвертый зверь хотя и не назван по имени, но по всем признакам соответствует средневековым книжным представлениям о крокодиле. Первое — он отличается “излиха” от предшествовавших ему зверей Апокалипсиса — льва, медведя и рыси. У него огромные железные зубы, и остаток своей жертвы он топчет ногами. Как замечают о крокодиле в средневековых текстах, “глаголют же яко имать толико зубовъ, елико имать дней годъ”. И наконец, его глаза сравниваются с человеческими, что, конечно же, отражает характерное мнение о нем средневековых источников: “а егда имеет человека ясти, тогда плачет и рыдает” [Белова 2000: 148], что считалось исключительно признаком человеческой природы.

Для воинской лексики сравнение с крокодилем выглядит достаточно неожиданным, какие достоинства оно подчеркивает — непонятно. Поэтому думаем, что сравнение князя Романа Мстиславича с крокодилем все же есть смысл рассматривать в контексте апокалиптических образов.

Возникает закономерный вопрос, почему качества, приписываемые древними пророками антихристу, галицкий летописец с такой

легкостью применял к своему князю, намереваясь создать его положительный образ? Во-первых, напомним, что князя Романа он позиционировал в качестве наследника самих пророков. Во-вторых, ссылаясь на Откр 18:37, св. Ипполит напоминает: “львъ рещи Христось и львъ антихреть”, потому что “подобитиса мыслить льстьць сїа оу бжїю” [Ипполит 1868: 12–13]. И дальше: “оубо льва и скумяна львова. предъвъзгласиша кънигы ѡа. подобно и ѡ антихреть рѣно ксть” [ТАМ ЖЕ: 20]. Подчеркивается стремительность и неотвратимость второго пришествия Христа, поражающего антихриста: “Гдко бо мълнии. исходить отъ вѣстока [. . .] тако боудеть пришьствїк сїа а человѣча” [ТАМ ЖЕ: 103]. Аналогично и князь Роман “оустремил бо сѧ баше на поганыѧ гдко и левъ” [ПСРЛ, 2: 716]. Гиперболизированная воинственность князя по отношению к “поганым” под пером летописца становится явно сопоставима со внезапностью наступления второго пришествия Сына Божия на антихриста. Уподобление же князя льву, орлу, рыси и крокодилу определяло, прежде всего, мистическую природу его силы, что сразу вслед за обозначением ее источника — “заповедей Божиих” — не должно порождать у читателя сомнений в природе происхождения этой силы.

Текст “Похвалы” содержит следующую информацию о Владимире Мономахе: “погубившему поганыѧ Измалтаны. рекомыѧ Половци. изгнавшю Утрока во Убезы” [ПСРЛ, 2: 716].

Исторический факт переселения половецкой орды хана Атрака на Кавказ в царствование царя Давида, женатого на сестре вышеназванного половецкого хана, подтверждается грузинскими источниками [КАРТЛИС ЦХОВРЕБА 2008: 189–190]. Но они же сообщают, что это произошло не внезапно и по приглашению грузинского царя, заинтересованного в могущественном союзнике. Об исключительной роли Владимира Мономаха в этом процессе они не сообщают, равно как и древнерусские летописи. В своей комментарии Н. Ф. Котляр выражает сомнение по поводу исторической достоверности известия “Похвалы” об изгнании хана Атрака. Ученый утверждает, что “фольклорное происхождение рассказа о борьбе Владимира Всеволодовича Мономаха [. . .] против натиска Половецкой степи [. . .] представляется несомненным” [Котляр 2005: 182]. Н. Котляр предположил, что “вероятнее всего, масштабная победа русских над половцами, когда Отрок был загнан в Обезы, состоялась в 1111 г.” [ТАМ ЖЕ: 183] По версии исследователя, эти события отразились в фольклоре, ставшем источником “Похвалы”. Остается объяснить, почему через 125 лет в Галиче всплыли детали грандиозного, судя по всему, события, к которому был причастен киевский князь Владимир Мономах, в то время как современному князю киевскому летописцу о нем ничего не было известно.

Поэтому слова “Похвалы” имеет смысл рассматривать в общем контексте историософской концепции ее автора.

Обращает на себя внимание, что автор ГВЛ достаточно уверенно оперировал тюркской этимологией имен собственных (*Сырчан, Кончак* и пр.). Но имя *Атрак* он предпочел передать в спорной форме — *Отрок*. Ни Ипат., ни Хлеб. не дают оснований сомневаться в предложенной им форме имени собственного. Между тем, возможный источник этой формы имени половецкого хана в передаче его летописцем обнаруживается в тексте “Сказания” св. Ипполита. Последний пересказывает “знамение великое чудно” из Апокалипсиса, в котором в виде аллегии описывается преследование змеем-антихристом Церкви Христовой. В частности, говорится следующее: “зміи гонѣше женѣ родившю ѿ трокѣ...” [Ипполит 1868: 94]. В славянском тексте Откр 12:13–17 вместо термина *отрокъ* применен термин *мужескъ полъ* [Тр121: л. 46 об.]. Если летописец предполагал смелое сравнение Владимира Мономаха со змием Апокалипсиса, то уподобление половецкого хана преследуемому отрокѣ выглядит достаточно логичным. Как и предложенная летописцем фраза *изгнавшю Отрока* сопоставима с *гоняще отрока*.

Суть преследования отрока из текста св. Ипполита заключалась в том, что “испусти змии изъ усть своихъ воду яко рѣку, да ю в рѣцѣ утопитъ. И поможе земля женѣ и отверзе земля уста своя и пожре рѣку”. Ничем не подтвержденное утверждение о бегстве-изгнании хана Атрака в тексте панегирика имеет продолжение, смысл которого может быть раскрыт именно в этом контексте:

Сърчанови же вставшю оу Доноу. рѣбою вжившю. тогда и Володимеръ Мономахъ пиль золотѣ шоломомъ Донъ. приемшю землю ихъ всю [ПСРЛ, 2: 716].

Привлекает внимание не только загадочное спасение хана Сырчана от преследования князя Владимира таким образом, что он, оставшись неподалеку от Дона, “ожил рыбой”. Не подтверждается источниками утверждение летописца о том, что Владимир Мономах завоевал Половецкую землю — “приемшю землю ихъ всю”. Такое утверждение явно преувеличено и поясняется исключительно символическим “питием” Дона. Оба действия получают смысл в контексте слов из текста св. Ипполита о том, что “отверзе земля уста своя и пожре рѣку”.

Во второй части “Похвалы” приведен якобы эпический рассказ неизвестного происхождения о попытке хана Сырчана привлечь своего брата Атрака на родину, предпринятой им после смерти Владимира Мономаха:

... по смрти же Володимерѣ вставшю. оу Сърчана единомуу гоудцю же Вреви посла и во Вбезы река. Володимерѣ оумерль есть. а воротиса брате поиди в землю свою молви же емоу моѣ словеса. пои же емоу пѣсни Половѣцкиѣ. вже ти не

восхочеть. даи емоу пооухати зелья. именовъ ѣвшанъ. ѡному же не восхотѣвшю
вбратитиса ни послушати. и дасть емоу зелье. ѡному же вбоухавшю. и
восплакавшю [ПСРЛ, 2: 716].

Общепринятое понимание фрагмента сводится к тому, что в нем упомянут половецкий музыкант, которого хан Сырчан отправил к своему брату с тем, чтобы убедить последнего вернуться в Половецкую землю. Имя музыканта в литературе обозначается по-разному: *Орев*, *Орь*, *Ор*. В самом начале этой повести устанавливается странная связь между военно-политической деятельностью князя Владимира и уменьшением численности музыкантов в половецкой степи: “по смрти же Володимерѣ вставъшю. оу Сыръчана единомуу гоудцю”. Вызывает удивление не столько представленный факт обеднения талантами Половецкой земли, а то, что это привлекло внимание автора “Похвалы”. Это позволяет предположить некую знаковость образа гудца, обозначенного к тому же достаточно редким для древнерусских текстов термином.

Впрочем, большую проблему представляет собою позиция частицы *же* после имени существительного *гоудцю*, поскольку в этом случае она не может выступать в роли усилительной (ожидалось бы *единому же гудцю*). В случае принятой разбивки на слова, фраза должна предполагать предшествующее упоминание еще одного гудца, которого мы в тексте не наблюдаем. Следовательно, можно поставить под сомнение общепринятую разбивку фразы *гудцю же ореви*, предполагающую наличие в ней частицы *же*. В Хлеб. исследуемое место в тексте представлено иначе, чем в Ипат.: “оставшю оу сырча||на е^{ди}номуу г^{уд}цоу же ореви. и посла и въ обезы” [ГВЛ 1990: 308]. Поскольку в Хлеб. частица *же* всегда присоединяется к предыдущему слову и никогда (в отличие от прилагательных) — к последующему, удивительная и непонятная, на первый взгляд, форма *же-ореви*, тем не менее, верно передает написание протографа.

Из практики применения термина *гудец* в древнерусских текстах видно, что его носителя нельзя считать тождественным музыканту, так как он пользовался “гласом”. Например, это очевидно из подробного описания гибели Вавилона, помещенного в древнерусском переводе толкований св. Ипполита: “. . . да погразнетъ гра^а великїи вавилонъ, ѡ не ѡбращетса ктомѣ гла^а г^{уд}ца. ни моусикикїа, ни свѣрили, ни трѣба” [Ипполит 1868: 61]. Одним из древнейших типов исполнителей эпических песен среди древних тюрков были так называемые *жырау* (*žiraw*), которые аккомпанировали себе на кобызе (аналог гудка нашего текста). *Жырау* известны среди татар, казахов, каракалпаков, и их название происходит от *žir* (*yir/ür*) — героический эпос, песня [Радлов 1911: 120; Reischl 1992: 101; Турсунов 1999: 203–206]. Согласно В. В. Радлову, включившему этот термин в свой словарь, составляющие его гласные

звуки описывались следующим образом: “ы есть звук не соответствующий вполне ы [. . .] он звучит как русское *о* и *а* в третьем слоге перед ударением, напр. *годовой* (гѣдѡвѡі)” [Радлов 1911: x1]; *а* звучит вполне как русское *а* в словах *как* и *камень*, но будучи долгим (а мы не знаем, как его произносил информатор автора ГВЛ), “соответствует немецкому *а* в слове *Abend*” [там же: x].

Тюркское *жырау* вполне могло быть передано в фонемах слова *жеорев* / *жорев* ГВЛ, которое в ученой традиции, опиравшейся на разбивку текста Ипат., превратилось в имя половецкого “певца”. На опознание исследователями в нашем фрагменте имени собственного (и его форму в литературе XIX в. — *Орев*) могла повлиять библейская аллюзия на двух мадиамских князей Орива и Зива (Суд 7:25, 8:3). Отказавшись от искусственного словосочетания *же Шрев*, возникшего под пером северорусского переписчика начала XV в., мы получаем совершенно адекватно переданный автором “Похвалы” фонемный состав половецкого термина *жырау* как *жеорев* или *жорев* [Ставиский 2014: 172–178]. Собственно, в аналогичную ситуацию попал и другой анонимный “певец”, упомянутый в ГВЛ под 1241 г. [ПСРЛ, 2: 794] и получивший в историографии имя *Митуса*. Исследователи давно подозревали, что это “имя” возникло в результате неверного прочтения текста ГВЛ и “образовалось от нарицательного” [Крымский 1904: 45–46]. Н. П. Сидоров совершенно справедливо связал его с лицом, специализировавшимся на антифонном церковном пении — “митуспении” [Сидоров 1950: 172–173].

Музыка кобыза сопровождала пение, тюркский певец играл на нем, немного варьируя мелодию. Следовательно, летописец не характерным для половецкой среды термином *гудец* обозначил половецкого певца — сказителя, сопровождавшего свою песню игрой на кобызе. *Жырау* — хранитель словесного наследия народа, аккомпанирующий себе на кобызе, исполнитель эпических произведений и исторических песен. Во время войны жырау находились впереди воинов и поднимали их боевой дух. Большое место занимали они в прорицании будущего. Это был тип вещего поэта, находившегося при ставке хана и дававшего ему советы при решении общегосударственных вопросов.

В тексте панегирика князю Роману *жырау* представлен в качестве посла, отправленного обездоленным ханом Сырчаном к своему брату хану Атраку. Устные наставления, переданные ханом Сырчаном своему *жырау*, не выходят за рамки тюркской посольской традиции, сложившейся уже к XI в. в том виде, как она передана в тексте “Благодатного знания (Kutadgu Bilik)” Юсуфа Баласагунского. В специальном разделе, посвященном пояснению того, “каким должен быть муж, отправляемый послом”, в частности, рекомендовано послу: “Что скажут, запомни, но в

сердце держи”. Посол — это тот, кто “[с]тихи понимает и сам создает”. Ему “должно знать звезды и сны толковать — // По их показаньям уметь врачевать” [Благодатное знание 1983: 212]. Все эти качества, судя по всему, были присущи посланнику хана Сырчана, ср. из процитированного выше: “молви же емоу моя словеса. Пой же емоу п’ѣсни Половѣцкия. Оже ти не восхочеть, дай ему поухати зелья, именемь евшан”.

В. Радлов, опубликовавший текст Каирской рукописи “Kutadgu Bilik”, выполненный на уйгурском языке, снабдил его построчным переводом на немецкий. Строфа, содержащая сведения о стихотворчестве посла, выглядит в переводе В. Радлова следующим образом: “Kenne Gedichte und dichte selbst” [RADLOFF 1910: 232]. С. Иванов перевел эту строку как “стихи понимает и сам создает”. На такое понимание наталкивал русский перевод самого В. Радлова: “Пусть он читает книги и понимает слова, пусть он знает стихи и сам сочиняет” [Радлов 1911: 946]. Аналогично выглядит и подстрочник С. Е. Малова: “О, если бы он знал стихи и сам бы составлял их” [Малов 1951: 295]. Однако, в немецком термин *Gedichte* используется и для обозначения эпической поэмы. Думаю, что именно в этом смысле термин *Gedichte* был применен В. Радловым в данном случае. Словом *Gedichte* В. Радлов перевел стоящий в рукописи тюркский термин *шајыр*, переводимый исследователем как *песня* [Радлов 1911: 946]. Этимология *шајыр* связана с *жыр*, переведенным в Словаре В. Радлова как “песня, импровизация без разделения на куплеты, скорбная песня, причитание” [там же: 120]⁴. В. Радловым термины *жыр* и *жырау* связаны совершенно определенно в смысловом значении. Л. Будагов рассматривал оба термина как однокоренные [Будагов 1871: 338]. Е. Турсунов утверждает, что “по всем законам тюркской грамматики [. . .] «жырау» является трансформированной формой древнетюркского «йырагу», сохранив то же самое значение” [Турсунов 1999: 204]. Таким образом, смеем утверждать, что тюркский посол обязан был быть *жырау*, то есть знать и исполнять *жыры* или *йыры* (эпические сказания) [Смирнова 1952: 40] либо исполнять поэзию героического эпоса, что предполагало овладение навыками гудца. Никто, кроме профессионального *жырау*, не мог лучше с этим справиться, а значит, быть послан в качестве посла, так как никто не обладал соответствующими исполнительскими навыками.

Из текста “Kutadgu Bilik” нам известно, что тюркский посол должен был обладать и навыками в медицине. Вслед за указанием на то, что посол должен был владеть навыками песнетворчества, в следующей строке говорится: “Er kenne die Astrologie und Medicin, deute Träume”

⁴ “Ыр — под этим названием объединилось все многообразие стихотворных произведений как лирических, так и эпических” [Богданова 1943: 149].

[RADLOFF 1910: 232]. С. Е. Малов перевел эту строчку следующим образом: “О, если бы он знал астрономию, медицину и знал толковать сны” [МАЛОВ 1951: 295]. Из перевода текста, выполненного В. Радловым, становится понятно, что тюркские послы пользовались весьма специфическими медицинскими препаратами, которые вводили пациента в гипнотическое состояние и которые летописец совершенно справедливо обозначил как “зелье”⁵. Это поясняет, почему хан Сырчан напомнил своему гудцу, отправленному к хану Атраку, чтобы в том случае, если исполнение им эпических сказаний не подействует на хана Атрака, он использовал бы зелье: “Оже ти не восхочеть, даи ему поухати зелья, именем евшанъ”.

Не совсем понятно, почему зелье нужно было давать нюхать. В любом случае его использование должно было стать последним аргументом, после применения которого хан Атрак должен был вернуться в родные степи, т. е. принять предложение своего брата. Так и вышло — хан Атрак не откликнулся на обращение хана Сырчана, “а воротися брате поиди в землю свою”. Поэтому посол-*жырау* “дать ему зелье”. Понюхав это зелье (летописец не упустил возможности второй раз подчеркнуть способность его воздействия), хан Атрак расплакался (!) и “приде во свою землю”.

В Библии упоминается пять очень сильных наркотиков, в число которых входил и упомянутый ханом Сырчаном евшан, то есть полынь. Полынь (греч. *πικρία*, др.-евр. *la'ānā* ‘горечь, горькая трава’) может иметь некоторые галлюциногенные свойства. Греческое слово *πικρία* обладает тем же смыслом, что и еврейский эквивалент *la'ānā*, которое означает также ‘проклятие’. Библейские аллюзии на полынь достаточно красноречивы:

Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью [. . .] Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи (Плач 3:15, 19);

О, вы, которые суд превращаете в отраву (полынь) и правду повергаете на землю! [. . .] Вы между тем суд превращаете в яд и плод правды в горечь (Ам 5:7, 6:12);

[. . .] но последствия от нее горьки, как полынь (Притч 5:4).

⁵ “Нет сомнения в том, — пишет Е. Турсунов, — что это все гипнотические номера” [Турсунов 1999: 92]. Долгая игра на музыкальном инструменте (бубне или кобызе), пишет исследователь, сопровождаемая пением или заклинанием низким или, наоборот, высоким голосом “имеют целью привести зрителей в легкое гипнотическое состояние”. Т. е. тюркский посол должен был не “толковать сны” своего адресата, как пишет С. Е. Малов, что выглядело бы достаточно странно, а воздействовать на него с помощью гипноза. Последствия их гипнотического воздействия могли выглядеть и менее безобидными, чем всхлипывания хана Атрака. Во время камлания казахских баксы юрта, в которой проходил обряд, якобы наполнялась водой, в которой плавали крупные рыбы. Баксы ловил их и по одной раздавал всем присутствующим. Когда затем баксы приказывал вернуть ему рыб, оказывалось, что нет ни воды, ни рыб, а каждый держит в руках свой детородный орган [Худяков 1969: 347]. Но такая особенность психологического воздействия приписывается исследователями шаманам — баксы, но не певцам — *жырау*.

Наконец, звезда Апокалипсиса тоже именовалась полынью (Откр 8:11, греч. ἄψινθος).

Трудно предположить, что на самом деле предложил *жырау* понюхать изгнанному князем Владимиром Мономахом хану Атраку, который после этого расплакался. Но в представлениях христианского читателя это не должно было выглядеть как этнографическое наблюдение. Знаковую фигуру гудца мы обнаруживаем в уже упоминавшемся тексте св. Ипполита, который в Сказании цитирует Апокалипсис:

... да погразнетъ гра̑ великїи вавилонъ, ѿ не ѡбращетса к томѸ гла̑ гд̑ца [. . .] не ѿмать слъшатиса к томѸ. ѿ всѧ хытреца всакїа хитрости не ѡбращетса в тебѧ [. . .] тако въ чародѣянии твоємъ. прельстиса вса страны [Ипполит 1868: 61].

В Вавилоне накануне его разрушения “гласъ гудьца не имать слышатиса”, что мы и обнаруживаем в исследуемом отрывке из “Похвалы”: “Оному [Атраку. — В. С.] же не восхотѣвшю [. . .] послушати”. О. П. Лихачева перевела текст следующим образом: “После смерти Владимира у Сырчана остался единственный гудец Ор” [Лихачева 1997: 185]; Л. Е. Махновец — аналогично: “По смерті ж Володимировій остався у Сирчана один лиш музика Ор” [ЛР 1989: 368]. Как видно, переводчики уверенно поясняют фразу *оставшю единомоу гоудьцю* как ‘остался один-единственный музыкант’, хотя *единый* в этом контексте может означать и ‘некий’, и ‘последний’.

Изменить решение Атрака удалось с помощью “всякия хитрости”, а именно дав понюхать “ему зелие”, то есть с помощью “чародеяния прельстивша”, как в тексте Сказания. Так Половецкая земля сопоставляется летописцем с Вавилонским царством, крушение которого должно означать окончательную победу учения Христа. Она находилась в преддверии этого события, так как в ней еще “остался последний гудец” — *жырау*.

В конце “Похвалы” о несимпатичном автору половецком хане Кончаке⁶ помещено странное по отношению к кочевнику замечание о том, что он “пѣшь ходя”. Так же характеризовался в тексте ГВЛ под 1248 г. волхв Скомонд:

Скомондъ бо бѣ волхвъ и кобникъ нарочить, борзъ же бѣ яко и звѣрь, пѣшь бо ходя повоева землю Пиньскую [. . .] и убьнь бысть нечестивый. И глава его взотъчена бысть на коль [ПСРЛ, 2: 799–800].

Звериная быстрота Скомонда, по мысли летописца, не противоречила формуле “пѣшь ходя”. Внехристианское позиционирование обоих героев роднит их с еще одним язычником — князем Святославом, который

⁶ Пожалуй, только С. А. Плетнева увидела, что в данном случае “о нем говорится в благожелательно-похвальном тоне” [Плетнева 1990: 168].

“легко ходя, аки пардусъ”. Можно подумать, что таким образом маркировался христианский антигерой, воплощавшийся в образе Зверя.

Но мы помним, что “Похвала” начинается с того, что о князе Романе сообщается, что он “ходяще по заповѣдемъ Божиимъ”. Следовательно, сочетание *тишь ходя* следует рассматривать в качестве антонимичной характеристики князя Романа. Противоположным следованию Божиим заповедям, конечно же, является сотрудничество с антихристом. Св. Ипполит цитирует из пророка Даниила (Дан 7, 13:4) о первом звере Апокалипсиса: “И на ногахъ своихъ ста”. Автор толкует это следующим образом:

Львицу рекъ въсходящю ѿ мора. вавулоньскоѣ цѣрство. съказаць бывъше въ мирѣ. то бо естъ образоу златаѣ глѣва. А кже то рѣ пера ки акы орьлоу. яко ѿтаса ѿ него слава юго. ѿгънанъ бо бы ѿ цѣрства своѣго [. . .] и на ногу члѣвческоу ста [Ипполит 1868: 34–35].

Как видим, автор “Похвалы” достаточно определенно пытался создать образ униженного половецкого хана, лишившегося своей славы. Упомянутый образ с золотой головой — это, очевидно, известный библейский идол царя Навуходоносора, разрушенный чудесным образом огромным камнем. В конце концов от него остался лишь “прахъ от гумна”. Но в данном случае под пером галицкого летописца он представлен в стадии разрушения. Так, хан Кончак представлен как туловище, которое “котель нося на плечу”, а волхв Скомонд под 1248 г. как голова без туловища: “глава его взотъчена бысть на колъ”. Это свидетельствует о цельности замысла галицкого летописца в описании событий 1201–1252 гг.

Давно установлено, что южнорусское летописание пронизано эсхатологическими ожиданиями, особенно усилившимися в первой половине XIII в. Они питались идеями библейских текстов, но образно и лексически оформлялись в основном при посредничестве переводных греческих трактатов, в которых эти идеи уже были облечены в соответствующие литературные формулы, в которых они, в основном, и заимствовались создателями древнерусских текстов. Между тем древнерусская литература не была безучастным потребителем импортируемых апокалиптических образов, но активно включалась в их разработку и переосмысление [Ставиский 1989: 136–139]. Этот всеобъемлющий процесс происходил в различных литературных формах, а его активность была обусловлена повышенной социальной и индивидуальной значимостью переживания перехода от жизни земной к жизни вечной. Тем не менее зачастую современными исследователями слабо различим апокалиптический подтекст древнерусских литературных образов в силу того, что функционировали они в контексте средневековой традиции мировосприятия. Текст “Похвалы” князю Роману Мстиславичу, как нам кажется, не является исключением.

Библиография

Источники

БЛАГОДАТНОЕ ЗНАНИЕ 1983

ЮСУФ БАЛАСАГУНСКИЙ, *Благодатное знание*, С. Н. ИВАНОВ, пер., Москва, 1983.

ГВЛ 1990

“Галицко-Волынская летопись”, в: *The Old Rus' Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz'kyj (Xlebnikov) and Četvertyn'skyj (Pogodin) Codices* (= Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts, 8), Cambridge (MA), 1990.

Ипполит 1868

Слово святого Ипполита об антихристе в славянском переводе по списку XII в., К. НЕВОСТРУЕВ, ред., 2, Москва, 1868, разд. II.

— 1899

“Ипполита, епископа римского, изложение о Христе и антихристе”, в: *Творения святого Ипполита епископа римского в русском переводе*, 2, Казань, 1899, 9–46.

Истрин 1897

ИСТРИН В. М., *Откровение Мефодия Патарского и апокрифические видения Даниила в византийской и славяно-русской литературах. Исследование и тексты*, Москва, 1897, разд. В.

— 1994

ИСТРИН В. М., *Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе*, Москва, 1994.

КАРТЛИС ЦХОВРЕБА 2008

Картлис цховреба. История Грузии, Р. МЕТРЕВЕЛИ, ред., Тбилиси, 2008.

ЛР 1989

МИШАНИЧ О. В., відп. ред., МАХНОВЕЦЬ Л. Є., пер., *Літопис Руський*, Київ, 1989.

МАЛОВ 1951

МАЛОВ С. Е., *Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования*, Москва, Ленинград, 1951.

ПСРЛ, 2

Полное собрание русских летописей, изданное по Высочайшему повелению Имп. Археографической комиссией, 2: А. А. ШАХМАТОВ, подгот., *Ипатьевская летопись*, изд. 2-е, С.-Петербург, 1908.

Слово Даниила Заточника

ЗАРУБИН Н. Н., подг., *Слово Даниила Заточника по редакциям XII–XIII вв. и их переделкам*, Ленинград, 1932.

СРЕЗНЕВСКИЙ 1874

Сказания об антихристе в славянских переводах с замечаниями о славянских переводах творений св. Ипполита, С.-Петербург, 1874.

Тр121

Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва), ф. 304.1 (Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры), № 121, *Апокалипсис толковый Андрея кесарийского и Богословие Иоанна Дамаскина с прибавлением*, кон. XIV в.

RADLOFF 1910

RADLOFF W., *Das Kudatku Bilik des Jusuf Ghass Hadschib aus Balasagun*, 2: *Text und Übersetzung nach den Handschriften von Wien und Kairo*, St.-Petersburg, 1910.

Словари

Будагов 1871

Будагов Л. З., *Сравнительный словарь турецко-татарских наречий*, 2, С.-Петербург, 1871.

Радлов 1911

Радлов В. В., *Опыт словаря тюркских наречий*, 4/1, С.-Петербург, 1911.

СДРЯ XI–XIV вв., 5

Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.), Москва, 5, 2002.

СРЕЗНЕВСКИЙ 1912

СРЕЗНЕВСКИЙ И. И., *Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам*, 3, С.-Петербург, 1912.

Литература

АЛЕКСЕЕВ, ЛИХАЧЕВА 1987

АЛЕКСЕЕВ А. А., ЛИХАЧЕВА О. П., “К текстологической истории древнеславянского Апокалипсиса”, в: М. В. Кукушкина, ред., *Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной и редкой книги*. 1985, Ленинград, 1987, 8–22.

БЕЛОВА 2000

БЕЛОВА О. В., *Славянский бестиарий*, Москва, 2000.

БОГДАНОВА 1943

БОГДАНОВА М., “Некоторые данные по классификации киргизского фольклора”, в: *Труды киргизского филиала АН СССР*, 1/1, Фрунзе, 1943, 147–156.

КОТЛЯР 2005

КОТЛЯР Н. Ф., “Комментарий”, в: Он же, В. Ю. Франчук, А. Г. Плахонин, сост., *Галицко-Волынская летопись. Текст. Комментарий. Исследование*, С.-Петербург, 2005, 177–368.

КРЫМСКИЙ 1904

КРЫМСКИЙ А. Е., *Филология и погодинская гипотеза: Дает ли филология малейшие основания поддерживать гипотезу г. Погодина и г. Соболевского о галицко-волыньском происхождении малоруссов*, Киев, 1904.

ЛИХАЧЕВ 1947

ЛИХАЧЕВ Д. С., “Галицкая литературная традиция в житии Александра Невского”, в: *Труды Отдела древнерусской литературы*, 5, Москва, Ленинград, 1947, 36–56.

ЛИХАЧЕВА 1997

ЛИХАЧЕВА О. П., пер., коммент., “Галицко-Волыньская летопись”, в: Д. С. Лихачев, Л. А. Дмитриев, А. А. Алексеев, Н. В. Поньрко, ред., *Библиотека литературы Древней Руси*, 5: XIII век, С.-Петербург, 1997, 184–357, 482–515.

ОРЛОВ 1916

ОРЛОВ А. С., *Лекции по истории древней русской литературы*, Москва, 1916.

——— 1926

ОРЛОВ А. С., “К вопросу об Ипатьевской летописи”, *Известия Отделения русского языка и словесности*, 31, 1926, 93–126.

ПЛЕТНЕВА 1990

ПЛЕТНЕВА С. А., *Половцы*, Москва, 1990.

СИДОРОВ 1950

СИДОРОВ Н. П., “К вопросу об авторах «Слова о полку Игореве»”, в: В. П. Адрианова-ПЕРЕТЦ, ред., *Слово о полку Игореве. Сборник исследований и статей*, Москва, Ленинград, 1950, 164–174.

СМИРНОВА 1952

СМИРНОВА Н. С., “Казахские певцы XVIII века — акыны и жырау”, в: *Краткие сообщения Института востоковедения АН СССР*, 4, Москва, 1952, 39–44.

СТАВИСКИЙ 1989

СТАВИСКИЙ В. И., “Киевская летопись конца 30-х гг. XIII века. Некоторые аспекты историософского содержания”, *Anzeiger für slavische Philologie*, 19, 1989, 135–139.

——— 2014

СТАВИСКИЙ В., “Песни половецкие”, *Ruthenica*, 12, 2014, 172–178.

ТУРСУНОВ 1999

ТУРСУНОВ Е. Д., *Возникновение баксы, акынов, сэри и жырау*, Астана, 1999.

ХУДЯКОВ 1969

ХУДЯКОВ И., *Краткое описание Верхоянского округа*, Ленинград, 1969.

REICHL 1992

REICHL K., *Turkic Oral Epic Poetry: Tradition, Forms, Poetic Structure* (= The Alfred Bates Lord Studies in Oral Tradition, 7), New York, London, 1992.

References

Alekseev A. A., Likhacheva O. P., “K tekstologicheskoi istorii drevneslavianskogo Apokalipsisa,” in: M. V. Kukushkina, ed., *Materialy i soobshcheniia po fondam Otdela rukopisnoi i redkoi knigi. 1985*, Leningrad, 1987, 8–22.

Belova O. V., *Slavianskii bestiarii*, Moscow, 2000.

Bogdanova M., “Nekotorye dannye po klassifikatsii kirgizskogo fol'klora,” in: *Trudy kirgizskogo filiiala AN SSSR*, 1/1, Frunze, 1943, 147–156.

Khudyakov I., *Kratkoe opisaniie Verkhoianskogo okruga*, Leningrad, 1969.

Kotliar N. F., “Kommentarii,” in: Idem, V. Yu. Franchuk, A. G. Plakhonin, eds., *Galitsko-Volynskaia letopis'. Tekst. Kommentarii. Issledovanie*, St. Petersburg, 2005, 177–368.

Likhachev D. S., “Galitskaia literaturnaia traditsiia v zhitii Aleksandra Nevskogo,” in: *Trudy Otdela drevnerusskoi literatury*, 5, Moscow Leningrad, 1947, 36–56.

Likhacheva O. P., transl., comment., “Galitsko-Volynskaia letopis',” in: D. S. Likhachev, L. A. Dmitriev, A. A. Alekseev, N. V. Ponyrko, eds., *Biblioteka literatury Drevnei Rusi*, 5: *XIII vek*, St. Petersburg, 1997, 184–357, 482–515.

Orlov A. S., “K voprosu ob Ipat'evskoi letopisi,” *Izvestiia Otdeleniia russkogo iazyka i slovesnosti*, 31, 1926, 93–126.

Pletneva S. A., *Polovtsy*, Moscow, 1990.

Reichl K., *Turkic Oral Epic Poetry: Tradition, Forms, Poetic Structure* (= The Alfred Bates Lord Studies in Oral Tradition, 7), New York, London, 1992.

Sidorov N. P., “K voprosu ob avtorakh «Slova o polku Igoreve»,” in: V. P. Adrianova-Peretts, ed., *Slovo o polku Igoreve. Sbornik issledovaniia i statei*, Moscow, Leningrad, 1950, 164–174.

Smirnova N. S., “Kazakhskie pevtsy XVIII veka — akyny i zhyrau,” in: *Kratkie soobshcheniia Instituta vostokovedeniia AN SSSR*, 4, Moscow, 1952, 39–44.

Stavyskyi V. I., “Kievskaiia letopis' kontsa 30-kh gg. XIII veka. Nekotorye aspekty istoriosofskogo sodержaniia,” *Anzeiger für slavische Philologie*, 19, 1989, 135–139.

Stavyskyi V. I., “Pesni polovetskie,” *Ruthenica*, 12, 2014, 172–178.

Tursunov E. D., *Vozniknovenie baksy, akynov, seri i zhyrau*, Astana, 1999.

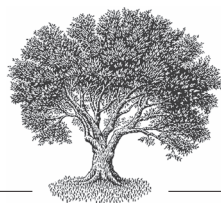
Вадим Ізяславович Стависький, канд. іст. наук

Незалежний дослідник, Київ

Україна/Ukraine

vstav@ukr.net

Received on December 24, 2014



“Задонщина”,
Рязань и московская
великокняжеская
семья

Zadonshchina,
Ryazan, and the
Moscow Princely
Family

**Александр Владимирович
Лаврентьев**

Национальный исследовательский
университет Высшая школа экономики,
Москва, Россия

Alexander V. Lavrentyev

National Research University Higher
School of Economics, Moscow, Russia

Резюме

Статья посвящена вопросам истории и происхождения выдающегося памятника литературы Древней Руси — “Задонщины”, воспевающей победу объединенных сил русских князей над Ордой на Куликовом поле 8 сентября 1380 г. Приводятся аргументы в пользу рязанского происхождения текста. Предпринимается попытка аргументированно объяснить наличие в тексте двух “главных героев”, великого князя Дмитрия Ивановича и его двоюродного брата Владимира Андреевича Серпуховского. Формальное соправительство “братьев” стало результатом потерь дома московских князей от чумы, поставивших династию на грань выживания. Эта особенность политической ситуации нашла свое отражение в “Задонщине”.

Ключевые слова

древнерусская литература, XIV век, “Задонщина”, великий князь Дмитрий Иванович, Рязань, Софония Рязанец

Abstract

This paper is devoted to the history and controversies surrounding the outstanding representative of Russian medieval literature from the late 14th century, the famous *Zadonshchina*. This work glorifies the military victory of the united forces

of the Russian troops, led by Grand Prince Dmitry Donskoy, over the Tatar army on 8 September 1380, at Kulikovo Field near the Don River. This article presents arguments in favor of a Ryazan origin of the *Zadonshchina* text; furthermore, the article offers an explanation of the presence in the text of two “protagonists,” Grand Prince Dmitry Ivanovich and his cousin, Vladimir Andreyevich the Bold, Prince of Serpukhov. The joint rule of the “brothers” was a result of deaths caused by the plague in the Moscow ruling house, which took the dynasty to the brink of extinction. This feature of the political situation is reflected in the *Zadonshchina* text.

Keywords

Old Russian literature, 14th century, *Zadonshchina*, Dmitry Donskoy, Ryazan, Sofonia Ryazanets

Я и сама дальняя, — может,
изволили слышать: рязан-
ская, — а тот край еще ниже
будет, в Задонщине.

И. А. Бунин. Баллада

Выдающемуся памятнику древнерусской литературы, поэтическому отклику на победу войск коалиции русских княжеств во главе с Москвой над ордынцами на Куликовом поле 8 сентября 1380 г. (в некоторых списках присутствует жанровая самохарактеристика сочинения: “сказание”, “слово”, “похвала и жалоба”), посвящена обширная исследовательская литература [ДМИТРИЕВ 1988: 345–352]. “Задонщина” издана как отдельными списками, дошедшими до наших дней (их, как известно, шесть, разной степени полноты [ТАМ ЖЕ: 345–346]), так и в виде опытов реконструкции архетипного текста [ОН ЖЕ 1982: 309].

Предмет настоящей статьи — два сюжета, связанные с автором и одним из главных героев “Задонщины”: Софонией Рязанцем и князем Владимиром Андреевичем Серпуховским.

В первом сюжете всегда привлекало внимание рязанское происхождение автора, Софонии [ДМИТРИЕВ 1988: 347–348], по понятным причинам вызывающее некоторое недоумение. “Задонщина” воспекает победу московского князя Дмитрия Ивановича, Рязань же не только не была участницей Куликовской битвы, но и как будто бы находилась в 1380 г. в союзнических отношениях с его врагом, Мамаем. Разрешения этой коллизии исследователи искали в гипотетических перипетиях биографии автора, изначально отказывая Рязани в праве быть родиной “Задонщины”.

Второй сюжет связан с почти повсеместным присутствием в тексте рядом с именем Дмитрия Ивановича имени его двоюродного брата,

серпуховского удельного князя Владимира Андреевича¹. Эта характерная черта “Задонщины”, которую один из исследователей даже счел “необъяснимой” [Соловьев 1958: 193], свойственна, однако, не только ей.

Постоянное совместное упоминание Дмитрия Ивановича и Владимира Андреевича отмечено также в одной из двух редакций летописных повестей о Куликовской битве (в другой, равно как и в многочисленных редакциях “Сказания о Мамаевом побоище”, имя Владимира Андреевича, разумеется, присутствует, но в них Дмитрий Иванович действует в качестве полководца единолично). Речь идет о летописном рассказе о битве, восходящем к Новгородско-Софийскому своду 30-х гг. XV в. [Памятники 1998: 22–23, 47]², и если правы те исследователи, которые считают именно этот текст старейшим летописным рассказом о Куликовской битве, относя протограф к 90-м гг. XIV в. [там же: 47; Мазуров, Никандров 2008: 87], то, наверное, соединение имен двоюродных братьев надо счесть неслучайным, поскольку “Задонщина” датируется почти тем же временем³.

Сопряженность в тексте памятника имен двух несопоставимых по статусу князей расценивается как равновеликий великокняжескому вклад удельного двоюродного брата Дмитрия Ивановича в победу на Дону, что как вызывает сомнения⁴, так и считается “полностью соответствующим реальности” [Мазуров, Никандров 2008: 87].

Если последнее все-таки верно, то поиск в перипетиях гипотетической биографии рязанского автора каких-то следов возможных связей его с Владимиром Андреевичем и серпуховским двором представляется логичным, равно как и наличие у автора неких сервильных мотивов,

¹ “Задонщина великого князя [. . .] Дмитрия Ивановича и брата его князя Володимера Андреевича”, “князь великий Дмитрий Ивановичъ и братъ его князь Володимеръ Одреевичъ поостриша сердца свои”, “Жаворонок [. . .] пои славу великому князю Дмитрею Ивановичю и брату его князю Володимеру Одреевичю” [Памятники 1998: 89–90]. Цитируется Кирилло-Белозерский список “Задонщины”, но число примеров можно легко умножить [Ржигя 1959б: 377].

² Оно присутствует в Софийской I летописи старшего извода, являясь “текстологической особенностью этого рассказа о битве” [Памятники 1998: 47].

³ “Ни в самом тексте [. . .] ни в каких-либо других источниках указаний на время создания ее нет. По совокупности ряда косвенных признаков многие исследователи датируют [“Задонщину”. — А. Л.] 80-ми годами XIV в.” [Дмитриев 1988: 346–347] или даже считают ее созданной не позднее чем через год-два после битвы [Кучкин 1985: 118].

⁴ М. Н. Тихомиров отмечал, например, что “Сказание о Мамаевом побоище”, в тексте которого речь идет о ранении Дмитрия Ивановича в ходе Куликовской битвы и едва ли не переходе управления сражением к Владимиру Андреевичу, содержит “клевету” на великого князя московского [Тихомиров 1959: 370–372]. Если это действительно “клевета”, то речь надо в первую очередь вести о “Задонщине”, согласно которой великий князь не принимает практически ни одного решения (начиная с самого главного — похода навстречу ордынцам) без совета с двоюродным братом.

двигавших сочинителем “похвалы и жалобы” с целью возвысить вклад в победу Владимира Андреевича.

Во многом неясный вопрос с социальным статусом и биографией автора “Задонщины”, которую надо было как-то согласовать с его рязанским происхождением, одновременно объясняя не встречающееся в других памятниках Куликовского цикла регулярное присутствие имени серпуховского князя, зачастую вынуждал исследователей строить остроумные, но громоздкие схемы перипетий биографии рязанского автора сочинения [Шамбинаго 1906: 133–134; Ржига 1959А: 401–403; Соловьев 1958: 184–191].

Как кажется, два вышеозначенных вопроса разрешимы, если исходить из исторических реалий XIV в., а ответы на них могут дать дополнительные аргументы в пользу датировки памятника 1380-ми гг., а также в пользу рязанского происхождения автора.

Имя Софония Рязанца с определениями “старец”, “ереи” присутствует в заглавии двух из известных ныне шести списков “Задонщины” [Памятники 1998: 89, 97], в других списках имя Софония / Софоний⁵ включено непосредственно в текст [там же: 97, 113, 126]. В Тверской летописи под 1380 г. вставлен отрывок, близкий отдельными чтениями к “Задонщине”, где Софония охарактеризован как “рязанец брянский боярин” [ПСРЛ, 15: 440]⁶.

Независимо от отношения этого Софонии к “Задонщине” (высказывались мнения, что он — автор другого поэтического сочинения, посвященного Куликовской битве, или даже, возможно, и не его, а памятника едва ли не XIII в., использованного, как и “Слово о полку Игореве”, анонимным, в таком случае, сочинителем “жалости и похвалы” XIV в. [Дмитриев 1988: 348–349]⁷), а также того, насколько реальны иерейство, иночество и брянское боярство этого рязанца, что не всегда в историографии расценивается как достоверная информация [там же: 348] (существует, кроме всего прочего, гипотеза об идентичности Софонии Рязанца и известного по жалованной грамоте великого князя рязанского Олега Ивановича 1371 г. рязанского боярина Софонии Алтыкулачевича [Ржига 1959А: 404–405]⁸),

⁵ Написания имени колеблются: *Софоний*, *Сафон*, *Ефоний* и пр. [Памятники 1998: 89, 97, 113, 116], но библейская форма имени ветхозаветного пророка — *Софония*. Имя не принадлежит к числу редко встречающихся в эпоху Куликовской битвы, но бытует не в аристократической, а исключительно в крестьянской среде [Wójtowicz 1986: 278].

⁶ “А се писание Софония Рязанца, Брянского боярина”.

⁷ А. А. Горский полагает, что рязанец Софония был автором гораздо более раннего произведения, посвященного не Куликовской битве, а Батьеву нашествию XIII в. [Горский А. А. 1992: 136–137].

⁸ Первым на существование рязанского боярина — тезки Софонии — обратил внимание А. Д. Седельников [1930].

сомнений в рязанском происхождении панегириста московского князя и его двоюродного брата — победителей Мамаея — как будто бы не высказывалось, а имя рязанца Софонии читалось, так или иначе, уже в оригинале памятника [Памятники 1998: 92].

Могло ли быть так, что “жалость и похвала” московскому князю и его “брату” родилась под пером не только уроженца (что как будто бы и без того очевидно), но даже и жителя Рязани и, соответственно, подданного великого князя рязанского Олега Ивановича? Считается, что последнее невозможно, автор “похвалы” мог быть рязанцем только по рождению или по ранним службам, которые к 1380 г. остались в прошлом, а в год Куликовской битвы сочинитель никак со своей “малой родиной” связан не был, служа, очевидно, князьям-победителям, и скорее всего — воспетому почти на равных с Дмитрием Ивановичем Владимиру Андреевичу [Ржиги 1959А: 401].

В то же время в тексте некоторых списков пространной редакции “Задонщины” исследователи находят черты, указывающие на связь автора с Рязанью. Это, во-первых, его знакомство с памятником рязанской литературы — “Повестью о разорении Рязани Батыем” [Лихачев Д. 1978: 366–370; Горский А. А. 1992: 136–137] и, во-вторых, “рязанский патриотизм” сочинителя, выразившийся в полном отсутствии упоминаний в “Задонщине” рязанского великого князя Олега Ивановича [Ржиги 1959Б: 392–393]⁹, вроде бы негативного “героя” событий 1380 г., и наоборот, наличие в списке погибших в сражении совершенно мифических “70 бояринов рязанских” [Памятники 1998: 119, 131], в недостоверности чего нет никаких сомнений [Ржиги 1959Б: 393]¹⁰.

Как представляется, к Рязани “тянут” не столько рязанские “бояре”, сколько гидронимия и топонимия “Задонщины” (об этом ниже).

Начать же надо с одного существенного момента, касающегося взаимоотношений Москвы и Рязани. Очевидное неучастие Олега Ивановича в битве 8 сентября 1380 г. и даже инкриминируемые ему в некоторых памятниках Куликовского цикла весьма сомнительные с точки зрения логики антимосковские действия вроде нападений на московские полки после победного сражения [Лаврентьев 2011: 34–38, 41–45], а также существование союза рязанского князя с Мамаем¹¹, совершенно не

⁹ Рязанский князь, как известно, — антигерой других памятников Куликовского цикла, летописных повестей и “Сказания о Мамаевом побоище”.

¹⁰ “Недоумение вызывает [. . .] указание на павших рязанских бояр, причем число их превышает число бояр от какого-либо другого города, даже от Москвы. Это явно недостоверное известие об участии рязанских бояр в Куликовской битве может свидетельствовать об использовании в «Задонщине» сочинения о битве, созданного рязанцем” [Памятники 1998: 122–123].

¹¹ “Существование рязанско-ордынского союза в 1380 г., скорее всего, недостоверно” [Памятники 1998: 49].

означали, что взаимоотношения Москвы и Рязани всегда отличались конфронтацией.

Оба великих князя, судя по всему ровесники, вступили на престолы почти одновременно, еще детьми. Дмитрий Иванович родился в 1350 г. [ПСРЛ, 15: 60], Олег Иванович впервые упоминается в 1353 г. малолетним (“молод был”), причем в походе рязанцев на московскую Лопасну [там же: 63]. Однако и до Куликовской битвы, и после нее отношения Москвы и Рязани знали периоды как войны, так и мира.

Если в начале зимы 1371 г. москвичи разгромили рязанцев у Скорнищева (заметим, на территории Рязанского княжества), и на рязанский стол сел пронский князь, двоюродный брат Олега Ивановича и, надо понимать, на тот момент союзник Дмитрия Ивановича [ПСРЛ, 18: 112; 25: 187], то не позднее осени следующего года Олег Иванович уже вернул себе Рязанское великое княжение [ПСРЛ, 15: 431], т. е., так или иначе, помирился с Москвой. По московско-тверскому докончанию 1375 г. Олег Иванович — третейский судья в конфликтных ситуациях, могущих в будущем возникнуть между Москвой и Тверью¹², и поскольку договор заключался по воле московского князя, великий князь рязанский был четыре года спустя после Скорнищева если не союзником Москвы, то во всяком случае лояльным соседом, чему есть как будто бы и еще одно подтверждение.

Через три года после Тверского похода и за два до Куликовской битвы, 11 августа 1378 г., московские полки под личным руководством великого князя разгромили татар на р. Воже. Одним из двух “крыльев” армии Дмитрия Ивановича¹³ командовал единственный участник победного сражения — не москвич, “князь Данилеи Проньскы”. Пронский князь Даниил Владимирович приходился двоюродным племянником Олегу Ивановичу, и его имя упоминается в летописях один раз и только в связи с битвой на Воже [Кузьмин 2007: 80–83; он же 2008: 47].

Потомки черниговских Рюриковичей, с середины XII в. сидевшие в отколовшемся от Черниговского Рязанском княжестве, поделились, в свою очередь, на две ветви — пронскую и собственно рязанскую — только ко времени Батыева нашествия. Политическое противостояние родственных ветвей изначально одного княжеского дома, растянувшееся до середины XV в. — времени, когда Пронское княжество прекратило свое

¹² “А что ся учинит межи нас [...] дело [...] съедутся бояре наши на рубежь [...] а не оговорятся, ини едутъ на третии на князя великого на Олга”. “А о чем судьи наши вопчии сопрутся, ини едутъ на третии на князя великого на Олга” [Кучкин 2003: 342].

¹³ “И удари на нихъ [татар. — А. Л.] с одну сторону Тимофеи [Вельяминов. — А. Л.] околничии, а с другую сторону князь Данилеи Проньскы, а князь велики [Дмитрий Иванович. — А. Л.] удари въ лице” [ПСРЛ, 15: 134].

существование, войдя в состав рязанского удела [Флоря 1978: 182–184; Лаврентьев 2011: 145–146], — не мешало тем не менее в случае необходимости объединять военные силы для противодействия татарам. Так, в 1365 г., после нападения Тагая на Переяславль, столицу Рязанского княжества, татар преследовала и разгромила “под Шишевским лесом” объединенная рязанско-пронская рать [ПСРЛ, 15: 80], хотя о нападении ордынцев на Пронский удел летопись не сообщает. Во время нашествия на Русь Ольгерда в 1370 г., “другой литовщины”, пронский князь Владимир Дмитриевич, отец участника битвы на Воже, Даниила Пронского, выдвигался на помощь Москве за Оку, в Перемышль, “а с нимъ рать рязаньская” [там же: 94; здесь и далее выделено мною. — А. Л.]¹⁴, надо думать, включавшая в себя и собственно пронские, и рязанские полки. Передачу командования “ратью” пронскому князю объяснить затруднительно.

Возвращаясь к вопросу об участии Даниила Пронского в битве на Воже в составе армии Дмитрия Ивановича, отметим, что обычная практика ведения военных действий на Руси заключалась в том, что в составе объединенных вооруженных сил, ведомых великим князем, удельные князья командовали собственными полками [Пресняков 1918: 56–57].

Состоял ли полк пронского князя в 1378 г. только из собственной дружины Даниила Владимировича, вряд ли многочисленной и явно несопоставимой с рязанской? Восемью годами ранее именно появление за Окой объединенных пронско-рязанских вооруженных сил заставило Ольгерда пойти на переговоры о мире¹⁵. Сражение 1378 г. происходило не на пронских землях¹⁶, а на территории Великого княжества Рязанского¹⁷, так что есть основания полагать, что рязанцы принимали участие в битве на Воже.

Аргументом в пользу участия рязанцев в сражении на стороне Москвы служит также тот факт, что вскоре после победы, “тое же осени”, Рязанское княжество подверглось страшному разгрому, учиненному Мамаем [ПСРЛ, 15: 135].

Если это действительно был карательный поход Орды в отместку за проигранное годом раньше сражение¹⁸ (во время татарского набега

¹⁴ В Симеоновской летописи “рать князя Олга Рязаньского” [ПСРЛ, 18: 110].

¹⁵ “И то слышавъ Олгердь и у бояся и нача мира просити” [ПСРЛ, 15: 34].

¹⁶ Пронское княжество размещалось в среднем течении р. Прони, правого притока Оки. Верховья Прони и ее низовья как до Батыева нашествия, так и после него входили в состав владений великих князей рязанских [Насонов 1951: 211; Морозов 1988: 299–300].

¹⁷ “О побоищи на реце на Воже в Рязанскои земли” [ПСРЛ, 18: 126]; ср.: “Того же лета [. . .] князь великы Дмитрей Ивановичъ [. . .] поиде в землю Рязаньскую и сретеса с татары на реце на Вожи” [ПСРЛ, 25: 199].

¹⁸ Симеоновская летопись прямо увязывает набег на Рязань с разгромом на Воже: “И разгнева же ся зело Мамай и възъярися злобою и тоя же осени [. . .] поиде ратью [. . .] изгономъ на Рязанскую землю” [ПСРЛ, 18: 127].

Олег Иванович скрылся за пределами своего княжества, на противоположном рязанскому московском берегу Оки, под защитой, надо понимать, московского князя¹⁹), то участие рязанцев в битве 11 августа 1378 г. выглядит вполне логичным. В таком случае пронский князь Даниил Владимирович, возможно, командовал в 1378 г., как и его отец в 1370 г., объединенной ратью Пронского и Рязанского княжеств.

О неучастии Рязани в сражении 8 сентября 1380 г. говорилось выше. По результатам Куликовской битвы летом 1381 г. было заключено московско-рязанское окончание, лишившее Рязань суверенитета и части территорий и позднее вызвавшее всплеск военных действий между княжествами. Но в 1385–1386 гг. между великими князьями был установлен “мир вечный” [ПСРЛ, 15: 151], скрепленный год-два спустя браком дочери московского князя Софии Дмитриевны и сына рязанского князя Федора Ольговича [Лаврентьев 2011: 101]²⁰. Последние годы жизни Дмитрий Донской не только находился в мирных отношениях с Рязанью, но и тесно породнился с Олегом Ивановичем.

Таким образом, никаких идейных препятствий для создания рязанцем, подданным Олега Ивановича, похвалы московскому князю — свату великого князя рязанского — после заключения “мира вечного” 1385 г. и свадьбы 1386–1387 гг. не существовало. Не существовало их в любом случае и позже: отношения между рязанским тестем и московским зятем вплоть до кончины первого в 1402 г., похоже, ничем не омрачались, равно как и отношения между севшим “на Рязани” после кончины отца великим князем Федором Ольговичем и его московским свояком, великим князем Василием Дмитриевичем — вокняжение первого отмечено заключением в ноябре 1402 г. нового московско-рязанского договора [ДДГ: 52–54].

Если возвращаться к гипотетической биографии Софонии, точно так же не было никаких препятствий для перемещения рязанских бояр в Москву и наоборот. Так, после убийства в 1356 г. в Москве тысяцкого А. П. Хвоста несколько бояр “отъеха” из Москвы в Рязань, откуда вернулись по призыву отца Дмитрия Донского, великого князя Ивана Ивановича через два года [ПСРЛ, 18: 99]. Известны и случаи перехода бояр на службу от одного князя к другому [Сметанина 1995: 58, 65]. Среди

¹⁹ “И тое же осени [Мамай. — А. Л.] собравъ остаточную силу свою [. . .] поиде [. . .] вборзе безъ вести изгономъ на Рязанскую землю. Князь же Олегъ не приготвился бе и не ста противу ихъ [. . .] но [. . .] перебежа за Оку” [ПСРЛ, 15: 135].

²⁰ Инициатором “вечного мира” и брака был, скорее всего, великий князь московский. Когда после “другой литовщины” Ольгерд “восхоте вечнаго миру” с Москвой, то именно он выступил инициатором брака своей дочери и серпуховского князя, “хотя дати дщерь свою за [. . .] Володимера Андреевича, еже и бысть” [ПСРЛ, 15: 34].

бояр Олега Ивановича одним из первенствующих был некто Семен Федорович Ковыла, по утверждению родословных книг, выехавший служить великому князю рязанскому из Москвы [там же: 58]²¹, надо думать, от Дмитрия Ивановича.

Два слова о “семидесяти боярах рязанских”, сложивших, согласно “Задонщине”, головы в Куликовской битве, в которой рязанцы, напомним, не участвовали. Может быть, имеются в виду рязанцы, павшие на Воже, — в ранних московских летописях обе битвы иногда объединены в единую статью [ПСРЛ, 18: 126]. Но, как представляется, этому во всех отношениях неожиданному компоненту повествования “Задонщины” может быть дано и иное объяснение.

Список погибших в сражении аристократов, суммарно несколько сотен, в который входят и 70 рязанских бояр, возможно, представляет собой не реальное исчисление потерь²², а этикетный мотив “похвалы и жалости”, исключительно литературный пассаж, в котором не стоит искать реального содержания.

На самом деле, достаточно взглянуть на этот список:

40 бояринов московских, 12 князеи белозерских, 30 новгородских посадников, 20 бояринов коломенских, 40 бояр серпуховских, 30 панов литовскихъ, 20 бояр переславских, 25 бояр костромских, 35 бояр володимеровских, 8 боярь суздальских, 40 боярь муромских, 70 бояр резанских, 34 бояринов ростовских, 23 бояр дмитровских, 60 бояр жогайских, 30 бояр звенигородских, 15 бояр углицких²³, —

чтобы убедиться в двух моментах. Во-первых, исчисление потерь зачастую произведено автором “круглыми” цифрами, кратными пяти или десяти, что свидетельствует скорее в пользу “литературного” происхождения этих цифр, во-вторых, в природе не существовало, например, одновременно тридцати новгородских посадников²⁴, равно как и двенадцати князей белозерских²⁵.

²¹ В других родословных росписях рязанский боярин именуется Кобылой Вислым [Лихачев Н. 2007: 270–271]. Не состоял ли этот рязанский Ковыла-Кобыла Вислый в родстве с московскими потомками боярина московских князей середины XIV в. Андрея Ивановича Кобылы — предка, в частности, Романовых?

²² На основе этих данных даже предпринимались попытки вычислить цифру участников сражения [Урланис 1960: 38–40; Кирпичников 1982: 302–303].

²³ Цит. по списку В. М. Ундольского [Памятники 1998: 119], содержащему “наиболее полный текст памятника и имеющему очень важное значение для реконструкции его древнего вида” [там же: 110]. См. также: [Дмитриева 1966а: 209–210].

²⁴ С середины XIV в. в Новгороде избиралось всего шесть пожизненных посадников [Янин 2003: 271–277, 293].

²⁵ На фантастичность этой цифры (“какая нелепость!”) обратил внимание еще Н. М. Карамзин [1993: 249]. В год битвы достоверно известны только

Чаще всего в этом списке фигурируют “бояре”. Если “Задонщина” понимает под ними членов боярской думы — вполне сложившегося к этому времени “правительственного совета князя удельного”, “личный состав высшего управления в княжестве удельного времени” [Ключевский 1902: 123, 127, 129] (такowymi гипотетически могли быть, например, “40 бояр серпуховских”, думцев князя Владимира Андреевича²⁶ или даже “20 бояр переславских”²⁷), — то число бояр великих и удельных князей XIV–XV вв. было, в известных нам случаях, во-первых, значительно меньше приводимых “Задонщиной” значений [там же: 129–130]²⁸, и во-вторых, если речь действительно идет о членах великокняжеской или княжеских дум, то непонятно, кто такие были “бояре коломенские”, “звенигородские”, “володимерские” и др.: города эти не были центрами уделов и не имели своих князей и дум при них²⁹.

Так что и с этой точки зрения к списку погибших русских аристократов, помещенному в “Задонщине”, логичнее относиться как к литературному пассажи, подчеркивающему масштабы и кровопролитность сражения.

два белозерских князя, павшие, кстати, в сражении на Куликовом поле [Экземплярский 1891: 164–165].

²⁶ Бояре серпуховского князя упоминаются в его духовной грамоте 1410 г. [ДДГ: 19–21] и в летописном рассказе о “розмирии” между двоюродными братьями 1389 г. [ПСРЛ, 18: 138], о котором ниже.

²⁷ Перешедшему после литовского похода 1379 г. на московскую службу “съ бояры своими” трубчевскому князю Дмитрию Ольгердовичу великий князь “дать [. . .] градъ Переяславль и со всеми его пошлинами” [ПСРЛ, 18: 129].

²⁸ Вообще мифологизация числа бояр не была чертой только “Задонщины”. В известной жалованной грамоте Олега Ивановича Ольгову монастырю 1371 г. упоминается легендарное пожалование трех рязанских князей предыдущего столетия той же обители, данное ими с тремястами боярами, по сотне на каждого князя [АСЭИ: 351], и, как заметил Б. А. Романов, Олег Иванович с его скромным десятком-другим “думцев” XIV в. — “совсем пигмей на фоне феерии XIII в., поражающей своими масштабами” [Романов 1940: 212]. Впрочем, если под “боярами” понимать не только членов думы, то их количество, полагает А. Ю. Дворниченко, “не должно удивлять”: автор считает, что в документе говорится не столько о боярах, сколько о “боярских родах” [Дворниченко 1996: 302]. Но и род с таким количеством одновременно здравствующих однородцев мужского пола — это нечто не поддающееся объяснению.

²⁹ Известны летописные упоминания о присутствии бояр в городах Великого княжества Московского. Так, в 1372 г. в принадлежавшем Москве Дмитрове великим князем тверским были пленены некие бояре, надо думать, московские, а в 1385 г. в московской же Коломне Олегом Ивановичем Рязанским были пленены московские бояре [ПСРЛ, 15: 99, 151]. Характерно, что оба пленения пришлись на пасхальные торжества, первое “по Велице дни на Фомину неделю”, т. е. в первое воскресенье по Пасхе, второе “на Лазареву субботу”, т. е. за неделю до праздника. Относительно Коломны высказывалось предположение, что московские бояре оказались в городе в это время в связи с изъятием великокняжеских доходов с города, производившимся регулярно как раз “на Велик день”, что было дополнительным стимулом для рязанцев захватить город именно в эти дни [Лаврентьев 2011: 62–63]. Не связано ли появление в Дмитрове московских бояр, плененных тверичами, с такими же фискальными целями?

Теперь о соседстве в “Задонщине” имен великого князя московского Дмитрия Ивановича и Владимира Андреевича, зачастую (о чем писалось выше) заставлявшем исследователей напрямую связывать автора с двором серпуховского князя. Сочинителем “Задонщины”, как представляется, точно учтен не столько реальный ход принятия политических и военных решений перед и во время Куликовской битвы, о которых мы можем только догадываться (будем помнить, что “Задонщина” — все-таки литературный памятник, а не отчет о битве), сколько династическая ситуация, сложившаяся в доме наследников Калиты к 1380 г., “братство” двоюродных братьев, их своеобразное соправительство.

Древнерусское *брат* (именно так в “Задонщине” Дмитрий Иванович обращается к Владимиру Андреевичу), наиболее употребительное определение среди родственных названий, не знало степеней родства (родной, двоюродный, троюродный), но в любом случае означало равноправие “независимых владетелей, которых соединяет [. . .] общее происхождение от единого родоначальника” [Галяшкин 1898: 244]. Еще в домонгольское время определение “брат” стало на Руси термином “внутренней междукняжеской дипломатии” [Пашуто 1984: 15].

“Братство” Дмитрия Ивановича и Владимира Андреевича было рассчитано на “внешнее” предъявление, декларировало особые отношения двоюродных братьев в первую очередь перед соседями. Докончания с другими великими князьями великий князь московский заключал не только от своего имени, но и от имени “брата”, и это ссыла не на родство, а на статус Владимира Андреевича, в связи с чем, например, удельный серпуховской князь оказался “братом” аж великим князьям тверскому Михаилу Александровичу и рязанскому Олегу Ивановичу [Хорошкевич 1980б: 170–175].

В Рогожском летописце Владимир Андреевич дважды титулуется “князем Московским” [ПСРЛ, 15: 90, 99], причем, что характерно, в ситуациях, когда “брат” действовал на международной арене от имени великого князя. В первом случае, в 1368 г., “князь Володимерь Андреевич Московьскый ходиль въ Новгород Великый псковичемъ на помочь” с целью, как полагает В. А. Кучкин, повлиять в интересах Москвы на отношения Новгорода с Орденом [Кучкин 2003: 113, 217], а три года спустя “князь Володимер Андреевич Московскый оженися оу князя оу великаго оу Олгерда”.

Как известно, великие князья владимирские считались суверенами Великого Новгорода, но сами там не “сидели”, со времен Калиты посылая в Новгород своих сыновей. Дмитрий Иванович женился в 1366 г., В. Н. Татищев сообщает, что ровно в год поездки Владимира Андреевича у великого князя родился первенец [Мазуров 2012: 13], который,

естественно, ни с какой миссией послан быть не мог. Что же до женитьбы 1370 г., то брак этот формально скрепил мир не между серпуховским удельным князем и Литвой, а между Литвой и Москвой.

Зримым воплощением “братства” было совместное “держание” внуками Калиты Москвы. Столица княжения Дмитрия Ивановича считалась совместной вотчиной двоюродных братьев [Хорошкевич 1980б: 171; Мазуров, Никандров 2008: 72–76], в которой Владимир Андреевич, брат (повторимся, не родной, а двоюродный) и формально держатель собственного удела, владел третью.

Этот опыт совместного управления Москвой XIV в. был востребован вплоть до XVI в. Устраивая в духовной грамоте на случай своей кончины отношения между сыновьями — царевичами Иваном и Федором Ивановичами, Грозный в 1572 г. ссылался на давний опыт своего предка по разделению полномочий: старший “держит на Москве болшого своего наместника по старине”, младший — “другого наместника [. . .] на трети на княж Володимерской Андреевича Донского на Москве ж” [ДДГ: 434].

Возвращаясь в эпоху Дмитрия Донского, заметим, что внутри семьи отношения между “братьями” в то же время оставались в рамках привычных норм взаимоотношений “брата стареишего” — великого князя, и удельного “брата молодшего”. Осенью 1364 – в начале зимы 1365 гг. двоюродные братья заключили первый договор, регламентировавший это неравенство в отношениях. Обязательство действовать “заодин” при решении всех внутримосковских и внешнеполитических вопросов [Кучкин, Романенко 2004: 672] не отменяло освященного традицией изначального неравенства договаривающихся сторон: Владимир Андреевич — “брат молодшии” Дмитрию Ивановичу. Каждый князь чеканил свою монету с титулами, соответственно, “великого князя” и “князя” [Орешников 2006: 115–116].

Есть, однако, в первом договоре одно положение, отличающее его от двух сохранившихся до наших дней следующих, заключенных двоюродными братьями в 1372 и 1389 гг. (о них ниже). В 1364–1365 гг. Дмитрий Иванович, несмотря на то, что он серпуховскому князю “во отца место” и “братъ стареишии”, держит “брата молодшего” “въ братстве” [ДДГ: 20] — формула для междукняжеских докончаний уникальная [Кучкин 1998: 47].

“Братство” двоюродных братьев было урезано в пользу старшего в 1372 г. [Кучкин 2007а: 73–77; 2007б: 7–8] и закончилось в последний год жизни Дмитрия Донского (1389) “розираем” между соправителями и лишением серпуховского князя части владений [он же 1979: 114; Кучкин, Романенко 2004: 675]. Весной этого же года, 25 марта, был

заключен очередной, третий договор, лишивший серпуховского князя статуса “брата” по отношению к великому князю — теперь “братом” и, соответственно, политической рѳвней Владимира Андреевича является второй сын Дмитрия Ивановича, Юрий Дмитриевич [ДДГ: 31]. А в духовной скончавшегося 19 мая того же года великого князя московского Дмитрия Ивановича Владимир Андреевич — уже не вотчинный владелец Москвы, а держатель “своей” трети, т. е. удельный князь [Хорошкевич 1980б: 171–173].

Что вызвало столь странную, не имеющую в московском доме потомков Калиты аналогов³⁰ политическую конструкцию, как “соправительство” — статусное “братство” даже не родных, а двоюродных братьев при очевидном и юридически закрепленном первенстве Дмитрия Ивановича, так или иначе завершившееся в 1389 г. возвращением к обычному порядку взаимоотношений князей московского дома? Рискнем предположить, что в основе ее была ситуация, связанная с потерями в семье Калитовичей от чумы, а инициаторами — митрополит Алексей и дядя серпуховского князя, великий князь Иван Иванович, отец Дмитрия Донского.

В 1353 г. до Руси докатилось общеевропейское бедствие, “черная смерть”, пандемия чумы, несколькими волнами прошедшая по Европе и за полстолетия унесшая от половины до трех пятых населения континента [Ливи Баччи 2010: 111–122]³¹. На Руси, как и в Европе, болезнь повторялась с определенной периодичностью, до конца XIV в. пройдя через десять эпидемических волн [Дѳербек 1895: 3–4, 15–27].

Как и в Европе, на Руси “морь”³² был воспринят современниками как фатальное бедствие³³, и вряд ли последствия чумы на востоке континента, о которых мало что известно, были менее разрушительными, чем на западе.

³⁰ Соправительство предполагало равные права соправителей на престолонаследование, к чему в династии московских Калитовичей “на протяжении всего XIV в. ни разу не возникло юридических и фактических оснований” [Александров и др. 1995: 82]. Ср. также анализ правового положения брата великого князя Василия Васильевича, Юрия Васильевича, и старшего сына Ивана III, Ивана Ивановича Молодого, рассматривавшихся авторами через призму соправительства [Александров и др. 2003: 62–73].

³¹ “Похоже [. . .] потери нигде не были меньше, чем треть населения [. . .] а где-то оказывались намного больше [. . .] от половины до двух третей” [Ле Гофф 2008: 243].

³² В русских летописях XIV в. обозначается как *морь*, современное же название болезни в России появилось довольно поздно: “Пагубный подарок [. . .] который до того известен [. . .] был под именем моровой язвы, а тогда [речь идет об эпидемии 1771 г. — А. Л.] в п е р в ы е чумою начал называться” [Болотов 1993: 7].

³³ “Увы мне! Како могу сказати беду ту грозную и тугу страшную [. . .] како везде [. . .] печаль горька, плачь и рыдание, крикъ и вопль, слезы неутешимы. Плакахуся живи по мертвыхъ, понеже умножися множество мертвыхъ. И въ граде мертвые и въ селехъ, и въ домехъ [. . .] и во храмехъ и у церквей” [ПСРЛ, 15: 77].

Мор выкосил московскую великокняжескую семью, семьи ростовского и тверского князей [ПСРЛ, 15: 79]. Как отметил В. А. Кучкин, как раз в годы детства Дмитрия Ивановича и Владимира Андреевича, на которые пришлись первые удары чумы, после смерти в 1353 г. Семена Ивановича, двух его сыновей и, месяц спустя, князя Андрея Ивановича, отца Владимира Андреевича, кончины шесть лет спустя, в 1359 г., наследовавшего Семену Ивановичу великого князя Ивана Ивановича и вступления на престол малолетнего Дмитрия Ивановича [там же: 68; 18: 98], московский великокняжеский дворец превратился “в дом вдовых великих княгинь” [Кучкин 1979: 105] при двух малолетних внуках Калиты. Московские Калитовичи, как видим, к этому времени находились на грани династического кризиса.

После кончины отца Дмитрий Иванович поехал в Орду за великокняжеским ярлыком, которого не получил, и к “царю” будущий герой Куликовской битвы ездил, в отличие, например, от дяди, Семена Ивановича, один, без “братии”³⁴. Но уже три года спустя, когда московский князь “сперся о великомъ княжении” с будущим тестем, Дмитрием Константиновичем Суздальским, он действовал с “братъею”, родным младшим братом Иваном Ивановичем и двоюродным Владимиром Андреевичем, и сел на великокняжеском столе во Владимире при их, разумеется, формальном участии и в их же символическом присутствии³⁵ (Семен Иванович в 1340 г. “седе [. . .] на столе въ Володимери въ велицей соборней церкви” как будто бы без братьев [ПСРЛ, 15: 53]).

Великокняжеская “братия”, похоже, изначально состояла из двух князей, Владимира Андреевича и Ивана Ивановича, но 23 октября 1364 г. от чумы скончался старший в статусном отношении из “братии” и самый младший из трех — родной брат великого князя, “Ивашко деля” [там же: 76–78]³⁶. Таким образом, великокняжеская “братия” сократилась до одного “брата”, Владимира Андреевича. Очевидно, сразу по кончине князя Ивана Ивановича, осенью 1364 – в начале зимы 1365 гг., и, возможно, в связи с очередной потерей в великокняжеском доме, по благословению митрополита Алексия двоюродные братья заключили первый договор³⁷, о котором писалось выше.

³⁴ “Тое же весны [. . .] пошел во Орду князь Семень Ивановичъ на великое княжение, а с нимъ братиа его князь Иванъ и Андреи” [ПСРЛ, 15: 53]; “По Коулле царствова Навроусъ. Къ нему же первое прииде князя великого сынъ Ивана Ивановича Дмитрей” [ПСРЛ, 15: 68].

³⁵ “Тое же зимы князь велики [. . .] съ своею братиею съ княземъ съ Иваномъ Ивановичемъ и съ княземъ Володимеромъ Андреевичемъ [. . .] иде ратию на Переславль” [ПСРЛ, 15: 72]; “Тое же зимы [. . .] князь Дмитрей Ивановичъ съ братъею съ княземъ Иваномъ и Володимеромъ [. . .] въеха въ Володимеръ и седе на великомъ княжении” [ПСРЛ, 15: 73].

³⁶ В Рогожском летописце известие повторено дважды.

³⁷ На связь кончины Ивана Ивановича Младшего и составления договора обратил внимание В. А. Кучкин [1998: 41–43, 63].

К началу первого большого совместного предприятия двоюродных братьев, строительства белокаменных московских стен в 1366 г., старшая ветвь князей московского дома давно пресеклась. Единственными наследниками великого деда были два князя, почти ровесники из второй и третьей ветвей рода, избегшие кончины от чумы, внуки Калиты от второго и третьего по старшинству сыновей (у Владимира Андреевича был старший брат, Иван, но и он умер, вероятно, тоже от чумы, в 1358 г. [ПСРЛ, 25: 180]).

Еще до смерти великого князя в Москве в 1353 г. болезнь унесла “на единой недели” жизни не только двух его сыновей, Ивана и Семена Семеновичей, но и митрополита Феогноста [ПСРЛ, 15: 62], которому наследовал митрополит Алексей, выдающийся государственный и церковный деятель Руси. Возможно, он связал двух родных и двоюродного братьев, до кончины от чумы 23 октября 1364 г. князя Ивана Ивановича образовывавших некое подобие триумvirата, а потом дуумvirата, какими-то взаимными обязательствам на случай смерти одного из них, дабы при любом ходе событий оставить за Москвой владимирское великое княжение³⁸, на которое в это время, впервые за много лет и не без успеха, претендовали Нижний Новгород и Тверь [Кучкин 1979: 105; Мазуров, Никандров 2008: 72]. Вплоть до 1389 г., когда судьба московского стола уже не вызывала опасений, Дмитрий Донской (к моменту кончины — отец пяти сыновей) [Мазуров 2012: 12–20], придерживался, так или иначе, этих обязательств по отношению к “брату” князю Владимиру Андреевичу и только на пороге смерти решительно пересмотрел их³⁹.

Великий князь умер 19 мая 1389 г. Возможно, первые недружественные акции великого князя по отношению к “брату” и “розмирие” великого князя с Владимиром Андреевичем, отнесенные летописью к зиме — началу весны этого же года (“тое же зимы и того же мясоеда передъ великимъ заговеиномъ” [ПСРЛ, 15: 155]), по времени совпали с отмеченным летописью недомоганием Дмитрия Ивановича [там же: 155], и когда великому князю “легчае”, 25 марта 1389 г., был подписан новый, третий договор с Владимиром Андреевичем, серьезно меняющий статус серпуховского князя.

³⁸ Ср.: “Место Владимира Андреевича оставалось все время его правления во второй страте (“удельные князья”) политической элиты Руси. Переход на самый высокий уровень (“великие князья”) был для него возможен лишь в самых исключительных обстоятельствах, например, ранней смерти Дмитрия Донского” [Мазуров, Никандров 2008: 72].

³⁹ Второй из трех сохранившихся договоров между двоюродными братьями, лета 1372 г., дошедший с большими потерями в тексте, по наблюдениям В. А. Кучкина, впрочем, уже содержал некие пункты, направленные на понижение статуса Владимира Андреевича [Кучкин 2007а: 7–8].

В связи с историей “Задонщины” особого внимания заслуживает имя, полученное серпуховским князем при крещении, — *Владимир*.

Он первым среди потомков Ярослава Всеволодовича, великих и удельных князей Северо-Восточной Руси, носил крестильное имя Владимир⁴⁰, получив его в честь крестителя Руси, память которого отмечается 15 июля [Мазуров, Никандров 2008: 259]⁴¹. Если последнее — очевидный факт, то ясно, что великий князь киевский Владимир Святой должен был уже в 1358 г. поминаться под своим языческим (мирским) именем, в то время как крещен он был Василием и именно под этим именем продолжительное время почитался русской церковью [Успенский 2004: 73, 83, 92–93; Литвина, Успенский 2006: 497–502].

Свидетельство самого раннего церковного поминовения крестителя Руси под именем Владимир в Москве относится, однако, не к 50-м, а только к 80-м гг. XIV в. Это его древнейшее изображение на одном из известнейших памятников раннемосковского искусства, так наз. пелене Марии Тверской, самым прямым образом связанной с серпуховским князем, на что обратил внимание Б. А. Успенский [2004: 83]. На воздухе, вышитом в Москве в 1389 г.⁴² по заказу вдовой великой княгини Марии Александровны, жены скончавшегося в 1353 г. Семена Ивановича, изображены свв. Дмитрий Солунский и великий князь Владимир Святославич — небесные покровители великого князя Дмитрия Ивановича и его соправителя, удельного князя Владимира Андреевича, что уже давно замечено исследователями.

Летописный рассказ о рождении будущего серпуховского князя как будто бы свидетельствует, что в 1358 г. 15 июля, в день его рождения, св. Владимир церковью не поминался: “Того же лета [6862. — А. Л.] [. . .] месяца иуля въ 15 день на память святу ю мученику Кирика и Улиты князю Андрею Ивановичю родися сынъ и нареченъ бысть князь Володимеръ на сорочины отца своего князя Андрея на третей недели по Петрове дни” [ПСРЛ, 15: 63–64]⁴³. В

⁴⁰ Кроме того, Владимиром звали, например, старшего современника московских князей-соправителей и их союзника, пронского князя Владимира Ярославича-Дмитриевича (ум. в 1372 г.), отца сражавшегося в 1378 г. на Воже в составе московской армии пронского князя Даниила Владимировича, но совершенно неясно, было ли это имя крестильным или “княжьим” [Экземплярский 1891: 628–631].

⁴¹ Ср.: “Со 2-й пол. XIV в. почитание Владимира Святого активно поддерживается московским великокняжеским домом. Во имя Владимира Святого был крещен серпуховской князь Владимир Андреевич, родившийся 15 июня 1353 г.” [Назаренко 2004: 702–703; ПЭ 2004: 703].

⁴² Шитая летопись не содержит указания на месяц (“В лето 6897 нашить [. . .] воздух [. . .]” [Евсеева и др. 2005 2005: 112]), поэтому корректней будет датировать пелену мартом 1389 — февралем 1390 г. по мартовскому стилю, принятому в XIV в.

⁴³ Как известно, 15 июля датируется знаменитая Невская битва 1240 г. Характерно, что Новгородская I летопись старшего извода (эта часть пергаменной рукописи

то же время 15 июля — действительно день почитания равноапостольного князя Владимира Святого, неясно только, когда он им стал в русской церкви [Литвина, Успенский 2006: 496–497].

“Наречение” новорожденного князя, о котором говорит летописный рассказ, — отдельный церковный обряд, предшествующий крещению, и имянаречение (или назнаменование [Булгаков 1993: 955–961]) Владимира Андреевича датировано “сорочинами” отца, Андрея Ивановича (князь скончался “того же лета месяца иуны въ 6” [ПСРЛ, 15: 63–64]), — поминовением усопшего на сороковой день после кончины⁴⁴, т. е. действительно 15 июля [Мазуров, Никандров 2008: 259].

В чем заключался смысл имянаречения? Давая в 1419 г. разъяснения псковскому духовенству, правильно ли поступают приходские священники, если “жене, родившей дитя, докелы [. . .] не крещает дитяти, дотолы [ей. — А. Л.] не дают молитвы очистительныя”, митрополит Фотий писал, что “неподобно сие [. . .] отнудь” — после рождения ребенка священник обязан прийти в дом роженицы, дать очистительную молитву “родительницы и женам, прилучившимся на рожении том” и после этого “да [. . .] наречет имя [. . .] младенцу”, крестить же его можно и позже, “егда изволят родителя” [ПДРКП: 416]. Владимира Андреевича “нарекли”, что нашло отражение в летописи, на следующий день после появления на свет и, скорее всего, быстро крестили, что в условиях чумы и при очевидной угрозе кончины младенца, даже если он родился здоровым⁴⁵, было оправданно.

Надо отметить, что имя *Владимир* и позднее, в XV в., в Северо-Восточной Руси не только давалось нечасто, но и не входило в круг аристократических имен [Wójtowicz 1986: 191] и получило некоторое распространение в боярской и дворянской среде только в XVI в. [ПЭ 2004: 704].

Кто было то духовное лицо, что посетило роженицу на следующий день после появления младенца, дабы дать очистительную молитву княгине и

датируется ок. 1330 гг.) относит сражение к “июля в 15, на память святого Кюрика и Улиты, в неделю на Соборъ Святыхъ Отець 630, иже в Халкидоне” и эта же летопись младшего извода (основное ядро памятника сформировалось в 1-й четверти XV в.) датирует сражение уже “в неделю на Соборъ Святыхъ Отець 600 и 30 иже в Халкидоне, на память святыхъ мученикъ Кирика и Улиты и святого князя Владимира, крестившаго Русскую землю” [ПСРЛ, 3: 77, 292].

⁴⁴ “Сорочины” — одно из четырех поминовений усопшего, завершающее сорокадневное творение по нем молитв [Новая Скрижаль 1992: 434–435]. Ср.: “Русские печалются о своих мертвецах шесть недель” [Олеарий 1996: 329].

⁴⁵ Крещение ставилось в прямую зависимость от состояния здоровья младенца, “а дети здоровыхъ до 40 дни не крестятъ, аще больно толко родиться” [Смирнов 1913: 102]. Ср. епитимии родителям младенцев, скончавшихся некрещеными, “аще дитя 7 дни некрещено умереть не болевъ, не дать за се опитемьи. Аще же болно, в небрежении [. . .] оумреть некрещено, год опитемьи. Аще минуло 6 недель, а умрет некрещено, 3 лета опитемьи” [Смирнов 1913: 91].

наречь ребенка? Последнее особенно интересно, ибо в данном случае выбор имени не мог исходить от отца, которого сын никогда не видел.

Роль опекуна родившегося 15 июля уже сиротой князя, судя по всему, выполнял тот же митрополит Алексей. Имя *Владимир* князю должен был выбирать, очевидно, именно он. У вдовой простолюдинки опекуном обычно был приходской священник, и о его роли как опекуна вдов при малолетних детях мы кое-что знаем, хотя и не применительно к XIV в. [Цатурова 1991: 53–54]. С митрополитом дело обстоит сложнее, тем более что свт. Алексей, как и прочие митрополиты, не был духовником великого князя и его семьи [Смирнов 1913: 245–246, 249–250]⁴⁶. Во всяком случае, благовещенские протопопы станут таковыми не ранее конца XV в. [там же: 250].

Если вышенаписанное верно, то именно митрополиту Алексею мы обязаны началом почитания крестителя Руси под его “княжим” именем *Владимир* в московской великокняжеской семье.

Владимир Андреевич родился и прожил первые шесть лет в княжеской семье дяди, великого князя московского Ивана Ивановича (1353–1359 гг.). Перед кончиной своей духовной грамотой дядя значительно расширил удел племянника–“братанича”, а также передал ему треть в доходах с Москвы (князь Андрей Иванович получал четверть), что В. А. Кучкин объяснял отстранением Владимира Андреевича от дележа владений вдовы Симеона Гордого, Марии Александровны, после кончины великого князя [Кучкин, Романенко 2004: 671–672]. Может быть, речь шла не только о неких компенсациях, но и о материальной поддержке статуса будущего “брата”, о котором думали заранее?

Возвращаясь к “Задонщине”, отметим, что в ней воспет общий предок двоюродных братьев, “прадед”, в иных списках “дед”, князь “Владимир Киевский, царь русский”⁴⁷, “святой великий князь Владимир Киевский” [Памятники 1998: 89, 97, 112, 126]⁴⁸. Никакой ошибки здесь

⁴⁶ По Эклоге, опека и попечительство в греческой церкви возлагались на духовное начальство в тех случаях, когда завещатель не оставлял на этот счет каких-то специальных распоряжений [Неволин 1875: 392].

⁴⁷ Титул “царя” присутствует при имени великого князя киевского в двух из шести списков “Задонщины” [Дмитриева 1966а: 215].

⁴⁸ В послании 1441 г. великого князя московского Василия Васильевича константинопольскому патриарху Митрофану фигурирует “благочестивый царь Руския земли Владимир” [Успенский 2004: 79]. “Новым царем Константином” называет князя Владимира, предка Дмитрия Донского, анонимное “Слово о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича” (“Внукъ [. . .] великаго князя Ивана Даниловича събирателя Рускые земли и корени святаго [. . .] великого князя Володимера, новаго царя Костянтина [. . .] сродникъ [. . .] новых чудотворцевъ Бориса и Глеба” [ПСРЛ, 15: 216], памятник рубежа XIV–XV вв. [Прохоров, Салмина 1989]. Кстати, “царем” “Слово о житии” неоднократно называет и самого Дмитрия Ивановича [Горский А. А. 2001: 133].

нет, но, если автор “Задонщины” хотел подчеркнуть родство двоюродных братьев через “деда”, логичнее было бы упоминать, как подметил А. В. Соловьев, прямых предков князей: Всеволода Большое Гнездо, Александра Невского или, на худой конец, Калиту [Соловьев 1958: 195–196], а не оперировать именем малозначимого политически для Москвы киевского князя Владимира. Не мог быть этот пассаж заимствован и из “Слова о полку Игореве”, использовавшегося автором “Задонщины”. Дважды упомянутый в “Слове” “старый Владимир” может быть и Владимиром Святославичем, и Владимиром Мономахом [Творогов 1995: 209–210]⁴⁹.

Другое дело, если с самого рождения Владимиру Андреевичу, “ангелом” которого, вне всякого сомнения, был креститель Руси, готовилась какая-то особая роль на случай кончины от чумы двоюродного брата: с этой точки зрения выбор имени не был случайностью. Таким образом, присутствие в рассказе “Задонщины” о Куликовской битве рядом с именем великого князя имени его двоюродного брата в статусе “брата” — скорее всего, в первую очередь этикетный мотив, отражающий реалии политической жизни Московского княжества времени Куликовской битвы, которые автор “похвалы и жалости” не мог не учитывать. Другой вопрос — реальное участие серпуховского князя в битве и его вклад в победу 8 сентября 1380 г. Кажется очевидным, что “Задонщина” не может быть безоговорочным аргументом в пользу равновеликого вклада князей-соправителей в разгром Мамаю.

Если вышеприведенные соображения верны, то датировка “Задонщины” 80-ми годами XIV в. может быть сужена до 1385–1387 гг. — исхода марта 1389 г., времени между установлением московско-рязанского “мира вечного”, породнившего две великокняжеские семьи, и возвращением великокняжеского “брата” Владимира Андреевича в статус удельного князя, закрепленного договором 25 марта 1389 г.

Теперь несколько слов о “рязанских реалиях” памятника. О мифических участниках битвы из Рязани речь шла выше, но, как представляется, в тексте “Задонщины”, особенно в сопоставлении с летописными повестями, есть довольно любопытные “рязанские” черты, буквально лежащие на поверхности и, надо думать, связанные с рязанским происхождением автора.

Начать надо с самого заглавия “Задонщина”, утвердившегося за “похвалой и жалостью”. Оно читается только в одном, но самом раннем списке, представляющем краткую редакцию текста, — Кирилло-Белозерском:

⁴⁹ Впрочем, сам автор допускает, что “название Дмитрия и Владимира правнуками Владимира Киевского подсказано [автору «Задонщины». — А. Л.] упоминанием в «Слове» «старого Владимира»”.

“Писание Софония старца резанца Задонщина великого князя господина Димитрия Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича” [Памятники 1998: 89].

Как помним, название “Слова о полку Игореве” — несколько измененный парафраз первых строк сочинения⁵⁰, “Задонщина” же начиналась фразой, никакой отсылки к Дону не имеющей: “Снидемся, братия и друзи [. . .] составим слово к слову” [Творогов 1966а: 526–532; 1966б: 293].

Считается, что “Задонщиной” текст назвал автор краткой редакции, монах Ефросин (вторая пол. XV в.) [КАГАН, ЛУРЬЕ 1988: 232]⁵¹, что вполне логично хотя бы потому, что такого термина нет ни в самом тексте памятника, ни в редакции Ефросина, ни в прочих списках, да и о переправе московских полков “за Дон”, что могло бы как-то объяснить появление названия, ни один из списков “Задонщины” не сообщает. Такое известие есть в летописных повестях, и нет никаких сомнений, что переправа имела место⁵², но в любом случае очевидно, что Ефросин не мог дать название сделанной им переработке “похвалы и жалобы”, опираясь на текст памятника.

Как представляется, ближе к истине мнение Д. С. Лихачева, полагавшего, что “Задонщина” — название не литературного произведения, а описанного в нем события, и придумано такое название битвы не Ефросином [ЛИХАЧЕВ Д. 1966: 474–475]. Если “Задонщина” — наименование боестолкновения по географическому расположению места, где оно произошло⁵³, то понятно, что в заглавии Кирилло-Белозерского списка иноком зафиксировано существовавшее в его время (в конце XV в.), надо думать, расхожее на тот момент название сражения, вытесненное позднее благодаря сверхпопулярности у читателя более употребимым “Сказанием о Мамаевом побоище”.

Возможно, первоначально “Задонщина” было не единственным определением битвы 8 сентября 1380 г. Тому же кирилло-белозерскому монаху Ефросину принадлежат, например, выписки из монастырского

⁵⁰ “Слово о полку Игореве. . .” — “Не лепо ли ны бяшетъ [. . .] начати [. . .] повестий о полку Игореве. . .” [СПИ 1950: 9].

⁵¹ В остальных списках памятник озаглавлен как “похвала”, “слово”, или “сказание” о сражении, выигранном московским князем и его двоюродным братом [Памятники 1998: 97, 112, 126].

⁵² О стратегическом значении переправы через Дон см.: [АМЕЛЬКИН, СЕЛЕЗНЕВ 2009: 172–173].

⁵³ “В лето 6896 мая 19 преставися князь велики Дмитрей Ивановичъ по Задонщине на осмой годъ” [Памятники 1998: 91]. Цитируемый заключительный фрагмент “Задонщины” в Кирилло-Белозерском списке представляет собой краткие летописные записи, “извлеченные из другой рукописи Ефросина” [Памятники 1998: 94].

летописца, в которых сражение 8 сентября 1380 г. названо “Мамаевчиной” [КАГАН, ЛУРЬЕ 1988: 232], причем и это наименование Куликовской битве тоже дано не Ефросином, а бытовало ранее составления им своей редакции “Задонщины” [Зимин 1950: 25; КИСТЕРЕВ 2008: 121].

“Мамаевчина” — термин происхождения уже не географического и тоже позднее XV в., похоже, не употреблявшийся, но имеющий исторические параллели в XIV в. Сходные по форме названия военных действий, “Ольгердовщина” [ПСРЛ, 4/1: 276]⁵⁴ и “Литовщина” [ПСРЛ, 15: 88, 94]⁵⁵, известны русскому летописанию и подразумевают походы великого князя литовского Ольгерда на Москву и Новгород. Второе название сражения, известное Ефросину, как видим, образовано от имени собственного предводителя нападавших.

В связи с “Задонщиной” уместно вспомнить о других военных предприятиях, уже XV в., получивших схожие по конструкции названия: “Белевщина” и “Суздальщина”.

В 1439 г. армия московского великого князя Василия Васильевича, ходившая походом на татар к верховьям Оки, под Белев, была разгромлена и понесла тяжелые потери [ПСРЛ, 25: 260]. Событие это современники и потомки называли “Белевщина”, и операция надолго запомнилась на Руси не только понесенными под Белевом серьезными потерями, но и в силу неординарного характера дальнего похода за пределы государственных границ Великого княжества Московского [ГОРСКИЙ А. Д. 1972: 54–55]. “Суздальщиной” же современники называли разгром ханом Улу-Мухаммедом армии московского князя Василия Васильевича Темного под Суздалем 7 июля 1445 г. [ПСРЛ, 26: 210].

Итак, “Задонщина” — одно из двух названий сражения 8 сентября 1380 г., бытовавших столетие спустя после битвы и зафиксированное Ефросином в заглавии переписанного и отредактированного им сочинения о битве, ср.:

Известно, что исторически первой формой ориентирования является [...] такая, при которой автор [...] находится в центре обозреваемого им мира [...] отсюда такие категории как “за”, “дальше”, “ближе” [...] понятны только, если знать точку отсчета [...] в рамках такой системы ориентирования возникают характерные топографические названия типа Заволочье, Заозерье, З а д о н щ и н а, Завеличье [...] и другие [ПОДОСИНОВ 1978: 46–47].

Где же была “точка отсчета” для места сражения, названного Задонщиной? Понятно, что “за Доном” по отношению к автору⁵⁶.

⁵⁴ “Того же лета Ольгердовщина”.

⁵⁵ “О первой Литовъщине”, “О другои Литовщине”.

⁵⁶ Ср. запись на полях того же сборника, в который Ефросин внес свою редакцию “Задонщины”: “В лето 6888 сентября 8 в среду бои был за Д о н о м ъ”

Рискнем предположить, что “Задонщина” — название битвы рязанского происхождения, имеющее в виду взгляд на поле сражения с левого, рязанского берега Дона. Куликово поле на самом деле расположено “за Доном”, на правом берегу реки, по отношению к Рязани (неслучайно в XV – начале XVI вв. левый, рязанский берег реки назывался “сей” стороной [Хорошкевич 1980а: 99]), а не Москве.

Верховья Дона, независимо от конкретной ситуации 1380 г., издавна были частью владений великих князей рязанских [там же: 92–93]⁵⁷, но, тем не менее, самое раннее письменное известие о существовании рязанских владений на правом берегу реки относится только к началу XV в. Его содержит статья Никоновской летописи о разгроме татарами Ельца в сентябре 1414 г.: “по Задонью реки” от набега пострадал не только Елецкий удел, но и некие “власти рязанския”, судя по контексту, волости Рязанского княжества, соседствовавшие с Ельцом [ПСРЛ, 11: 225]. Если северной границей Елецкого княжества считать правый приток Дона, р. Красивую Мечу [Тропин 1992: 37; Горский А. А. 2004: 87–88], тоже, кстати, в “Задонщине” упоминаемую, то разгромленные татарами рязанские верхнедонские “власти”, т. е. волости, причем не одна, должны были находиться по соседству, выше впадения Мечи по течению Дона, т. е. вблизи места сражения 1380 г.

По наблюдениям С. М. Каштанова, в Московском княжестве волости по существу были тождественны уездам, будучи изначально фискальными единицами [Каштанов 1982: 175–177, 181–182, 189]. Так что летописное “Задонье” XV в. и название поэмы XIV в. “Задонщина”, возможно, связаны единством рязанского географического взгляда на место битвы — правобережье Дона, на котором разыгралось сражение.

Характерно, кстати, что московско-рязанское докончание лета 1381 г. характеризует место битвы как “на Дону”, а не “за Доном”⁵⁸, а во всех вариантах летописного рассказа о битве, прямо или косвенно связанных происхождением с Москвой, он озаглавлен как “побоище”, произошедшее “на Дону” [Памятники 1998: 9, 30, 65]. Собственно, и прозвище великого князя Дмитрия Ивановича, появившееся, правда, не ранее XVI в. [Хорошкевич 1980а: 100–101], звучит как “Донской”, а не “Задонский”.

“Задонщина” не содержит никаких пейзажных описаний места сражения 8 сентября 1380 г., в отличие от летописных рассказов о Куликовской битве, описывающих его как “поле чисто и велико зело [. . .] на

[Дмитриева 1966б: 264]. В кратких летописных сводах XV в. “сеча зла” локализуется “за Дономъ на усть Непрядвы” или просто “за Дономъ” [ЛС 1955: 305; Зимин 2008: 25, 32].

⁵⁷ Автор считает их по ситуации на 1380 г. ордынскими.

⁵⁸ “. . . князь велики Дмитрии и братъ, князь Володимерь, билися на Дону с татари” [Кучкин 2003: 344].

усть Непрядвы”, “поле чисте”, “чисто поле въ Ординская земля части на усть Непрядвы реки” [Памятники 1998: 9, 22, 73–74] и т. п.

Современные палеогеографические исследования показывают, что летописные рассказы недостоверны, поле битвы по ситуации на XIV в. было в значительной степени покрыто лесами [Гласко и др. 2005: 244–247; Гоняный и др. 2007: 93]. Лесные массивы здесь, кстати, сохранялись и много позднее. Согласно писцовым книгам Епифанского уезда начала 70-х гг. XVI и XVII вв. (в него территориально входило историческое место сражения, “Дон усть Непрядвы”), места эти покрыты широколиственными лесами — “дубровами”, “дубровами пашенными”, “лесами дубровными”, в том числе на правом берегу реки (“от усть речки Непрядвы от Дону вверх по Непрядве дубровы в длину 7 верст, а поперег в версту”) [ПКМГ 1877: 1585–1588, 1595; Куликово поле 1999: 11–16, 18–22, 24–27, 31, 44, 49–52, 59, 64, 66, 71–77, 102, 104–107; Некрасов 1914: 273–274].

Скорее всего, “поле чисто” летописных рассказов о битве, расположенное южнее Оки, — не реальное описание места “побоища”, а расхожий образ и стандартная характеристика степного русского пограничья, некая его легендарная ипостась, нашедшая в более позднее время отражение в иностранных описаниях России, делавшихся, как правило, не по собственным впечатлениям авторов, а со слов современников-россиян⁵⁹.

Столь же литературны в летописных рассказах и далеки от реалий описания Дона в районе места битвы. В них сообщается о том, что Дмитрий Донской “повеле мосты мосьтити чрес реку Донъ и бродовъ пытати” [Памятники 1998: 57]. Ширина Дона ниже впадения в него Непрядвы не превышает 20–25 метров, глубина же такова (1–1,5 м), что не требует строительства мостов и поиска бродов, поскольку реку можно перейти практически в любом месте [ФСГКР 1999: л. 37–90 (14-37-090) “Куркино”; 2000: л. 37–78 (14-37-078)]⁶⁰.

Автор “Задонщины”, наоборот, знал место сражения не понаслышке. Во-первых, оно обозначено конкретным топонимом *Поле Куликово*, встречающимся в тексте постоянно [Памятники 1998: 91, 100, 101, 115, 117, 128, 129, 130], и то, что оно находится “в Резанской земли” “около Дону” [там же: 101, 116]⁶¹, также хорошо известно автору [Хорошкевич 1980а:

⁵⁹ Ср. напр.: “Между [. . .] татарскими и московскими границами лежит большое [. . .] поле; в нем не увидишь ничего, кроме неба и земли [. . .] только траву” [Послание 1922: 57; Замысловский 1884: 209].

⁶⁰ Этими данными автор обязан любезности зам. директора музея-заповедника “Куликово поле” А. Н. Наумова.

⁶¹ Ср. определение места битвы как “земля ихъ [татар. — А. Л.] за Дономъ” в летописных повестях о сражении [Памятники 1998: 22].

97–98]. Сам топоним *Куликово поле*, скорее всего, рязанского происхождения и вряд ли был известен в XIV в. за пределами княжества, о чем, собственно, “Задонщина” и свидетельствует.

Как локальный географический объект, Куликово поле появляется в общерусском летописании только в 1-й половине XVI в. в связи с военными операциями правительственных войск против крымских татар [Лаврентьев 2005: 41–42]. В последней четверти XV в. значительная часть территории Великого княжества Рязанского, включая ее дальнюю южную часть, правобережье Верхнего Дона с Непрядвой, перешла к Москве [он же 2011: 134–162], и топоним *Куликово поле* перестал быть принадлежностью только Рязани, каковым он был во времена Задонщины.

Характерно, что позднее, в XVI–XVII вв., Куликово поле понималось уже не как локальный объект в верховьях Дона при впадении в него Непрядвы, а как “громадная территория водораздела Оки и Дона”, значительно превышающая историческое “Дон усть Непрядвы” как на север, так и на юг [Кучкин 1980: 17–18], “необлесенная местность южнее тульских засечных лесов [. . .] его южной границей могла служить р. Красивая Меча” [Фомин 1999: 37]. Сомнительно, чтобы в XIV в. “Куликово поле” понималось столь же расширительно, как и в XVI–XVII вв. [там же: 36–37].

Еще один “внешний” взгляд на географию “Задонщины”: владения великого князя Дмитрия Ивановича называются “Залесской землей”, что характерно только для “похвалы и жалости” и отсутствует и в летописных повестях, и в “Сказании о Мамаевом побоище” [Дмитриева 1966а: 208]. Раздел “Залесские грады” “Списка русских городов дальних и ближних”, близкого по времени составления к “Задонщине”, на самом деле включает в себя суздальско-нижегородские, московские, новгородские и псковские “грады”, “земли образующейся Московской Руси” [Тихомиров 1979: 124], причем “рязанские грады” в “Списке” идут предшествующим “Залесским” блоком. Топоним *Залеская земля* относительно владений Калитовичей — не самоназвание, а взгляд на них извне [Подосинов 1978: 47–48], в том числе, наверное, и из Рязани.

Очень показателен другой, совершенно местный, рязанский, топоним “Задонщины”, согласно которой татары перед сражением стояли “межи Чюровым и Михайловым” [Памятники 1998: 98, 113]. Здесь имеется в виду искаженное название города Чур-Михайлов, нареченного именем одного из пронских князей, Кир-Михаила [Шватченко 1990: 97–100]⁶². Располагавшийся приблизительно тридцатью кило-

⁶² Автор отмечает наличие топонима только в “Сказании о Мамаевом побоище”, памятнике позднем и испытавшем влияние более ранней “Задонщины” [Дмитриев 1966: 392–393].

метрами ниже впадения в Дон Непрядвы на противоположном, левом берегу реки, Чур-Михайлов перестал существовать еще в XIII в., но при Олеге Ивановиче продолжал оставаться самой южной точкой владений Рязани на правом берегу Дона — до “Чюр Михайлова” в 1389 г. ехавшего в Царьград митрополита Пимена провожала дружина великого князя рязанского [Лаврентьев 1999: 42].

Наконец, Непрядва-река постоянно упоминается в “Задонщине” в связке с Куликовым полем [Памятники 1998: 91, 100, 115, 117, 128, 129, 130]. Более чем скромная речка местного значения (течение всего 45 км, ширина при впадении в Дон около 20 м), в отличие от Дона, реки “общерусского” значения, в летописных повестях Непрядва упоминается только один раз, в Новгородской IV летописи [там же: 36], вполне вероятно, попав в летописный текст через “Задонщину”.

Таким образом, топонимия битвы в “Задонщине” — *Куликово поле, Непрядва, Чур-Михайлов* — вряд ли была широко известна в XIV в. за пределами Рязанского княжества. Описание места битвы в ней гораздо более конкретно, скорее всего, потому, что текст (или его источник) принадлежал уроженцу Рязани.

Библиография

Источники

АСЭИ

Акты социально-экономической истории Северо-восточной Руси конца XIV – начала XVI вв., 3, Москва, 1964.

Болотов 1993

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков, 3, Москва, 1993.

Булгаков 1993

Булгаков С. В., *Настольная книга для священно-церковнослужителя (сборник сведений, касающихся преимущественно практической деятельности отечественного духовенства)*, 2, Москва, 1993.

ДДГ

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XV вв., Москва, Ленинград, 1950.

Куликово поле 1999

Фомин Н. К., сост., *Куликово поле: документы по землевладению XVII в.*, Тула, 1999.

ЛС 1955

Насонов А. Н., подг., *Летописный свод XV в. (по двум спискам) (= Материалы по истории СССР, 2: Документы по истории XV–XVII вв.)*, Москва, 1955.

Морозов 1988

Морозов Б. Н., “Грамоты XIV–XVI вв. из копийной книги Рязанского архиерейского дома”, в: *Археографический ежегодник за 1987*, Москва, 1988, 298–309.

- Новая Скрижаль 1992
ВЕНИАМИН, АРХИЕП., *Новая Скрижаль*, 2, Москва, 1992.
- ОЛЕАРИЙ 1996
ОЛЕАРИЙ А., *Описание путешествия в Московию*, Москва, 1996.
- Памятники 1998
РЫБАКОВ Б. А., ред., *Памятники Куликовского цикла*, С.-Петербург, 1998.
- ПДРКП
Памятники древнерусского канонического права (= Русская историческая библиотека, 6), С.-Петербург, 1880.
- ПКМГ 1877
Писцовые книги Московского государства, 1: *Писцовые книги XVI в.*, Москва, 1877.
- Послание 1922
“Послание Иоганна Таубе и Эллерта Крузе”, *Русский исторический журнал*, 8, 1922, 29–59.
- ПСРЛ, 3
Полное собрание русских летописей, 3: *Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов*, Москва, 2000.
- , 4/1
Полное собрание русских летописей, 4/1: *Новгородская четвертая летопись*, Москва, 2000.
- , 11
Полное собрание русских летописей, 11: *Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью*, 3-е изд., Москва, 2000.
- , 15
Полное собрание русских летописей, 15: *Рогожский летописец. Тверской сборник*, 3-е изд., Москва, 1965.
- , 18
Полное собрание русских летописей, 18: *Симеоновская летопись*, С.-Петербург, 1913.
- , 25
Полное собрание русских летописей, 25: *Московский летописный свод конца XV века*, Москва, Ленинград, 1949.
- , 26
Полное собрание русских летописей, 26: *Вологодско-Пермская летопись*, Москва, Ленинград, 1959.
- СПИ 1950
АДРИАНОВА-ПЕРЕТЦ В. П., ред., *Слово о полку Игореве*, Москва, Ленинград, 1950.
- ФСГКР 1999
Федеральная служба геодезии и картографии России. Московское аэрогеодезическое предприятие, Москва, 1999.
- 2000
Федеральная служба геодезии и картографии России, Московское аэрогеодезическое предприятие, Москва, 2000.

Литература

- АЛЕКСАНДРОВ И ДР. 1995
АЛЕКСАНДРОВ Д. Н., МЕЛЬНИКОВ С. А., АЛЕКСЕЕВ С. В., *Очерки по истории княжеской власти и соправительства на Руси в XI–XV вв.*, Москва, 1995.

——— 2003

АЛЕКСАНДРОВ Д. Н., МЕЛЬНИКОВ С. А., БЛЕДНЫЙ С. Н., *Великокняжеская власть в Средневековой Руси. Очерки истории и права*, Москва, 2003.

АМЕЛЬКИН, СЕЛЕЗНЕВ 2009

АМЕЛЬКИН А. О., СЕЛЕЗНЕВ Ю. В., “К вопросу о форсировании князем Дмитрием Ивановичем Дона 7 сентября 1380 г.”, в: *Верхнее Подонье: Археология. История*, 4, Тула, 2009, 170–174.

ГАЛЯШКИН 1898

ГАЛЯШКИН Я., “Очерк личных отношений между князьями Киевской Руси в половине XII в. (в связи с воззрениями родовой теории)”, в: *Издания Исторического общества при Императорском Московском университете. Рефераты, читанные в 1896 и 97 гг.*, 2, Москва, 1898, 240–259.

ГЛАСКО И ДР. 2005

ГЛАСКО М. П., ГОЛЬБЕВА А. А., СЫЧЕВА С. А., БУРОВА С. В., “Ландшафты Донского побоища: возвращение утраченного”, в: *Куликово поле и Донское побоище 1380 г.* (= Труды ГИМ, 150), Москва, 2005, 227–256.

ГОНЯНЫЙ И ДР. 2007

ГОНЯНЫЙ М. И., АЛЕКСАНДРОВСКИЙ А. Л., ГЛАСКО М. П., *Северная лесостепь бассейна Верхнего Дона времени Куликовской битвы*, Москва, 2007.

ГОРСКИЙ А. А. 1992

ГОРСКИЙ А. А., “Слово о полку Игореве” и “Задонщина”. *Источниковедческие и историко-культурные проблемы*, Москва, 1992.

——— 2001

ГОРСКИЙ А. А., “*Всего еси исполнена земля Русская. . .* Личности и ментальность русского средневековья. Очерки”, Москва, 2001.

——— 2004

ГОРСКИЙ А. А., “Московские «примыслы» конца XIII–XV вв. вне Северо-Восточной Руси”, в: *Средневековая Русь*, 5, Москва, 2004, 114–190.

ГОРСКИЙ А. Д. 1972

ГОРСКИЙ А. Д., “Отражение татаро-монгольского ига в русских актах XIV–XV вв.”, в: *Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе*, Москва, 1972, 48–58.

ДВОРНИЧЕНКО 1996

ДВОРНИЧЕНКО А. Ю., “О жалованной грамоте Олега Ивановича Ольгову монастырю”, в: *Средневековая и новая Россия*, С.-Петербург, 1996, 296–306.

ДЁРБЕК 1895

ДЁРБЕК Ф. А., *История чумных эпидемий в России с основания государства до настоящего времени*, С.-Петербург, 1895.

ДМИТРИЕВ 1966

ДМИТРИЕВ Л. А., “Вставки из «Задонщины» в «Сказании о мамаевом побоище»”, в: “Слово о полку Игореве” и памятники Куликовского цикла. *К вопросу о времени создания “Слова”*, Москва, Ленинград, 1966, 385–439.

——— 1982

ДМИТРИЕВ Л. А., “История Памятников Куликовского цикла”, в: *Сказания и повести о Куликовской битве*, Д. С. Лихачев, ред., Москва, 1982, 306–359.

——— 1988

ДМИТРИЕВ Л. А., “Задонщина”, в: *Словарь книжников и книжности Древней Руси*, 2: *Вторая половина XIV–XVI вв.*, 1, Ленинград, 1988, 345–353.

ДМИТРИЕВА 1966А

ДМИТРИЕВА Р. П., “Взаимоотношения списков «Задонщины» и текст «Слова о полку Игореве»”, в: “Слово о полку Игореве” и памятники Куликовского цикла. *К вопросу о времени написания “Слова”*, Москва, Ленинград, 1966, 199–263.

——— 1966б

Дмитриева Р. П., “Приемы редакторской правки книгописца Ефросина (к вопросу об индивидуальных чертах Кирилло-Белозерского списка)”, в: *“Слово о полку Игореве” и памятники Куликовского цикла. К вопросу о времени написания “Слова”*, Москва, Ленинград, 1966, 264–291.

ЕВСЕЕВА и др. 2005

ЕВСЕЕВА Л. М., ЛИДОВ А. М., ЧУГРЕЕВА Н. И., *Спас Нерукотворный в русском искусстве*, Москва, 2005.

ЗАМЫСЛОВСКИЙ 1884

ЗАМЫСЛОВСКИЙ Е. Е., *Герберштейн и его историко-географические известия о России*, С.-Петербург, 1884.

ЗИМИН 1950

ЗИМИН А. А., “Краткие летописцы XV–XVII вв.”, в: *Исторический архив*, 5, Москва, Ленинград, 1950, 3–39.

КАГАН, ЛУРЬЕ 1988

КАГАН М. Д., ЛУРЬЕ Я. С., “Ефросин”, в: *Словарь книжников и книжности Древней Руси*, 2: *Вторая половина XIV–XVI в.*, 1, Ленинград, 1988, 227–236.

КАРАМЗИН 1993

КАРАМЗИН Н. М., *История государства Российского*, 5, Москва, 1993.

КАШТАНОВ 1982

КАШТАНОВ С. М., “Финансовое устройство Московского княжества в середине XIV в. по данным духовных грамот”, в: *Исследования по истории и историографии феодализма*, Москва, 1982, 173–188.

КИРПИЧНИКОВ 1982

КИРПИЧНИКОВ А. Н., “Великое Донское побоище”, в: *Сказания и повести о Куликовской битве*, Д. С. Лихачев, ред., Москва, 1982, 291–306.

КИСТЕРЕВ 2008

КИСТЕРЕВ С. Н., “Ефросин и «роуский летописец»”, в: *Летописи и хроники*, Москва, С.-Петербург, 2008, 94–123.

КЛЮЧЕВСКИЙ 1902

КЛЮЧЕВСКИЙ В. О., *Боярская дума Древней Руси*, Москва, 1902.

КУЗЬМИН 2007

КУЗЬМИН А. В., “Князья Пронские, бояре Монастыревы и князья Кусаковы — участники битвы на р. Воже в 1378 г. и их потомки в XV–XVI вв. (Историко-генеалогическое исследование)”, в: *Верхнее Подонье: Природа. Археология. История*, 2/2, Тула, 2007, 80–89.

——— 2008

КУЗЬМИН А. В., “Рязанские, пронские и муромские князья в XIII – середине XIV вв. (историко-генеалогическое исследование)”, в: *Записки отдела рукописей РГБ*, 53, Москва, 2008, 35–50.

КУЧКИН 1979

КУЧКИН В. А., “Сподвижник Дмитрия Донского”, *Вопросы истории*, 8, 1979, 104–116.

——— 1980

КУЧКИН В. А., “Победа на Куликовом поле”, *Вопросы истории*, 8, 1980, 3–21.

——— 1985

КУЧКИН В. А., “К датировке Задонщины”, в: *Проблемы изучения культурного наследия*, Москва, 1985, 113–120.

——— 1998

КУЧКИН В. А., “Первая договорная грамота Дмитрия Донского с Владимиром Серпуховским”, в: *Звенигород за шесть столетий*, Москва, 1998, 11–64.

- 2003
Кучкин В. А., *Договорные грамоты московских князей XIV в.: внешнеполитические договоры*, Москва, 2003.
- 2007А
Кучкин В. А., “Договор 1372 г. великого князя Дмитрия Ивановича с Владимиром Андреевичем Серпуховским”, *Древняя Русь. Вопросы медиевистики*, 1 (27), 2007, 60–77.
- 2007Б
Кучкин В. А., “Договор 1372 г. великого князя Дмитрия Ивановича с Владимиром Андреевичем Серпуховским (окончание)”, *Древняя Русь. Вопросы медиевистики*, 2 (28), 2007, 5–22.
- Кучкин, Романенко 2004
Кучкин В. А., Романенко Е. В., “Владимир Андреевич”, в: *Православная энциклопедия*, 8, Москва, 2004, 671–676.
- Лаврентьев 1999
Лаврентьев А. В., “К истории Верхнего Дона в XIV–XVI вв.”, в: *Изучение историко-культурного и природного наследия Куликова поля*, Москва, Тула, 1999, 40–72.
- 2005
Лаврентьев А. В., *Епифань и Верхний Дон в XII–XVII вв.*, Москва, 2005.
- 2011
Лаврентьев А. В., *После Куликовской битвы. Очерки истории Окско-Донского региона в последней четверти XIV – первой четверти XVI вв.*, Москва, 2011.
- Ле Гофф 2008
Ле Гофф Ж., *Рождение Европы*, С.-Петербург, 2008.
- Ливи Баччи 2010
Ливи Баччи М., *Демографическая история Европы*, С.-Петербург, 2010.
- Литвина, Успенский 2006
Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б., *Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. Династическая история сквозь призму антропониимики*, Москва, 2006.
- Лихачев Д. 1966
Лихачев Д. С., “О названии «Задонщина»”, в: *Исследования по отечественному источниковедению*, Москва, Ленинград, 1966, 474–475.
- 1978
Лихачев Д. С., “«Задонщина» и «Повесть о разорении Рязани Батыем»”, в: *Древняя Русь и славяне*, Москва, 1978, 366–369.
- Лихачев Н. 2007
Лихачев Н. П., *Разрядные дьяки XVI века*, С.-Петербург, 2007.
- Мазуров 2012
Мазуров А. Б., “Семья великого князя Дмитрия Донского”, в: *Куликовская битва в истории России*, 2, Тула, 2012, 7–28.
- Мазуров, Никандров 2008
Мазуров А. Б., Никандров А. Ю., *Русский удел эпохи создания единого государства: Серпуховское княжение в середине XIV – первой половине XV вв.*, Москва, 2008.
- Назаренко 2004
Назаренко А. В., “Владимир (Василий) Святославич” <исторические сведения>, в: *Православная энциклопедия*, 8, Москва, 2004, 690–703.
- Насонов 1951
Насонов А. Н., “Русская земля” и образование территории Древнерусского государства, Москва, 1951.

Неволин 1875

Неволин К. А., *Полное собрание сочинений*, 3, С.-Петербург, 1875.

Некрасов 1914

Некрасов П. П., “Очерки по истории Рязанского края в XVII в.”, *Журнал Министерства народного просвещения*, 50/4, 1914, 272–313.

Орешников 2006

Орешников А. В., *Русские монеты до 1547 г. и материалы к истории русской нумизматики доцарского периода*, Москва, 2006.

Пашуто 1984

Пашуто В. Т., “Опыт периодизации истории русской дипломатии (ранний и развитой феодализм)”, в: *Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования*. 1982, Москва, 1984, 6–25.

Подосинов 1978

Подосинов А. В., “О принципах построения и месте создания «Списка русских городов дальних и ближних»”, в: *Восточная Европа в древности и средневековье*, Москва, 1978, 40–48.

Пресняков 1918

Пресняков А. К., *Московское царство*, Петроград, 1918.

Прохоров 1989

Прохоров Г. М., Салмина М. А., “Слово о житьи и преставлении великаго князя Дмитрия Ивановича, царя Рускаго”, в: *Словарь книжников и книжности Древней Руси*, 2: *Вторая пол. XIV–XVI вв.*, 2, Ленинград, 1989, 403–405.

ПЭ 2004

“Владимир (Василий) Святославич” <история почитания>, в: *Православная энциклопедия*, 8, Москва, 2004, 703–706.

Романов 1940

Романов Б. А., “Элементы легенды в жалованной грамоте вел. кн. Олега Ивановича Рязанского Ольгову монастырю”, в: *Проблемы источниковедения*, 3, Москва, Ленинград, 1940, 205–224.

Ржиги 1959а

Ржига В. Ф., “О Софонии Рязанце”, в: *Повести о Куликовской битве*, Москва, 1959, 401–405.

— 1959б

Ржига В. Ф., “Слово Софония Рязанца о Куликовской битве (Задонщина) как литературный памятник 80-х гг. XIV в.”, в: *Повести о Куликовской битве*, Москва, 1959, 377–400.

Седельников 1930

Седельников А. Д., “Где была написана «Задонщина»?”, *Slavia*, 9/3, 1930, 524–526.

Сметанина 1995

Сметанина С. И., “Рязанские феодалы и присоединение Рязанского княжества к Русскому государству”, в: *Архив русской истории*, 6, Москва, 1995, 49–80.

Смирнов 1913

Смирнов С., *Древнерусский духовник. Исследование по истории церковного быта*, Москва, 1913.

Соловьев 1958

Соловьев А. В., “Автор «Задонщины» и его политические идеи”, в: *Труды Отдела древнерусской литературы*, Москва, Ленинград, 14, 1958, 183–197.

Творогов 1966а

Творогов О. В., “О композиции вступления «Задонщины»”, в: “Слово о полку Игореве” и памятники Куликовского цикла. *К вопросу о времени создания “Слова”*, Москва, 1966, 526–532.

- 1966б
Творогов О. В., «Слово о полку Игореве» и «Задонщина», в: *«Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. К вопросу о времени создания «Слова»*, Москва, 1966, 292–343.
- 1995
Творогов О. В., «Владимир Святославич», в: *Энциклопедия «Слова о полку Игореве»*, 1, С.-Петербург, 1995, 208–210.
- Тихомиров 1959
Тихомиров М. Н., «Куликовская битва 1380 г.», в: *Повести о Куликовской битве*, Москва, 1959, 345–376.
- 1979
Тихомиров М. Н., «Список русских городов дальних и ближних», в: Он же, *Русское летописание*, Москва, 1979, 83–136.
- Тропин 1992
Тропин Н. А., «Елецкая земля в XII–XVI вв. (по письменным источникам)», в: *История и культура Ельца и Елецкого уезда. Материалы краеведческой конференции*, Елец, 1992, 27–41.
- Урланис 1960
Урланис Б. Ц., *Войны и народонаселение Европы*, Москва, 1960.
- Успенский 2004
Успенский Б. А., «Когда был канонизирован князь Владимир Святославич?», в: Он же, *Историко-филологические очерки*, Москва, 2004, 69–122.
- Флоря 1978
Флоря Б. Н., «Великое княжество Литовское и Рязанская земля в XV в.», в: *Славяне в эпоху феодализма*, Москва, 1978, 182–189.
- Фомин 1999
Фомин Н. К., «Топоним «Куликово поле» по документам XVI–XVII вв.», в: *Изучение историко-культурного и природного наследия Куликова поля* (= Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Научные труды, 2), Москва, Тула, 1999, 34–39.
- Хорошкевич 1980а
Хорошкевич А. Л., «О месте Куликовской битвы», в: *История СССР*, 4, Москва, 1980, 92–106.
- 1980б
Хорошкевич А. Л., «К взаимоотношениям князей московского дома во второй половине XIV – начале XV вв.», *Вопросы истории*, 6, 1980, 170–174.
- Цатурова 1991
Цатурова М. К., *Русское семейное право XVI–XVII вв.*, Москва, 1991.
- Шамбинаго 1906
Шамбинаго С. К., *Повести о Мамаевом побоище*, С.-Петербург, 1906.
- Шватченко 1990
Шватченко О. А., «Местонахождение пограничного города-крепости Чур-Михайлова и памятники Куликовского цикла», в: *Куликово поле. Материалы и исследования* (= Труды ГИМ, 73), Москва, 1990, 97–100.
- Экземплярский 1891
Экземплярский А. В., *Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, 1238–1505 гг.*, 2, С.-Петербург, 1891.
- Янин 2003
Янин В. Л., *Новгородские посадники*, Москва, 2003.
- Wójtowicz 1986
Wójtowicz M., *Древнерусская антропонимия XIV–XV вв.* (= Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Seria filologia rosyjska, 21), Poznań, 1986.

References

- Aleksandrov D. N., Mel'nikov S. A., Alekseev S. V., *Ocherki po istorii kniazheskoi vlasti i upravitel'stva na Rusi v XI–XV vv.*, Moscow, 1995.
- Aleksandrov D. N., Mel'nikov S. A., Bledny S. N., *Velikokniazheskaia vlast' v Srednevekovoi Rusi. Ocherki istorii i prava*, Moscow, 2003.
- Amel'kin A. O., Seleznev Yu. V., "K voprosu o forsirovanii kniazem Dmitriem Ivanovichem Dona 7 sentiabria 1380 g.," in: *Verkhnee Podon'e: Arkheologiya. Istorii*, 4, Tula, 2009, 170–174.
- Dmitriev L. A., "Vstavki iz «Zadonshchiny» v «Skazanii o mamaevom poboishche»," in: *Slovo o polku Igoreve i pamiatniki Kulikovskogo tsikla. K voprosu o vremeni sozdaniia «Slova»*, Moscow, Leningrad, 1966, 385–439.
- Dmitriev L. A., "Istorii Pamiatnikov Kulikovskogo tsikla," in: *Skazaniia i povesti o Kulikovskoi bitve*, D. S. Likhachev, ed., Moscow, 1982, 306–359.
- Dmitriev L. A., "Zadonshchina," in: *Slovar' knizhnikov i knizhnosti Drevnei Rusi, 2: Vtoraia polovina XIV – XVI v.*, 1, Leningrad, 1988, 345–353.
- Dmitrieva R. P., "Vzaimootnosheniia spiskov «Zadonshchiny» i tekst «Slova o polku Igoreve»," in: *Slovo o polku Igoreve i pamiatniki Kulikovskogo tsikla. K voprosu o vremeni napisaniia «Slova»*, Moscow, Leningrad, 1966, 199–263.
- Dmitrieva R. P., "Priemy redaktorskoj pravki knigopista Efrosina (k voprosu ob individual'nykh chertakh Kirillo-Belozerskogo spiska)," in: *Slovo o polku Igoreve i pamiatniki Kulikovskogo tsikla. K voprosu o vremeni napisaniia «Slova»*, Moscow, Leningrad, 1966, 264–291.
- Dvornichenko A. Yu., "O zhalovannoi gramote Olega Ivanovicha Ol'govu monastyruiu," in: *Srednevekovaia i novaia Rossiia*, St. Petersburg, 1996, 296–306.
- Evseeva L. M., Lidov A. M., Chugreeva N. I., *Spas Nerukotvornyi v russkom iskusstve*, Moscow, 2005.
- Floria B. N., "Velikoe kniazhestvo Litovskoe i Riazanskaia zemlia v XV v.," in: *Slaviane v epokhu feodalizma*, Moscow, 1978, 182–189.
- Fomin N. K., "Toponim «Kulikovo pole» po dokumentam XVI–XVII vv.," in: *Izuchenie istoriko-kul'turnogo i prirodnogo naslediiia Kulikova polia* (= Gosudarstvennyi muzei-zapovednik "Kulikovo pole." Nauchnye trudy, 2), Moscow, Tula, 1999, 34–39.
- Glasko M. P., Golyeva A. A., Sycheva S. A., Burova S. V., "Landschafty Donskogo poboishcha: vozvrashchenie utrachenogo," in: *Kulikovo pole i Donskoe poboishche 1380 g.* (= Trudy GIM, 150), Moscow, 2005, 227–256.
- Gonyany M. I., Aleksandrovskiy A. L., Glas-ko M. P., *Severnaia lesostep' basseina Verkhnego Dona vremeni Kulikovskoi bitvy*, Moscow, 2007.
- Gorsky A. A., "Slovo o polku Igoreve" i "Zadonshchina". *Istochnikovedcheskie i istoriko-kul'turnye problemy*, Moscow, 1992.
- Gorsky A. A., "Vsego esi ispolnena zemlia Rus-skaia. . ." *Lichnosti i mental'nost' russkogo srednevekov'ia. Ocherki*, Moscow, 2001.
- Gorsky A. A., "Moscow «primysly» in the end of XIII–XV c. outside of Northeast Russia," in: *Srednevekovaia Rus'*, 5, Moscow, 2004, 114–190.
- Gorsky A. D., "Otrazhenie tataro-mongol'skogo iga v russkikh aktakh XIV–XV vv.," in: *Feodal'naiia Rossiia vo vseмирno-istoricheskom protsesse*, Moscow, 1972, 48–58.
- Kagan M. D., Lurye Ya. S., "Efrosin," in: *Slovar' knizhnikov i knizhnosti Drevnei Rusi, 2: Vtoraia polovina XIV – XVI v.*, 1, Leningrad, 1988, 227–236.
- Kashtanov S. M., "Finansovoe ustroistvo Moskovskogo kniazhestva v seredine XIV v. po dannym dukhovnykh gramot," in: *Issledovaniia po istorii i istoriografii feodalizma*, Moscow, 1982, 173–188.
- Khoroshkevich A. L., "O meste Kulikovskoi bitvy," in: *Istorii SSSR*, 4, Moscow, 1980, 92–106.
- Khoroshkevich A. L., "K vzaimootnosheniiam kniazei moskovskogo doma vo vtoroi polovine XIV – nachale XV vv.," *Voprosy istorii*, 6, 1980, 170–174.
- Kirpichnikov A. N., "Velikoe Donskoe poboishche," in: *Skazaniia i povesti o Kulikovskoi bitve*, D. S. Likhachev, ed., Moscow, 1982, 291–306.
- Kisterev S. N., "Efrosin i «rousicii letopisets»," in: *Letopisi i khroniki*, Moscow, St. Petersburg, 2008, 94–123.
- Kuzmin A. V., "Kniaz'ia Pronskie, boiare Monastyrevy i kniaz'ia Kusakovy – uchastniki bitvy na r. Vozhe v 1378 g. i ikh potomki v XV–XVI vv. (Istoriko-genealogicheskoe issledovanie)," in: *Verkhnee Podon'e: Priroda. Arkheologiya. Istorii*, 2/2, Tula, 2007, 80–89.
- Kuchkin V. A., "Spodvizhnik Dmitriia Donskogo," *Voprosy istorii*, 8, 1979, 104–116.
- Kuchkin V. A., "Pobeda na Kulikovom pole," *Voprosy istorii*, 8, 1980, 3–21.
- Kuchkin V. A., "K datirovke Zadonshchiny," in: *Problemy izucheniia kul'turnogo naslediiia*, Moscow, 1985, 113–120.
- Kuchkin V. A., "Pervaia dogovornaia gramota Dmitriia Donskogo s Vladimirom Serpukhovskim," in: *Zvenigorod za shest' stoletii*, Moscow, 1998, 11–64.
- Kuchkin V. A., *Dogovornye gramoty moskovskikh kniazei XIV v: vneshnepoliticheskie dogovory*, Moscow, 2003.
- Kuchkin V. A., "Dogovor 1372 g. velikogo kniazia Dmitriia Ivanovicha s Vladimirom Andre-ovichem Serpukhovskim," *Drevniia Rus'. Voprosy medievistiki*, 1 (27), 2007, 60–77.

Kuchkin V. A., "Dogovor 1372 g. velikogo kniazia Dmitriia Ivanovicha s Vladimirom Andreevichem Serpukhovskim (okonchanie)," *Drevniaia Rus'. Voprosy medievistiki*, 2 (28), 2007, 5–22.

Kuchkin V. A., Romanenko E. V., "Vladimir Andreevich," in: *Pravoslavnaiia entsiklopediia*, 8, Moscow, 2004, 671–676.

Kuzmin A. V., "Riazanskie, pronskie i muromskie kniaz'ia v XIII – seredine XIV vv. (istoriko-genealogicheskoe issledovanie)," in: *Zapiski otдела rukopisei RGB*, 53, Moscow, 2008, 35–50.

Lavrentyev A. V., "K istorii Verkhnego Dona v XIV–XVI vv.," in: *Izuchenie istoriko-kul'turnogo i prirodno nasledniia Kulikova polia*, Moscow, Tula, 1999, 40–72.

Lavrentyev A. V., *Epifan' i Verkhni Don v XII–XVII vv.*, Moscow, 2005.

Lavrentyev A. V., *Posle Kulikovskoi bitvy. Ocherki istorii Osko-Donskogo regiona v poslednei chetverti XIV – pervoi chetverti XVI vv.*, Moscow, 2011.

Le Goff J., *Rozhdenie Evropy*, St. Petersburg, 2008.
Likhachev D. S., "O nazvanii «Zadonshchina»," in: *Issledovaniia po otechestvenomu istochnikovedeniui*, Moscow, Leningrad, 1966, 474–475.

Likhachev D. S., "«Zadonshchina» i «Povest' o razorenii Riazani Batyem»," in: *Drevniaia Rus' i slaviane*, Moscow, 1978, 366–369.

Likhachev N. P., *Razriadnye d'iaki XVI veka*, St. Petersburg, 2007.

Litvina A. F., Uspenskij F. B., *Vybor imeni u russkikh kniaziei v X–XVI vv. Dinasticheskaia istoriia skvoz' prizmu antropomimiki*, Moscow, 2006.

Livi Bacci M., *Demograficheskaia istoriia Evropy*, St. Petersburg, 2010.

Mazurov A. B., "Sem'ia velikogo kniazia Dmitriia Donskogo," in: *Kulikovskaia bitva v istorii Rossii*, 2, Tula, 2012, 7–28.

Mazurov A. B., Nikandrov A. Yu., *Russkii udel epokhi sozdaniia edinogo gosudarstva: Serpukhovskoe kniazhenie v seredine XIV – pervoi polovine XV vv.*, Moscow, 2008.

Nasonov A. N., "Russkaia zemlia" i obrazovanie territorii Drevnerusskogo gosudarstva, Moscow, 1951.

Nazarenko A. V., "Vladimir (Vasilii) Sviatoslavich," in: *Pravoslavnaiia entsiklopediia*, 8, Moscow, 2004, 690–703.

Oreshnikov A. V., *Russkie monety do 1547 g. i materialy k istorii russkoi numizmatiki dotsarskogo perioda*, Moscow, 2006.

Pashuto V. T., "Opyt periodizatsii istorii russkoi diplomatii (rannii i razvitoi feodalizm)," in: *Drevneishie gosudarstva na territorii SSSR. Materialy i issledovaniia*. 1982, Moscow, 1984, 6–25.

Podosinov A. V., "O printsipakh postroeniia i meste sozdaniia «Spiska russkikh gorodov dal'nikh i blizhnikh»," in: *Vostochnaia Evropa v drevnosti i srednevekov'e*, Moscow, 1978, 40–48.

Prokhorov G. M., Salmina M. A., "Slovo o zhit'i i prestavlennii velikogo kniazia Dmitriia Ivanovicha,

tsaria Ruskago," in: *Slovar' knizhnikov i knizhnosti Drevnei Rusi*, 2: *Vtoraia pol. XIV–XVI vv.*, 2, Leningrad, 1989, 403–405.

Romanov B. A., "Elementy legendy v zhalo-vannoi gramote vel. kn. Olega Ivanovicha Riazanskogo Ol'govu monastyriu," in: *Problemy istochnikovedeniia*, 3, Moscow, Leningrad, 1940, 205–224.

Rzhiga V. F., "O Sofonii Riazants'e," in: *Povesti o Kulikovskoi bitve*, Moscow, 1959, 401–405.

Rzhiga V. F., "Slovo Sofonii Riazantsa o Kulikovskoi bitve (Zadonshchina) kak literaturnyi pamiatnik 80-kh gg. XIV v.," in: *Povesti o Kulikovskoi bitve*, Moscow, 1959, 377–400.

Sedel'nikov A. D., "Gde byla napisana «Zadonshchina?»," *Slavia*, 9/3, 1930, 524–526.

Shvatchenko O. A., "Mestonakhozhdenie pogrannichnogo goroda-kreposti Chur-Mikhailova i pamiatniki Kulikovskogo tsikla," in: *Kulikovo pole. Materialy i issledovaniia* (= Trudy GIM, 73), Moscow, 1990, 97–100.

Smetanina S. I., "Riazanskie feodaly i prisoedinenie Riazanskogo kniazhestva k Russkomu gosudarstvu," in: *Arkhiv russkoi istorii*, 6, Moscow, 1995, 49–80.

Soloviev A. V., "Avtor «Zadonshchiny» i ego politicheskie idei," in: *Trudy Otdela drevnerusskoi literatury*, Moskva, Leningrad, 14, 1958, 183–197.

Tikhomirov M. N., "Kulikovskaia bitva 1380 g.," in: *Povesti o Kulikovskoi bitve*, Moscow, 1959, 345–376.

Tikhomirov M. N., *Russkoe letopisanie*, Moscow, 1979.

Tropin N. A., "Eletskaia zemlia v XII–XVI vv. (po pis'mennym istochnikam)," in: *Istoriia i kul'tura El'tsa i Eletskego uezda. Materialy kraevedcheskoi konferentsii*, Yelets, 1992, 27–41.

Tsaturova M. K., *Russkoe semeinoe pravo XVI–XVII vv.*, Moscow, 1991.

Tvorogov O. V., "O kompozitsii vstupleniia «Zadonshchiny»," in: "Slovo o polku Igoreve" i pamiatniki Kulikovskogo tsikla. K voprosu o vremeni sozdaniia "Slova", Moscow, 1966, 526–532.

Tvorogov O. V., "«Slovo o polku Igoreve» i «Zadonshchina»," in: "Slovo o polku Igoreve" i pamiatniki Kulikovskogo tsikla. K voprosu o vremeni sozdaniia "Slova", Moscow, 1966, 292–343.

Tvorogov O. V., "Vladimir Sviatoslavich," in: *Entsiklopediia "Slova o polku Igoreve"*, 1, St. Petersburg, 1995, 208–210.

Uralnis B. Ts., *Voiny i narodonaselenie Evropy*, Moscow, 1960.

Uspenskij B. A., *Istoriko-filologicheskie ocherki*, Moscow, 2004.

Yanin V. L., *Novgorodskie posadniki*, Moscow, 2003.
Wojtowicz M., *Drevnerusskaia antropomimika XIV–XV vv.* (= Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Seria filologia rosyjska, 21), Poznań, 1986.

Zimin A. A., "Kratkie letopisty XV–XVII vv.," in: *Istoricheskii arkhiv*, 5, Moscow, Leningrad, 1950, 3–39.

Александр Владимирович Лаврентьев, канд. ист. наук
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики,
Факультет гуманитарных наук, Школа филологии,
ведущий научный сотрудник
Лаборатории лингвосомиотических исследований
105066 Москва, ул. Старая Басманная, 21/4
Россия/Russia
laurentius@list.ru

Received on May 13, 2015



Украинско-русская
смешанная речь
“суржик” в системе
взаимодействия
украинского и
русского языков

Ukrainian-Russian
Mixed Speech
“Suržyk” within
the System of
Ukrainian and
Russian Interaction

Сальваторе Дель Гаудио

Киевский национальный
университет им. Т. Шевченко /
Институт языкознания им.
А. А. Потебни НАНУ, Киев, Украина

Salvatore Del Gaudio

Taras Shevchenko National University
of Kyiv / Potebnja Institute for Lin-
guistics of the National Academy of
Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine

Резюме

Вопрос о такой форме смешанной украинско-русской речи, как “суржик”, занимает существенное место в многочисленных социолингвистических исследованиях и в работах о восточнославянских языковых контактах. В настоящей статье автор рассматривает ряд дискуссионных вопросов, подтверждает свои предыдущие выводы о естественном характере украинско-русского суржика, рассматривает некоторые другие формы потенциального языкового смешения, которые являются типичными для украинской социолингвистической ситуации, предлагает критерии разграничения таких форм смешения и украинско-русского “суржика”.

Ключевые слова

украинско-русский “суржик”, украинский диалектный субстрат, языковой контакт на Украине, украинский вариант русского языка

Abstract

The question of different forms of real and/or presumed mixed speech, a consequence of the interaction between Ukrainian and Russian and widely known as

“Suržyk,” remains central in much of contemporary Ukrainian and, more widely, East Slavic sociolinguistic and language contact research. This article pursues a twofold aim: first, I intend to reaffirm my personal hypothesis on the formation process of this mixed speech, which has at times been cited without attribution in the scholarly literature. Second, the paper aims to examine the functioning of Ukrainian-Russian Suržyk within a broader sociolinguistic framework that takes into account other forms of language interaction. Ukrainian-Russian mixed speech in fact has to be assessed and separated from other factors, such as the Ukrainian variety of Russian, dialects, etc. This approach has rarely been applied in previous studies on the topic. The role played by current language ideology is a further essential aspect in establishing which language elements should be attributed to Ukrainian-Russian Suržyk. This undoubtedly affects the average speaker’s judgment about the degree of authenticity of Ukrainian forms. One can note a tendency to restrict the synonymic potential of Ukrainian in favor of lexemes and constructions that are dissimilar to Russian. This situation tends to alter the language consciousness of younger generations of Ukrainian speakers, who are likely to perceive as Russian (and therefore part of the Ukrainian-Russian mix) elements that are in fact authentic Ukrainian speech elements. These and other related aspects will be the object of my discussion.

Keywords

Ukrainian-Russian mixed speech, Suržyk, dialectal substratum, language contact in Ukraine, Russian in Ukraine

Введение

Вопрос взаимовлияния украинского и русского языков на территории Украины был ключевой проблемой украинской лингвистики на протяжении XX в. В советский период изучение соотношения этих двух языков и проблемы интерференции украинского и русского языков имело большое значение для повышения культуры русской речи на Украине. Проблема билингвизма украинского населения также привлекала внимание ученых. Этим вопросам посвящены многочисленные монографии и статьи. Однако интерес в рамках языковых контактов к такому феномену, как “суржик”¹, под которым прежде всего подразумевается смесь

¹ В статье мы не рассматриваем детально этимологию слова “суржик”, его семантическое расширение от аграрной сферы к языковой со значением ‘смешанная речь’, ‘языковая смесь’. Употребление этого слова в кавычках объясняется тем, что среди лингвистов нет единогласия в точном определении термина, несмотря на то, что он зафиксирован в “Энциклопедии украинского языка”. Существует ряд публикаций, в которых рассматривается научно-популярное значение этого “смешанного” языкового образования. Важно отметить, что название “суржик” известно еще с 1920-х гг.; об этом писал Б. Ларин [1928: 198]; Ю. Шевелев в своих воспоминаниях отмечал, что впервые услышал о “суржике” как о смешанной украинско-русской речи восточных украинских сел в 1930-х гг. [Шевельов 2001: 173]. Безусловно, анализ первых сведений об употреблении этого слова мог бы уточнить время его появления, а

украинского и русского языков, усилился во второй половине 1990-х гг. Возобновившийся научный интерес к этому явлению, несомненно, связан с новым процессом культурно-языковой украинизации вследствие обретения Украиной независимости в 1991 г.

За исключением отдельных научных статей, опубликованных зарубежными украинистами, такими как О. Горбач [Норватсчн 1988], в большинстве публикаций о "суржике" в 90-х гг. XX столетия, особенно на Украине, наблюдалась некоторая предвзятость по отношению к этому феномену, что, вероятно, было связано с преобладающей языковой идеологией², направленной на поддержку и распространение литературной нормы государственного языка. По этой причине в статьях подчеркивалась негативность такого "хаотического, губительного гибрида", как "суржик", являющегося главным препятствием для развития языкового и культурного самосознания украинцев и результатом "чужого", негативного влияния на развитие украинского языка³.

В зарубежной украинистике статья М. Флаера [Флиер 1998] отметила первое существенное различие между характером прежних публикаций и содержанием новых исследований данной проблематики. Фактически стали говорить об изучении "суржика" (и подобного ему феномена — белорусской "трасянки") как о самостоятельном направлении исследований⁴.

также период осознания говорящими на "суржике" разницы между литературным языком и устным, смешанным вариантом. О дефиниции "суржика" см.: [Флиер 1998: 113; Энциклопедия 2000: 616; 2004: 665–668; 2007: 689–682; DEL GAUDIO 2006: 236–238; 2010: 14–20; ВРАСКИ 2009: 49–57; МАСЕНКО 2011: 4–12].

² Для многих противодействие "суржику" означало борьбу против русификации. Например, Л. Биланюк пишет о препятствиях, которые пришлось преодолевать, чтобы взять интервью о "суржике" в первой половине 90-х [БИЛАНЮК 2005]. О роли языковой идеологии в постановке этого вопроса также см.: [BERNSAND 2001].

³ Ср.: "Сьогодні слово «суржик» почали вживати і в ширшому розумінні — як назву з д е р а д о в а н о г о, убогого духовного світу людини, її відірваності від рідного, як назву для мішанини залишків давнього, батьківського, з тим чужим, що нівелює особистість, національно-мовну свідомість. Мішаниною двох мов — української та російської — говорить частина людності України, хоч загальновідомо, що користуватися сумішшю з двох мов — це одне з найтривожніших явищ загальнопедагогічного характеру. Скалічена мова отупляє людину, зводить її мислення до примітива. [...] Суржик в Україні є небезпечним і шкідливим, бо паразитує на мові, що формувалась упродовж віків, загрожує змінити мову..." [СЕРБЕНСЬКА 1994: 6–7; разрядка наша. — С. Д. Г.]. Аналогічні мисли висказувались і в других работах, например: [КОЗНАРСЬКИЙ 1998; ОКАРА 2000; РАДЧУК 2000; СЕРБЕНСЬКА 2002; СТАВИЦЬКА 2001; МАСЕНКО 2004]. Такого рода высказывания в англоязычной социолингвистике принято называть термином "stigmatization", однако в соответствующей русской литературе термин "стигматизация" пока еще мало употребляется.

⁴ Начиная с Первого международного симпозиума, посвященного вопросу "суржика" и подобного ему феномена — белорусской "трасянки" (Ольденбург 2007 г., Германия), обсуждалась приемлемость употребления английского термина "Suržyk Studies", т. е. 'суржикистика' (см. также об этом: [DEL GAUDIO 2014]).

Во второй половине 2000-х гг. были защищены первые диссертации, полностью посвященные изучению этой проблематики⁵. За последние пять лет были опубликованы три монографии, посвященные “суржику” [ВРАСКИ 2009; DEL GAUDIO 2010; МАСЕНКО 2011], ряд других — в процессе подготовки.

В 2010–2014 гг. “суржик”⁶ активно исследовали⁷ И. БРАГА [2011], Л. ДИКА [2011], У. Долешаль, В. Дубичинский, Т. Ройтер [Долешаль и др. 2011], М. Флаер [FLIER 2012], А. Тараненко [2013] и др.⁸ Новизна этих исследований состоит в более конкретном определении области исследования и, соответственно, более четкой дефиниции слова “суржик”. Фактически, научные дискуссии как об определении термина, так и о границах исследования “суржика” присущи большинству публикаций последнего десятилетия [КУРОХТИНА 2012]. Вопрос терминологического несоответствия при употреблении слова народно-бытового происхождения для обозначения этого преимущественно социолингвистического феномена был также предметом активной дискуссии как во время Первого симпозиума, посвященного теме белорусской “трасянки” и украинского “суржика” (Ольденбург, 2007), а также в рамках международного INTAS-проекта (2006–2008) [Дель Гаудио, Тарасенко 2008; DEL GAUDIO, TARASENKO 2009]⁹.

В исследованиях последних четырех лет для определения данного поля исследования широко используется термин “украинско-русский суржик” (УРС). Можно согласиться с распространенной точкой зрения, что в языковом сознании среднестатистического говорящего на Украине под “суржи́ком”, помимо украинско-русской и русско-украинской смеси, также подразумеваются иные нестандартные формы смешения в результате интерференции двух или более языков (например, *украинско-польский суржик*), а в среде эмигрантов подразумевается влияние

⁵ Первая диссертация в Европе, полностью посвященная этой теме, принадлежит автору настоящей статьи.

⁶ Систематизация данных об исследованиях, посвященных явлению “суржик” до начала 2008 г., см.: [DEL GAUDIO 2010: 27–40]. Отметим, что в обзоре литературы мы не рассматриваем монографию А. Брацкого [ВРАСКИ 2009], равно как в труде польского лингвиста не рассматриваются наши предыдущие исследования. Такой недостаток, вероятно, объясняется тем, что оба работали параллельно, независимо друг от друга.

⁷ К этому списку добавим еще две статьи автора, завершенные в 2007 г. и опубликованные по разным причинам только в 2010 и 2012 гг.: [Дель Гаудио 2010; 2012].

⁸ В статье рассмотрены публикации о “суржике” до начала 2014 г.

⁹ Из двух проектов сборника один был опубликован на украинском языке, а другой — на английском; украинская версия статьи “Суржик: актуальні питання та аналіз конкретного прикладу” была сокращена до размера редакционной заметки участников совместного проекта. Потому аутентичное содержание статьи находится только в английской версии.

местного языка на украинский (например, *украинско-итальянский суржик* и т. д.). Такова трактовка “суржика” в широком понимании (*sensu lato*) этого языкового явления. Однако необходимо подчеркнуть, что значительная часть украинцев, как правило, ассоциирует слово “суржик” с украинско-русской смешанной речью, т. е. украинским языком с добавлением русских элементов (*sensu stricto*). Для более конкретного определения объекта нашего полевого исследования была предложена дефиниция “прототип (или базовый тип) суржика” [DEL GAUDIO 2006: 237; 2010: 19–20]. Наше определение функционально совпадает с трактовкой украинско-русского “суржика” (в дальнейшем УРС) как идиома, согласно более актуальной терминологии [ТАРАНЕНКО 2013: 28–37].

Кроме проблемы дефиниции, которая непосредственно связана с более точным определением сферы исследования, остаются нерешенными некоторые важные вопросы, в частности:

1) способы разграничения явления УРС и других форм украинско-русской и русско-украинской интерференции с разными вариантами устной речи Украины (например, диалекты, разговорная речь (просторечие) с вкраплением настоящих и предполагаемых русизмов и т. д.);

2) периоды и способы образования УРС (последние оказываются непосредственно связаны с этапами формирования и стандартизации современного украинского литературного языка);

3) роль языковой идеологии / явления пуризма в украинской грамматике и лексике в изменении языкового сознания современного среднестатистического носителя украинского языка.

Такие взаимосвязанные аспекты заключают в себе устранение языковых черт и элементов, общих по происхождению или формально совпадающих с русским языком, которые воспринимаются среднестатистическим респондентом как русские или “суржиковые” вкрапления. Именно эти вопросы, послужившие основой дискуссии, проведенной во время Пятого Международного конгресса исследователей русского языка, являются объектом настоящего исследования [Дель Гаудио 2014: 625–626].

1. УРС в системе взаимодействия украинского и русского языков

В последнее время в “суржикистике” нашли широкое распространение идеи о роли украинских территориальных диалектов в формировании “прототипа УРС”, причем допускается наличие определенной структуры этой речи. Такая тенденция обнаруживается не только в некоторых интернет-источниках, претендующих на энциклопедичность¹⁰, она также

¹⁰ Ср., например, в русской “Википедии” (<https://ru.wikipedia.org/>): “Суржик образовался в среде сельского населения в результате смешения украинских говоров

очевидна в новых работах на эту тему. Исходя из этого, мы последовательно сформулировали следующие тезисы:

1) украинский диалектный “субстрат” и наложение русских элементов — “суперстрат” — являются фундаментальными компонентами в образовании того, что мы назвали “прототип суржика” и что ныне, в соответствии с новой терминологией, можно назвать “прототипом УРС” или украинско-русской смешанной речи [DEL GAUDIO 2006: 238; Дель Гаудио 2007: 8–9];

2) в нем можно выделить элементарную структуру с межрегиональными, повторяющимися элементами [Дель Гаудио 2012].

Порою кажется, что некоторые исследователи упускают из виду вышеперечисленные аргументы и вклад автора настоящей статьи в разработку проблем “суржика”¹¹.

А. Тараненко, например, описывая УРС как специфическую речь (особый идиом) и квалифицируя его как один из социолектов украинского языка, подчеркивает, что он сформировался путем “нашарування російського «суперстрату» на «субстрат» українського просторічного (переважно в міському середовищі) та діалектного мовлення” [ТАРАНЕНКО 2013: 33].

Также неубедительным является утверждение А. Тараненко о том, что “прототип УРС” (или, по его выражению, “УРС как идиом”) в городской среде скорее базируется на форме украинского просторечия, чем на диалектной речи. Соглашаясь с В. М. Трубом [2000: 46–58] и несущественно модифицируя его мнение о существовании украинского просторечия, мы подчеркиваем, что именно УРС выполняет эту ф у н к ц и ю среди украиноязычного населения в городской среде центрально-восточной и северной Украины [DEL GAUDIO 2010: 239–242]. В то же время в отношении центральной Украины мы не можем утверждать вышесказанное из-за отсутствия соответствующих работ целенаправленно исследовательского характера. Напротив, в таких городах западной Украины,

с русским разговорным языком” (статья “Суржик”; дата обращения: 15.12.2015). Аналогичная мысль содержится в украинской “Википедии” (<https://uk.wikipedia.org/>): “Слід також звернути увагу, про існування з давніх-давен діалектів, які були проміжними між діалектами староруської мови, які склали основу сучасної літературної української і діалектами, які склали основу сучасної літературної російської мови” (статья “Суржик”; дата обращения: 15.12.2015).

¹¹ См. рецензию на нашу монографию в журнале “Мовознавство” [Брицин та ін. 2011: 92]. Справедливости ради следует отметить, что в отдельных публикациях некоторые историки украинского языка (например, Л. П. Гнатюк и др.) трактовали определенные лексемы, формально совпадающие с русскими, не как “суржикизмы” или русизмы, а скорее как исторические реликты и диалектизмы. Однако, насколько нам известно, в их работах вопрос “суржика” систематически не изучался в своей целостности и не обсуждалась конкретно теория субстрата и суперстрата.

как Львов, где украинский язык покрывает практически все коммуникативные сферы, правомерно говорить об украинском просторечии или об украинском городском региолекте [Палінська 2010; Герд 1998].

Большинство наших информантов (среднего и старшего поколения, 35–70 лет) показали, что "прототип УРС" является их природной, естественной речью. Общение с детьми на нем, особенно со стороны старшего поколения, привело к относительной стабилизации этой речи. Из лингвистической литературы известно, что именно дети являются носителями инноваций или стабилизации языковых процессов.

С лингвистической точки зрения в "прототипе УРС" наблюдается определенное количество повторяющихся грамматических, фразеологических и лексических структур, независимо от области происхождения¹². В связи с этим можно предположить, что сегодня УРС, особенно для среднего и младшего поколений, функционально заменяет диалект, вытесняя последний во многих центральных и северных областях. Однако предложенная нами гипотеза нуждается в дополнительной эмпирической проверке.

Если сравнить общие характеристики УРС и примеры, приведенные А. Тараненко [ТАРАНЕНКО 2013: 28], характерные для Днепропетровской области, с их эквивалентами в Киевской, Полтавской, Житомирской, Черниговской, Харьковской и других областях, то становится очевидным, что типичные маркеры, ассоциируемые с УРС, не отличаются между собой существенно [DEL GAUDIO 2010: 63–138]. В УРС наблюдается высокий процент наречий, союзов, частиц, некоторых местоимений и слов, касающихся техники, технологии и бытовых реалий, либо русского происхождения, либо формально совпадающих с ними, например¹³: *да vs. так; час vs. зараз; еслі vs. якщо; звідки vs. откуда; іменно vs. саме; медлено vs. повільно; даже vs. навіть; нет / не vs. ні; конешно / канешно vs. звичайно / звісно; напевно vs. напевно / мабуть; наприклад vs. наприклад; допустім vs. припустімо; между vs. між; первий vs. перший; луч(ш)e vs. краще; получав vs. отримував; настроєніє vs. настроїї; язык vs. мова; робіть* в значении 'работать' и многие другие. Некоторые лексемы в "суржиковой" речи употребляются в качестве синонимов: *када / коли; ето / це; хорошо / добре; від / од; нада / треба; перший / первий* и т. д. Отметим, что не все лексемы взаимоисключают друг друга. Некоторые элементы в украинском языке имеют исторический характер, о чем свидетельствуют диалекты и произведения украинских писателей XIX в.; в случае говорящих на УРС эти лексемы рассматриваются как дублеты.

¹² Имеются в виду области центрально-северной и центрально-восточной Украины, в которых были отобраны наши информанты.

¹³ Примеры предложены в украинской орфографии для наглядности.

Кроме того, такие фразы, как *не обрачай вніманія! откуда я знаю?! та харош... я оце тобі сказав, і всьо! думай самостоятельно* и т. д., встречаются в очень широком ареале. Вариации в основном касаются произношения отдельных фонем и интонации, ср.: *Йому ж казать бісплезно — бесплезно; Він тіки після в торой смєни освободився, приїж жає пізно — він то(ль)ка после в тарой смєни освободився, приїж жає позна* (север Киевской и Черниговской области); *самостоятельно — самостаятельно; дісвітільно шо-то не так vs. дісвітельно шо-то не так* и др.

Вышеприведенные примеры и результаты собственного анализа текстов на “суржике” дают возможность утверждать, что настоящее или гипотетическое влияние русского языка на украинский субстрат более очевидно в области лексики (причем чаще всего среди дискурсивных маркеров), в тех случаях, когда базовые морфосинтаксические структуры опираются на украинскую основу. Поэтому мы рассматриваем “прототип УРС” в структурном плане как разновидность украинского языка. В связи с этим можно провести параллель с природой современного английского языка, который, несмотря на существенное влияние латыни и старофранцузского языка, относится по своей базовой структуре к германским языкам.

Это не исключает региональной вариативности, поскольку УРС, как каждое языковое явление, подвергается территориальной и социальной изменчивости. В этом плане такой главным образом разговорный вариант языка¹⁴ находится на границе между диалектом и просторечными формами украинского языка: в нем выявляются региональные черты с добавками русских элементов, нечто вроде регионального койне [Беликов, Крысин 2001: 34; Дель Гаудио 2012; Демченко 2012: 56–57].

В украинском языковом ландшафте, кроме “прототипа УРС”, также сосуществуют индивидуальные формы употребления смешанной речи (идиолекты), часто ассоциируемые с низким уровнем образования говорящего и не вполне адекватным языковым сознанием.

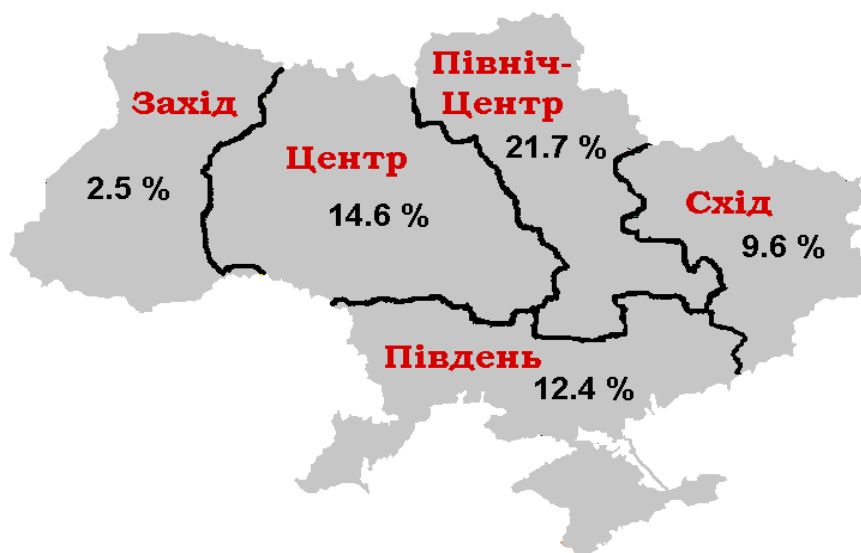
Эти идиолекты также обусловлены психолингвистическими факторами. Такие “с у р ж и к о в ы е” идиолекты проявляются в зависимости от ситуативности дискурса; они часто являются формами приспособления (адаптации) к речи собеседника, и потому сложно определить базовую структуру принадлежности языка. Несмотря на то, что

¹⁴ Также существует осознанное использование “суржиковых” элементов в современной художественной литературе с целью стилистической окраски или для того, чтобы передать читателю ощущение реального контекста. Однако такие попытки часто являются искусственными конструктами. Что до употребления “суржика” в СМИ, ситуация немного сложнее. Если речь идет о спонтанном интервью или ток-шоу, то возможное употребление УРС приближено к реальности.

психолингвистические аспекты мотивированных и немотивированных форм смешения не касались прямого объекта нашего исследования, мы отметили, что в функционировании “прототипа УРС” существенную роль играют также дополнительные факторы и такие коммуникативные стратегии, как, например, переключение и смешение кода¹⁵, ментальная ассоциация, адаптация и т. д.

По данным INTAS-проекта [BESTERS-DILGER 2009: 109, 389], на “суржике” постоянно говорит около 3,1% населения. Вопрос о том, какой именно вид “суржика” — идиолект или социолект, на основе украинского или русского языка — имели в виду исследователи фокус-группы Украинского института социологии во время проведения исследования, остается открытым.

Подчеркнем, что социолингвистические результаты исследований, которые показывают распространение “суржика” (см. нижеприведенную карту), часто зависят от социологических подходов к проведению анализа. Распространение “суржика” по макрорегионам, по данным Киевского международного института социологии 2003 г., выглядит следующим образом¹⁶:



¹⁵ Напомним, что смешение кода, в отличие от переключения, не происходит в процессе одного разговора. В случае смешения кода переключение с одного языка на другой зависит от собеседника [AUER 1990; DEL GAUDIO 2010: 265–267].

¹⁶ Карта составлена полуанонимным пользователем украинской “Википедии” (для упомянутой выше статьи “Суржик”) на основе данных статьи В. Е. Хмелько [2004: 11], где суржик интерпретируется как “смесь украинского и русского”.

Что же касается социокультурного восприятия этого социолингвистического феномена, оценки, как правило, различны и субъективны. Кроме официальных результатов опроса из проекта, данные нашего исследования (2006–2007) показали, что далеко не все информанты негативно относятся к УРС. На самом деле этот феномен, несмотря на острую критику некоторых известных украинистов [Moser 2011: 250], часто ассоциируется с “чем-то родным, с семьей, друзьями, обстоятельствами”; по словам респондентов, “когда ты говоришь на суржике, ты расслаблен и не следишь за своей речью. Суржик также ассоциируется с сельским происхождением человека, говорящего на нем” (оба высказывания записаны нами в 2006 г. в Черниговской области от двадцатипятилетней респондентки с высшим образованием).

2. Формы отклонения от норм русского языка

В рамках разных форм интерференции и смешения кодов на Украине дискуссионным является вопрос возможного существования языкового смешения на основе русского языка, так называемого “русского суржика” (РС), в котором русский является базовым языком, а украинский — адстратом. Теоретически нельзя отрицать а priori возможные формы гибридизации на основе русского языка. Такая гипотеза была впервые сформулирована в “суржикистике” М. Флаером [Flaer 1998: 115–116], хотя уже в советские времена обсуждался вопрос “контаминации” двух языков в результате влияния украинского на русский, о чем свидетельствуют исследования о культуре русской речи на Украине [Ижакевич 1976; Брицын 1986].

По мнению некоторых ученых, русско-украинская языковая смесь возникла на фабриках, шахтах, среди малообразованных жителей и рядовых военнослужащих Донбасса. Такой вид смешения характерен для крупных индустриальных городов Восточной Украины¹⁷, таких как Харьков, Днепропетровск, Запорожье и др. Киевские пуристы той эпохи были скорее возмущены негативным влиянием этой языковой смеси на русский язык, нежели на украинский [Норватсх 1987: 218].

Не претендуя на роль исчерпывающего исследования, наши эмпирические наблюдения подтвердили, что в настоящее время большинство русскоязычного населения Украины в целом соблюдает грамматические нормы русского языка.

Несущественные отклонения от грамматических норм русского языка были замечены нами в двух периферийных русскоязычных селах Харьковской области во время нашего полевого исследования в 2007 г.,

¹⁷ Исторически в этих областях жили те, чьи потомки к настоящему времени обладают русской или украинской идентичностями.

посвященного вопросу о возможном существовании русско-украинского “суржика”. Наблюдения над речевым поведением ограниченного количества русскоязычных немобильных информантов старшего поколения, не имеющих базового образования, показали некоторые отклонения от норм русского языка, например: *А счас женщина там работае, но ничего... он ниче не казал, мавчал, не признавался*. Достаточно ли этих речевых отклонений, чтобы квалифицировать такую речь девяностолетнего респондента как “русский суржик”? По нашему мнению, такая речь еще остается в допустимых рамках русского языка с очевидными просторечно-диалектными чертами, характеризующими и южнорусские говоры (подробнее об этом см.: [DEL GAUDIO 2010: 244–248]). Употребление *в* вместо *л* в качестве украинского рефлекса в историческом сочетании *-ъл-* в корне (*мавчал*) или украинского окончания *-е* вместо русского *-ет(ь)* в речи респондентов не было последовательным.

Несомненно, речевое поведение информантов русскоязычных сел восточной Украины, особенно соседствующих с украиноязычным ареалом, требует целенаправленных социолингвистических исследований и уточнений. Как известно, в настоящий момент отсутствуют исследования, направленные на разграничение потенциального “русско-украинского суржика” и других форм интерференции и вариативности.

Украинские вкрапления (украинизмы) в речи русскоязычных жителей Украины объясняются в основном ситуативностью дискурса или выражают давно освоенные бытовые и административные реалии украинского общества. Кроме того, параллели с исследованиями статуса и вариативности русского языка в постсоветских республиках скорее показывают существование “национальных” или “региональных” вариантов русского языка, в зависимости от точки зрения и критериев оценки исследователя, а не настоящие формы гибридизации. Разумеется, после распада Советского Союза и под влиянием современных процессов развития национальных и этнических языков русский язык, особенно в его устной форме, впитывает местную специфику преимущественно на уровне фонетики и лексики (официально-административная сфера) и, в меньшей степени, на уровне грамматики (морфо-синтаксис) [Дель Гаудио 2011].

Такая разновидность русского языка, включающая национальные или региональные особенности местных языков, описывается в международной социолингвистике как “недоминирующие варианты полицентрических языков”¹⁸, таких как, например, английский в Ирландии,

¹⁸ Ср. англ. “non-dominant varieties of pluricentric languages”. Такая дефиниция предусматривает существование доминирующего варианта главной территории происхождения языка (центр), ассоциируемого с большим престижем, часто по причине исторического, экономического, политического происхождения государства, напр. Германия и Австрия; Великобритания и Республика Ирландия

испанский на Кубе или русский на Украине, в Белоруссии, Казахстане и т. д. [DEL GAUDIO 2013]. Вопрос о том, смогут ли эти варианты образоваться со временем самостоятельные и официально признанные системы русского языка по образцу американского, австралийского или ирландского вариантов английского, в данный момент остается спорным [Дель Гаудио 2010].

Проведение четкой границы между украинским вариантом русского языка (УР = “украинский русский”), с которым многие говорящие на этом языке идентифицируют черты “русского суржика” [FLIER 2008: 43–44], и русским стандартным языком (РР = “российский русский”, т. е. литературный русский), с одной стороны, и потенциальными гибридными формами (т. е. “русско-украинский суржик” — РУС) — с другой, является сложной задачей. Достижение такой цели возможно только на основе четко сформулированных критериев и полевых исследований. На данном этапе можно лишь предложить основные лингвистические и экстралингвистические критерии для разграничения вариантов УР и РР, а следовательно, УР и возможного РУС. Основные критерии для дифференциации УР и РР или гипотетически возможного РУС таковы:

- незначительная фонетическая, лексическая и структурная вариантность общепринятых норм стандартного русского языка рассматривается нами как УР, а не как РУС;
- определение одной формы регионального варианта как основной, осознание этого варианта со стороны русскоязычного населения Украины, его юридическое признание и соответствующая кодификация как отдельного национального варианта УР.

В случае с УР вариантность действует или проявляется более явно на фонетическом уровне и, в определенной степени, в лексическом выборе¹⁹. Здесь, кроме отдельных украинизмов, указывающих на бытовые реалии и административно-юридическую сферу, присутствуют также некоторые выражения и слова, отражающие местный колорит и культуру. Как было упомянуто выше, в морфо-синтаксисе также отмечаются некоторые отклонения от норм русского языка (РР), особенно в употреблении предлогов, ср.: *как пройти до метро — как пройти к метро?*; *скучать за кем-то — скучать по кому-то*; *жить в Украине — жить на Украине* и пр. [DEL GAUDIO, IVANOVA 2015].

и пр. Напротив, недоминирующий вариант языка (периферия) указывает на тот же полицентрический язык (т. е. язык, имеющий широкое распространение в нескольких относительно независимых друг от друга сообществах-государствах, каждое из которых вырабатывает свои нормы для данного языка) не являющиеся эталонным образцом для всех говорящих и часто имеющие негативную коннотацию [CLYNE 1992; MUNR 2005; DEL GAUDIO 2012].

¹⁹ О характеристике идиосинкразических черт УР см.: [Дель Гаудио 2011].

Поэтому задача дифференциации УР и потенциального “суржика” на русской основе сложна. Она предусматривает масштабное полевое исследование и детальный количественный анализ языковых данных по образцу Ольденбургской социолингвистической школы. Кроме того, необходимо учесть, что нельзя говорить о русско-украинском “суржике” в случаях “легкой”, спорадической, интерференции украинской фонетики в русскую. Также нельзя определить РУС как случайное смешение кода, когда один из собеседников говорит исключительно по-украински, а русскоговорящий адресат повторяет несколько элементов высказывания первого, напр. укр. *передайте, будь ласка, заяву* — УР *какую вам передать заяву?* (вместо рус. *заявление*).

Кроме того, мы также не рассматриваем как РУС временное и контекстуальное переключение кодов с целью оказания прагматического или стилистического воздействия на собеседника. Такие обстоятельства представляют скорее правила, чем исключения в ситуации билингвизма (или многоязычия) с чертами диглоссии (или триглоссии — если УС рассматривается как дополнительное языковое средство Украины), что характерно для украинского социума. Следовательно, если учесть предложенные выше критерии, то картина определения потенциально-го РС, даже на уровне идиолекта, становится менее пестрой.

3. Диалект или “прототип УРС”?

Другой дискуссионный вопрос касается критериев разграничения диалектов и “прототипа УРС”. В данном случае провести надежную разграничительную линию также непросто. Во-первых, исследователю, который пытается провести такое разграничение, необходимо обладать глубокими знаниями в области диалектологии, региональных и местных особенностей говоров той области, где в речи используют определенный вариант УРС, поскольку последний опирается на диалектную основу. Это особенно касается фонетических особенностей и частично лексики. Упрощенная грамматическая структура УРС не показывает существенной вариации в разных регионах, использующих подобный диалектный субстрат (например, в юго-восточном, северном диалектах).

Картина становится более пестрой, если учесть, что диалектная территория в течение нескольких десятилетий изменялась и подвергалась процессу стандартизации, приближаясь больше то к украинскому языку, то к русскому — в зависимости от географического расположения региона и других экстралингвистических факторов²⁰. В этом случае

²⁰ В отличие от основного массива украинского языка, своеобразная картина вырисовывается в пограничных зонах. Например, УРС в районах, прилегающих

процесс “с у р ж и к и з а ц и и” можно рассматривать как промежуточную стадию в осуществлении таких изменений: традиционно речь идет о переходе определенных групп населения на русский язык. В последние десятилетия также наблюдается распространение украинского литературного языка.

Важным фактом является то, что носители “прототипа УРС” (L1) в основном относятся к среднему и старшему поколению (40–70 лет). А молодые респонденты (20–35 лет) владеют украинским и русским языками без существенных отклонений от стандартной нормы, причем характерно преобладание или первого, или второго языка в зависимости от региона, в котором говорящий родился и вырос, а также от его/ее индивидуального выбора.

Во-вторых, базовые знания истории развития и стандартизации украинского литературного языка (и вообще восточнославянских языков) являются основным инструментом для объяснения и интерпретации происхождения определенных форм и элементов, которые сегодня рассматриваются как “суржикизмы”. На самом деле происхождение УРС нельзя истолковывать в узких рамках синхронной социолингвистики. Такой подход, как мы неоднократно подчеркивали, ведет к искаженной трактовке многих языковых элементов. Например, если в некоторых вариантах украинского языка существует корень *бистр-*, а сегодня в литературном языке допускается лишь *швидкий* ‘быстрый’, нельзя объяснить форму *бистріший* исключительно как результат гибридизации (русская основа *быстр-* + украинский афикс *-иш-* превосходной степени). Таких примеров достаточно много на всех языковых уровнях. В фонетике, например, для некоторых северно-восточных диалектов характерно сохранение этимологического *o* вместо *i*: *стол* – *стіл*; *дом* – *дім*; *моцно* – *міцно* или присутствие дифтонга *іе* вместо монофтонга *i* в новых закрытых слогах, ср. *хліб* – *хліб*. Известно, что переход этимологического *o* > *i* или *іе* > *i* не был равномерным и одновременным во всех диалектах украинского языка, что отчасти проявляется в художественных произведениях писателей и поэтов XIX в. и частично первой четверти XX в. [SNEVELOV 1979].

В лексике также наблюдается немалое количество слов, имеющих сегодня статус архаизмов / церковнославянизмов, диалектизмов или просто отмечающихся как “русизмы”, а в контексте смешанной речи как “суржикизмы”²¹, без оценки того факта, что эти лексемы не только

к Белоруссии, отражает некоторые белорусские черты в морфологии вследствие диалектных контактов и диалектного континуума.

²¹ Как будет видно в следующих параграфах, такой подход к изучению УРС связан с языковой идеологией, пуризмом и, следовательно, с изменением языкового сознания молодых поколений.

могли принадлежать старой украинской литературной традиции, но фактически были широко распространены в украинской художественной прозе XIX и раннего XX вв.; *врем'я — час, год — рік, літ — рокив, город — місто, граница — кордон, діло — справа, кусок — шматок, лице — обличчя, письмо — лист, праз(д)ник — свято, просьба — прохання, язык — мова, первый — перший, ждати — чекати, итальянец — італієць* и мн. др.²²

На Ольденбургской конференции (2007) и в ряде публикаций обсуждалось, что диалектно-лексический и исторический компонент “прото-типа УРС” состоит именно из таких и подобных им лексем [DEL GAUDIO 2008; 2014]. Этот подход вызвал острую критику со стороны таких ученых, как Л. Т. Масенко и М. Мозер. Интересно отметить, что основательный анализ языка Т. Г. Шевченко, осуществленный М. Мозером [MOSER 2008; МОЗЕР 2012], частично подтвердил результаты наших первоначальных наблюдений настоящей природы ряда “суржиковых” элементов.

Более того, куда могли исчезнуть церковнославянизмы (формально совпадающие с русскими эквивалентами по известным историческим причинам), которые характерны для прежних вариантов старого украинского литературного языка? Они продолжают существовать именно в таких устных формах, как диалекты и, следовательно, УРС.

Можно, безусловно, допустить усиление этих форм в речи респондентов из-за их схожести с русским литературным языком.

4. УРС в процессе стандартизации украинского языка

Помимо диалектного подхода происхождение УРС и существование потенциальных лексико-семантических и структурных “русизмов” необходимо исследовать в более широких рамках диахронической эволюции украинского языка²³.

Исходя из того, что до начала процессов стандартизации русского, украинского и белорусского языков большая часть населения,

²² Приведенные лексемы — результат случайной выборки. Лексемы в правой части дублетных пар считаются нормой современного украинского языка, а лексемы левой части в языковом сознании многих говорящих трактуются по-разному (как русские слова, диалектизмы, “суржикизмы”) — и тем не менее включены в большинство словарей украинского языка, а также в их современные электронные версии [СУМ 1970–1980; СМШ 1964; ЕСУМ, 1–7].

²³ Мы не рассматриваем детально ранние этапы (1798–1840-х гг.) формирования современного украинского литературного языка и его соотношение с другими литературными идиомами Украины в XVII–XVIII вв. В настоящей статье обращается внимание только на определенные аспекты и этапы процесса кодификации (стандартизации) так называемого “нового” украинского языка (ср. укр. терминологию: *нова українська літературна мова*).

проживающего в центральной части современной Европейской России и Центрально-Северной Украины (Полесье), говорила на наречиях, которые могли подвергаться изменениям в зависимости от диалектной зоны [Филин 1972; Півторак 2001], необходимо уточнить некоторые факты. Итак, можно предположить, что в той части Левобережной Украины, которая в XVIII в. входила в состав Российской империи, основная масса неграмотного населения говорила на украинских диалектах, в то время как военные, местные гарнизоны и чиновники подвергались процессу русификации или были русскими. Для выражения специфических понятий в таких сферах, как государственная администрация, армия, образование, церковь и т. д., эта часть населения была вынуждена употреблять термины, устойчивые словосочетания, формулировки из бывших украинских литературных вариантов (например, славяно-русского, делового языка Гетманщины и пр. [DEL GAUDIO 2009]). В состав этих литературных вариантов входили церковнославянизмы, полонизмы, староукраинские элементы и русизмы. Именно церковнославянизмы и отдельные староукраинские элементы, помимо естественных русизмов, из-за их формального сходства с русским языком могли придавать речи “российский” оттенок. Современный украинский читатель без специального историко-филологического образования, игнорируя диахронические изменения украинского языка, склонен воспринимать определенные формы текстов кон. XVIII – нач. XIX вв. как “русифицированные”.

Например, в отдельных публикациях о “суржике” [Враскі 2009: 113; МАСЕНКО 2011: 12–15] некоторые морфологические и лексические элементы в фрагментах произведений украинских писателей кон. XVIII – пер. пол. XIX вв. интерпретируются как русизмы (или “суржикизмы”). Действительно, проанализировать язык литературных произведений таких писателей, как И. Котляревский, Г. Квитка-Основьяненко и др., гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Тем не менее перед тем, как приступить к их анализу, необходимо учитывать следующие факторы:

- а) наслоение разных литературных традиций староукраинского периода в процессе образования ‘нового’ украинского литературного языка (условно с 1798 г.);
- б) стилистические приемы писателей в попытке передать разговорный язык определенных персонажей;
- в) стремление к экспериментированию и созданию нового литературного языка.

Кроме того, для лучшего осмысления культурно-литературного контекста конца XVIII в. следует учитывать тот факт, что писатели Левобережной Украины, особенно в первые десятилетия XIX в., попали

под влияние черниговской литературной традиции, в основе которой лежали северноукраинские диалекты. Подчеркиваем, что северноукраинский диалектный ареал во времена Котляревского охватывал также северную часть Полтавской области. Поэтому восточнополесские диалектные черты были присущи разговорной речи киевского и полтавского регионов, составляющей основу "нового" украинского литературного языка, и большинство писателей нового украинского периода подверглись влиянию этой традиции [SHEVELOV 1966: 10–24]. Таким образом, черты северного украинского наречия и письменной традиции Черниговщины в большей или меньшей степени отражены во всех произведениях литераторов от И. Котляревского до Т. Шевченко. Следовательно, некоторые морфологические и лексические особенности часто цитируемых фрагментов "Энеиды" И. Котляревского или прозы Г. Квитки-Основьяненко, которые рассматриваются как своеобразная языковая гибридизация, являются продолжением ранее начатой письменной традиции. Действительно, создатель нового украинского литературного языка, кроме полтавского наречия, употреблял язык бурсаков и помещиков. По мнению Ю. Шевелева, Котляревский в этом также не отличался новаторством. Разница между прежней литературно-языковой традицией (XVIII в.) и последующей (нач. XIX в.) значительна, но не настолько, как предполагается²⁴. Исходя из сказанного, нельзя интерпретировать как "суржик", как предлагают вышеупомянутые социолингвисты, такие литературные фрагменты: *Се мертвий і не дишить, не видить, то єсть* . . . [Котляревский 1968: 42]; или из прозы Г. Квитки-Основьяненко [1969: 314–315]: *Казуснее діло! [. . .] Треба-надобно спросити у господина ісправника розрішення* . . . и др. [МАСЕНКО 2011: 15].

Как известно из исторической грамматики, глагольные формы 3-го л. ед. ч. настоящего времени, такие как *дишить, видить, єсть* и др., были нормативны в старом украинском языке, на котором частично основана традиция, начатая И. Котляревским [Жовтобрюх та ін. 1980: 203–204; Бевзенко та ін. 1978]. Форма *єсть* (3-е л. ед. ч. глагола *бути*), даже если ее рассматривать как архаическую или сугубо письменную, ни в коем случае не является русизмом. Тем не менее данная форма, которая часто проявляется в "прототипе УРС" параллельно с нормативной *є*, в сознании обычного информанта ассоциируется с русским влиянием. Кроме того, полная форма прилагательных — даже стилистически маркированная — остается нормативной в современной украинской грамматике.

²⁴ Ср.: "Kotljarevs'kyj gab viel eher die Sprache der Seminaristen der Bursa und der kleinen Gutsbesitzer als die der Bauern wieder. Letzen Endes ist er durchaus auch kein Sprachrevolutionär. Der Bruch zwischen der Sprache der Literatur des 18. und des 19. Jahrhunderts ist bedeutend, aber kleiner, als man annimmt" [SHEVELOV 1966: 14]. Также см.: [DANYLENKO 2008: 82–115].

Тем более, во многих диалектах полная форма прилагательных сосуществует с краткой формой.

Лексема *діло*, как отмечалось выше, характерна и для литературной традиции XIX – нач. XX вв., и для современной украинской устной речи. Дублетные формы *треба – надбно* были также характерными для этого периода. *Ісправник* (ср. укр. *справник*) можно рассматривать как реалию того времени, поскольку эта лексема называет одну из профессий царской России. Существительное *розрішення* (при укр. *розрішати, розрішення* и под.) по образцу *прошеніє* было очень распространенным в языке канцелярии (также см. об этом: [МОЗЕР 2012: 147]).

С другой стороны, несомненно существует много лексем, формально совпадающих с русскими. Это обусловлено тем, что в “украинском языковом варианте” российской Украины XIX в. определенные понятия, которые не относились к бытовой речи, выражались при помощи славяно-русизмов, формул и штампов русского языка канцелярии, который был официальным во всей империи. Кроме того, после ликвидации Гетманщины (вероятно, даже еще раньше) местное чиновничество и отчасти помещики пользовались в основном русским литературным языком.

Многочисленные русизмы, касающиеся научно-технического прогресса, начали быстро распространяться с расширением научных знаний и индустриализации на протяжении XIX в. Распространение русизмов было обусловлено тем, что украинский литературный язык ограничивался беллетристикой. Поэтому вся научная, культурная и публицистическая лексика украинского языка того периода опиралась на русский язык. Усилия создателей и идеологов современного украинского литературного языка П. Кулиша, И. Костомарова и др., несмотря на деятельность журнала “Основа” (1861–1862), не увенчались полным успехом. С одной стороны, деятельность журнала несомненно способствовала созданию условий для расширения основной украинской литературной лексики, которая позже вошла в “Словарь української мови” Б. Гринченко (1905–1907). А с другой – идеологи украинского языка не успели создать адекватную специальную лексику для дальнейшего развития украинского языка. Редакция журнала “Основа”, просуществовав менее двух лет, в 1862 г. прекратила свою деятельность по разным причинам, и прежде всего из-за проблем финансовых. Запреты царской России (Валуевский циркуляр 1863 г. и Эмский указ 1876 г.) на использование украинского языка пресекли все попытки создать собственную, независимую специализированную украинскую лексику [DANYLENKO 2010: 14].

Перенесение украинской культурной и языковой деятельности из российской Украины в Галицию (и в Западную Украину в целом) вследствие Указа 1876 г. и вплоть до Первой русской революции 1905 г.,

когда запрет на украинский язык был отменен, способствовало существенному изменению лексического состава и частично — грамматических особенностей украинского языка. Этот новый вариант украинского языка (нечто вроде синтетического компромисса между первоначальным центрально-восточным и западным украинскими вариантами) отражается в языке прессы кон. XIX — нач. XX вв.

Можно утверждать, что, не считая первого языкового синтеза П. Кулиша, Т. Шевченко и др. в середине XIX в., новая лексика, терминология и определенные структуры украинского языка формировались в Галиции, особенно с 1876 г. до начала 1920-х. Разумеется, переворот 1917 г. и последующие историко-социальные события — украинская революция (1917–1921), непродолжительный период независимости, политика коренизации, или украинизации²⁵, — способствовали лексическому обогащению украинского языка, связанному с повышением престижа последнего. Однако в этих новых обстоятельствах язык подвергся целенаправленным изменениям, в которых лингвистическая идеология также сыграла свою роль. В вышеуказанный период многочисленные центрально-восточные украинские языковые элементы, более близкие русскому языку вследствие историко-лингвистических причин²⁶, заменялись галицкими (или, в общих чертах, западноукраинскими)²⁷.

В процессе сознательного и несознательного изменения и стандартизации языка УРС, как и диалекты, накапливает и сохраняет много вышедших из употребления элементов церковнославянского или славяно-русского происхождения [DEL GAUDIO 2010: 181–209], например, *воздух* (ср. укр. *повітря*), *количество* (ср. укр. *кількість*) [ФАСМЕР, 1: 333; 2: 291]. Поэтому нет ничего удивительного в том, что первые сведения о "суржи́ке" как о языковой смеси относятся именно к 20-м гг. XX в. [ЛАРИН 1928: 198]. Хотя, по нашему мнению, начало процесса формирования этой "смеси" в современном значении — как формы отдаления от предыдущих украинских языковых традиций в рамках процесса стандартизации — относится к более ранним периодам (кон. XVIII — пер. пол. XIX вв.)²⁸.

²⁵ Процесс украинизации продолжался с 1920-х до 1932 г.

²⁶ Диалектный континуум, языковые контакты, преобладание русского языка в российской Украине в качестве официального средства научной и коммерческой коммуникации, билингвизм украинской интеллигенции и т. д.

²⁷ Поскольку именно лексические черты больше всего характеризуют УРС, перечислим некоторые лексемы, вошедшие в состав украинского языка посл. четв. XIX в. — нач. XX в., которые И. Нечуй-Левицкий определил как "галицкие" и которые заменили бывшие синонимы: *належний, урочистий, відомий, переконатися, засада, суспільний, рух* и т. д. [SHEVELOV 1966: 49; 134–147].

²⁸ Разумеется, мы не отрицаем влияния русского языка на украинский, но это влияние — только один из факторов в контексте языковых контактов, и оно не является объектом данного исследования.

В 1933 г. начался обратный процесс, т. е. введение русских элементов или искусственный отбор элементов, имевших общие корни с русским языком, с идеологической целью заменить более “украинские” и, соответственно, западноукраинские формы на подобные русские формы²⁹. Однако следует подчеркнуть один важный аспект: отбор проводился очень тонко, учитывая степень сосуществования и подобия определенных форм в северных и центрально-восточных диалектах [SNEVELOV 1966: 120], ср.: *цукор* > *сахар*, *ліжко* > *кровать*, *помаранча* > *апельсин*, *склянка* > *стакан*, *парасолька* > *зонтик*, *пересічний* > *средний* и многие другие [SNEVELOV 1966: 120–121; РУС 1937].

Искусственное сближение украинского языка с русским в течение последующих десятилетий (1940-е – 1960-е гг.) снова увеличило число тех лексем, которые сегодня, вследствие изменения языковых условий и лингвистической идеологии (явления пуризма), трактуются и заклеиваются как русизмы, а в контексте “с у р ж и к о в о й” речи — как “суржикизмы”. В этом плане можно согласиться с Ф. ГОФЕНЕДЕРОМ [2010: 46]. Однако достоверная классификация определенных лексем как потенциальных русизмов без тщательной этимологической и диалектной проверки невозможна. Даже если ограничиться предложенным МАСЕНКО [2011: 25] списком слов, отобранных из публикации австрийского автора [ГОФЕНЕДЕР 2010: 42], например: *бесіда* — *розмова*, *буква* — *літера*, *вік* — *століття*, *ігнорувати* — *нехтувати*, *кількість* — *число*, *однак* — *проте* и т. д.³⁰, то уже на этой плодотворной почве возможна научная дискуссия³¹. Анализ большинства примеров Масенко показывает, что они действительно представлены в истории украинского языка. Кроме того, старое поколение украиноязычных граждан воспринимает их как родные украинские слова. Приведем некоторые примеры из авторитетных словарей:

- *бесіда* и *розмова*: первое слово принадлежит общеславянскому фонду, что также засвидетельствовано в староукраинской книжной традиции [ЕСУМ, 1: 176; Тимченко, 1: 87];

²⁹ Мы не рассматриваем здесь все те общеизвестные политико-лингвистические меры, принятые для ограничения функции украинского языка, как то: уничтожение словарей, созданных в 1920-е гг., ликвидация терминологических комиссий в составе Института украинского научного языка ВУАН и т. д., которые тоже могли содействовать распространению терминологических русизмов и, следовательно, “суржикизмов”. Для объективной картины ср.: [МАСЕНКО та ін. 2005; ДАНУЛЕНКО 2007: 421–429].

³⁰ Вторые лексемы рассматриваются здесь как “более украинские” слова, которые после сворачивания украинизации “искусственно” вытеснились из узуса для того, чтобы сблизить лексику украинского языка с русской, суживая, таким образом, лексический состав украинского языка.

³¹ В следующем параграфе рассматривается обратный процесс, который происходит в наши дни, — устранение лексем и конструкций, общих с русским языком.

- *буква и літера* — абсолютные синонимы [ЕСУМ, 1: 286; Тимченко, 1: 152];
- *ігнорувати* — старое заимствование из латинского языка [ЕСУМ, 2: 289], существующее в большинстве славянских и европейских языков.

Безусловно, социальные условия послевоенного периода (1950–1970-е гг.) усиливали процесс русификации. В эти годы в контексте нового этапа урбанизации городское население, которое в основном состояло из приезжих сельского происхождения, стремилось перейти на русский язык, чтобы повысить свой социальный статус и создать условия для карьерного роста. В этих условиях первые волны переселенцев “украиноязычного”, не всегда образованного сельского населения перешли с родного говора и “прототипа суржика” к другим формам смешения УРС в городской среде. Эта ситуация также способствовала стереотипному неприятию украинской речи со стороны части русскоязычного городского населения.

4.1. Языковая идеология и явления пуризма в консолидации УРС

Сегодня в украинской интеллектуальной среде наблюдаются латентные или явные тенденции отделения стандартного украинского языка от русского, особенно в его письменной форме. Такие процессы особенно касаются научно-популярного, литературного и публицистического стилей. Подобные процессы устранения потенциальных русизмов из украинского языка и сознательного разграничения общих с русским языком форм и грамматических структур были также характерны для ранних периодов формирования и стандартизации украинского языка. Такие тенденции начали усиливаться в послешевченковскую эпоху. Как говорилось в предыдущем параграфе, это было связано с попытками создать адекватную научно-публицистическую терминологию, которая в публикациях первой половины XIX в. либо отсутствовала, либо была заимствована из ранних вариантов литературных языков, в том числе из русского³², например *розрішеніє, приказаніє* и т. д. [Русанівський 2002: 211].

Целенаправленные изменения в украинском языке оправдываются стремлением создателей “нового” украинского литературного языка доказать самостоятельность этого языка, особенно в отношении “великорусского” [Огієнко 2004: 328–329]³³.

А. Тараненко, обращая внимание на явление пуризма украинского интеллектуального социума 2000-х гг. и разделяя точку зрения

³² Русский язык больше всех других современных восточнославянских языков опирается на литературные традиции, сформированные на украинской земле (имеется в виду прежде всего “славеноросский язык” [DEL GAUDIO 2009]).

³³ Также см. DEL GAUDIO [2010: 203; 224].

И. Огиенко, отметил: “. . . відзначаємо наявне в 20-х рр. у Галичині [. . .] прагнення обминати форми чужих слів, що однакові з російською” [ТАРА-НЕНКО 2005: 87]. На самом деле, как уже упоминалось выше, в 1920-е гг. завершился первый главный этап стандартизации украинского языка. Хотя устранение общих с русским языком элементов и ненаучно, оно применяется и сегодня. Один из лингвистических критериев определения современной нормы украинского языка — это степень подобия с русским языком. Эта современная тенденция усилилась после объявления независимости Украины в 1991 г. и особенно интенсивно проявляется со второй половины 1990-х гг. В связи с этим А. Тараненко под-черкивает, что

пуризм в современной языковой практике направлен на очищение украинского литературного языка не вообще от следов влияния других языков и не против заимствований из польского языка, а только из русского, который (безусловно, вполне справедливо) рассматривается при этом как основной источник внешнего влияния на украинский язык, способный лишить украинский признаков идентичности. В такой борьбе с последствиями влияния русского языка происходит как удаление собственно русизмов, так и не всегда осознанное отвержение в целом образа русского языка, включая присутствующие в нем слова иностранного происхождения, украинские слова, словоформы, фразеологические и синтаксические конструкции, по своей структуре напоминающие соответствующие русские речевые единицы, исторически общие для обоих языков лексемы [ТА-РАНЕНКО 2005: 87]³⁴.

Вместо эквивалентных в обоих языках конструкций стремятся вводить языковые единицы и конструкции, не имеющие аналогов в современном русском языке. Показательна тенденция повышения статуса украинской речи. Во второй половине 1990-х и первой половине 2000-х были опубликованы многочисленные учебники и рекомендации, посвященные культуре украинской речи и акцентирующие внимание на вопросе избавления украинской речи от русизмов и “суржикизмов” [АНТОНЕНКО-ДАВИДОВИЧ 1991³⁵; КАРАВАНСЬКИЙ 1994; ГНАТКЕВИЧ 2000; СЕРБЕНСЬКА 1994; ЄРМОЛЕНКО 2000; АНТИСУРЖИК].

³⁴ Ср. оригинал: “Пуризм у сучасній мовній практиці спрямований на очищення української літературної мови не взагалі від слідів впливу інших мов і не проти запозичень з польської мови, а тільки з російської, яка безперечно розглядається при цьому як основне джерело зовнішнього впливу на українську мову, здатне позбавити її ознак своєї ідентичності. У такій боротьбі з наслідками впливу російської мови відбувається як усунення власне русизмів, так і не завжди усвідомлюване відштовхування взагалі від образу російської мови, у тому числі від наявних у ній іншомовних слів, від українських слів, словоформ, фразеологічних та синтаксичних конструкцій, що структурно можуть нагадувати відповідні російські мовні одиниці, від історично спільних для обох мов одиниць”.

³⁵ Это переиздание книги Б. Д. Антоненко-Давидовича 1970 г., которая действительно содержит ценные лингвистические указания.

Бесспорно, можно понять процесс идеологического и лингвистического самоутверждения и защиты государственного языка, учитывая историко-лингвистические и социальные препятствия в сложных условиях формирования современного украинского литературного языка. Также вполне приемлемо “очищать” язык от чрезмерного количества чужих элементов и внешнего влияния. Действительно, любой литературный язык, в большей или меньшей степени, является искусственным конструктом и результатом долгого процесса совершенствования и выработки норм. Однако критерий языкового дифференцирования не должен базироваться лишь на степени сходства языков, особенно если формальные совпадения связаны, как указано выше, с историческим развитием украинского языка. Такой подход на самом деле увеличивает разрыв между разговорным украинским языком основной массы населения и “стандартизованным” языком узкого круга интеллектуалов и СМИ.

Процесс исключения из современного украинского языка старых общевосточнославянских форм и их трактовка как русских элементов увеличивает количество потенциальных русизмов, а в контексте “суржиковой” речи — “суржикизмов”. Это отражается в языковом сознании молодого поколения, которое в формальных контекстах избегает употреблять в синонимических дублетах те лексемы или конструкции, которые совпадают с русским языком, напр.: *іспит* вм. *екзамен*; *фотокартка* или *світлина* вм. *фотографія*; *довідка* — *справка*; *фахівець* — *спеціаліст*; *відсоток* — *процент*; *з одного боку* — *з одної сторони*; *ми маємо* — *у нас є(сть)* и др.

Кроме того, изменение и сужение (ограничение) синонимического потенциала украинского литературного языка, особенно в его научно-деловом стиле, не только увеличивает количество русизмов-“суржикизмов”, но воспринимается среднестатистическим представителем старшего поколения (50–75 лет) без высшего образования как нечто искусственное, неестественное. Такая спонтанная реакция на предложенный украинский стандарт была отмечена нами во время полевых исследований 2006–2008 гг. у части украиноязычных респондентов, среди которых находились и “суржикоговорящие”³⁶.

Следовательно, прежде чем определить отдельные языковые элементы как “суржик”, необходимо провести скрупулезный анализ текстов на “суржике”, свободный от идеологических догм.

³⁶ Подчеркиваем снова, что региональный вариант украинского языка, на котором говорит респондент, безусловно, играет важную роль в суждении о правильности высказывания. Наши респонденты были выходцами из центрально-северных и восточных областей Украины, в частности, Киевской, Житомирской, Черниговской, Полтавской и Харьковской.

Заключение

В результате исследования автор пришел к следующему выводу: концепция нормы современного украинского и русского литературных языков общепринята для большинства говорящих на этих языках жителей Украины, а именно — многие склонны интерпретировать любые отклонения от нормы как результат смешения языков. Формы такой языковой смеси объединяются под общим названием “суржик”. Тем не менее, когда речь идет о суржике, чаще всего имеются в виду “аномалии” украинской речи под влиянием русской или из-за их смешения. Однако некоторые отклонения от норм стандартного русского языка как в фонетике, так и в отдельных морфосинтаксических конструкциях, наряду с употреблением наименований устойчивых украинских реалий, типичных для устной речи, могут также быть определены как “русский суржик”.

Задача нашего исследования состояла в определении места “суржика” в системе соотношения двух главных конкурирующих языков Украины. Однако для достижения этой цели было необходимо прежде всего подтвердить наш первоначальный тезис о способах образования феномена, который мы определили как “прототип (украинского) суржика” (т. е. результат смешения украинского диалектного субстрата и наследия бывших литературно-языковых традиций Украины с адстратом — русскими языковыми компонентами), и четко выделить сферу его исследования, которая, согласно современной терминологии, относится к украинско-русскому “суржику” (УРС) как самостоятельному идиому.

Для достижения поставленной цели было необходимо также предложить некоторые основные критерии разграничения явления УРС и потенциально существующего “русского суржика” (РУС) в системе взаимодействия украинского и русского языков и других нестандартных явлений украинского социума.

В исследовании показано, что историко-культурные и социолингвистические факторы в своей совокупности содействовали образованию и трактовке феномена, который и пользователи языка, и научное сообщество понимают под УРС. Это непосредственно связано со сложным процессом формирования и стандартизации современного украинского литературного языка. Более того, в формировании понятия “суржик” были также подчеркнуты роль культурно-идеологического контекста и связанное с этим явление пуризма в определенных академических кругах и СМИ. Такой подход к изучению вопроса языковой смеси в рамках языковых контактов особенно интенсифицировался в период после независимости (особенно со втор. пол. 1990-х и до нач. 2010-х гг.). Происходящие в настоящее время трансформации украинских норм со временем еще более отдалят украинский язык от русского, устраняя из

узуса по мере возможности структурные и лексические характеристики, общие для обоих языков. Это означает, что многочисленные лексемы и грамматические конструкции в изменившихся условиях общения воспринимаются либо как русизмы, либо как элементы "суржика" (УРС).

На основе сказанного можно сделать следующий вывод: реальных гибридных форм и русизмов в смешанной украинско-русской речи существенно меньше, чем до настоящего времени предполагалось в ряде "антисуржиковых" публикаций.

Следовательно, для выявления достоверной языковой картины того, что следует рассматривать как "суржик" в широком и узком понимании этого слова, кроме основательного полевого исследования и количественного анализа данных по образцу Ольденбургской социолингвистической школы, необходимо учитывать целый ряд теоретических и практических критериев.

В исследовании не были учтены изменения в языковом ландшафте Украины после введения русского языка наряду с другими языками национальных меньшинств в качестве регионального в некоторых юго-восточных регионах в 2012 г. Также не учтены новые социолингвистические контексты, возникшие вследствие политических событий последних двух лет (2014–2015 гг.).

Бібліографія

Антисуржик

"Антисуржик. Мовний калейдоскоп", *Портал Львівського національного університету ім. І. Франко* (удаленный ресурс; режим доступа: <http://www.franko.lviv.ua/>; последнее обращение: 15.12.2015).

Антоненко-Давидович 1991

Антоненко-Давидович Б. Д., *Як ми говоримо*, Київ, 1991.

Бевзенко та ін. 1978

Бевзенко С. П., Грищенко А. П., Лукінова Т. Б., Німчук В. В., Русанівський В. М., *Історія української мови. Морфологія*, Київ, 1978.

Беликов, Крысин 2001

Беликов В. И., Крысин Л. П., *Социолингвистика*, Москва, 2001.

БРАГА 2011

БРАГА І., "Українсько-російський суржик в соціокомунікативній ситуації ринку", в: *Мова і суспільство*, 2, Львів, 2011, 19–126.

Брицын 1986

Брицын В. М., отв. ред., *Пути повышения культуры русской речи на Украине*, Киев, 1986.

Брицин та ін. 2011

Брицин В. М., Саплин Ю., Труб В. М., "[рец. на:] Salvatore Del Gaudio, «On the Nature of Suržyk: A Double Perspective» (= Wiener Slawistischer Almanach, 75)", *Мовознавство*, 3, 2011, 91–92.

Герд 1998

Герд А. С., “Диалект — региолект — просторечие”, в: *Русский язык в его функционировании: Тезисы международной конференции*, Москва, 1998, 20–21.

Гнаткевич 2000

Гнаткевич Ю., *Уникаймо русизмів в українській мові! (Короткий словник-антисуржик для депутатів Верховної Ради та всіх, хто хоче, щоб його українська мова не була схожою на мову Верки Сердючки)*, Київ, 2000 (цит. по интернет-изданию на сайте «Українське життя в Севастополі»; режим доступа: <http://ukrlife.org/>; последнее обращение: 15.12.2015).

Гнатюк 2005

Гнатюк Л. П., “Мовна свідомість у сучасній лінгвістичній парадигмі”, в: *Українське мовознавство*, 34, Київ, 2005, 3–8.

Гофенедер 2010

Гофенедер Ф., “Радянська мовна політика в Україні. Переклади творів Леніна українською 1930-х та 1950-х рр.”, *Дивослово*, 4, 2010, 37–47.

Дель Гаудио 2010

Дель Гаудио С., “Об украинском варианте русского языка: спорные вопросы”, в: А. Н. Рудяков, ред., *Георусистика. Первое Приближение*, Симферополь, 2010, 69–74.

— 2011

Дель Гаудио С., “О вариативности русского языка на Украине”, *Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка*, 2, 2011, 28–36.

— 2014

Дель Гаудио С., “Суржик в системе соотношения украинского и русского языков”, в: *Русский язык: исторические судьбы и современность. Труды и материалы. V Международный конгресс исследователей русского языка*, Москва, 2014, 625–626.

Дель Гаудио 2007

Дель Гаудио С., “Діалектна взаємодія у творенні суржиків”, в: *Лінгвістичні дослідження*, Харків, 2007, 7–13.

— 2012

Дель Гаудио С., “Чи має суржик систематичний характер і чи можна говорити про «граматику»?”, в: *Мовознавство. Збірник наукових статей. VII Міжнародний конгрес українців (2008)*, Київ, 2012, 41–50.

Дель Гаудио 2010

Дель Гаудио С., “Взаємодія між суржиком та діалектами”, *Мова і культура*, 13/8 (144), 2010, 136–146.

Дель Гаудио, Тарасенко 2008

Дель Гаудио С., Тарасенко Б. В., “Суржик: актуальні питання та аналіз конкретного прикладу”, в: Ю. БЕСТЕРС-ДІЛЬГЕР, ред., *Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і рекомендації*, Київ, 2008, 316–331.

Демченко 2012

Демченко В., “Про значення терміна *койне* в соціолінгвістиці”, в: *Мова і суспільство*, 3, Львів, 2012, 54–58.

Дика 2011

Дика Л. В., “Суржик і динаміка говіркового мовлення”, *Магістеріум*, 43, 2011, 27–29.

Дошешаль и др. 2011

Дошешаль У, Дубичинский В. В., Ройтер Т., “Суржик: лексико-грамматический и социолінгвістический анализ (на материале аутентичных аудиозаписей телепередач)”, *Русский язык в научном освещении*, 2 (22), 2011, 247–259.

Енциклопедія 2000

РУСАНІВСЬКИЙ В. М., ТАРАНЕНКО О. О., ред., *Українська мова: Енциклопедія*, Київ, 2000 (2-е вид.: 2004; 3-е вид.: 2007).

ЕСУМ, 1–7

Етимологічний словник української мови, 1–7, Київ, 1982–2012.

Єрмоленко 2000

Єрмоленко Є. С., ред., *Культура мови на щодень*, Київ, 2000.

Жовтобрюх та ін. 1980

Жовтобрюх М. А., Волох О. Т., Самійленко С. П., Слинсько І. І., *Історична граматика української мови*, Київ, 1980.

Ижакевич 1976

Ижакевич Г. П., отв. ред., *Культура русской речи на Украине*, Киев, 1976.

КАРАВАНСЬКИЙ 1994

КАРАВАНСЬКИЙ С., *Секрети української мови*, Київ, 1994.

Квитка-Основьяненко 1969

КВІТКА-ОСНОВЬЯНЕНКО Гр., *Твори у восьми томах*, 3, Київ, 1969.

Кознарський 1998

КОЗНАРСЬКИЙ Т., "Нотатки на берегах макабресок", *Критика*, 5, 1998, 14–19.

Котляревський 1968

КОТЛЯРЕВСЬКИЙ І., *Енеїда*, Київ, 1968.

Куроختина 2012

КУРОХТИНА Т. Н., "К вопросу об определении понятия «суржик»", *Славяноведение*, 3, 2012, 93–101.

Ларин 1928

ЛАРИН Б., "Мовний побут міста", *Червоний шлях*, 5–6, 1928, 190–198.

МАСЕНКО 2004

МАСЕНКО Л. Т., *Мова і політика*, Київ, 2004.

— 2011

МАСЕНКО Л., *Суржик: між мовою і язиком*, Київ, 2011.

МАСЕНКО та ін. 2005

МАСЕНКО Л., КУБАЙЧУК В., ДЕМСЬКА-КУЛЬЧИЦЬКА О., упоряд., *Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: документи і матеріали*, Київ, 2005.

Мозер 2012

МОЗЕР М., *Тарас Шевченко і сучасна українська мова: спроба гідної оцінки*, В. Кам'янець, перекл. з нім. мови, Львів, 2012.

Огієнко 2004

ОГІЄНКО І., *Історія української літературної мови*, Київ, 2004.

ОКАРА 2000

ОКАРА А., "Полтавський «суржик» та духовне плебейство", *Слово і час*, 12, 2000, 52–56.

Палінська 2010

ПАЛІНСЬКА О., "Класичний львівський регіолект і його сучасні інтерпретації", в: *Мова і суспільство*, 1, Львів, 2010, 174–180.

Півторак 2001

ПІВТОРАК Г. П., *Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов: міфи і правда про трьох братів слов'янських зі "спільної колиски"*, Київ, 2001.

Радчук 2000

РАДЧУК В., "Суржик як недопереклад", *Українська мова та література*, 11, 2000, 3–4.

РУС 1937

Російсько-український словник, Київ, 1937.

РУСАНІВСЬКИЙ 2002

РУСАНІВСЬКИЙ В. М., *Історія української літературної мови*, Київ, 2002.

СЕРБЕНСЬКА 1994

СЕРБЕНСЬКА О., ред., *Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити*, Львів, 1994.

——— 2002

СЕРБЕНСЬКА О., “Суржик: «низька мова», безлад чи мовна патологія?”, в: *Мовні конфлікти і гармонізація суспільства. Матеріали наукової конференції 28–29 травня 2001 року*, Київ, 2002, 90–94.

СМШ 1964

Вашенко В. С., ред., *Словник мови Шевченка*, 1–2, Київ, 1964.

СТАВИЦЬКА 2001

СТАВИЦЬКА Л., “Кровозмісне дитя двомовності”, *Критика*, 10, 2001, 14–15.

СУМ 1970–1980

Білодід І., ред., *Словник української мови*, 1–11, Київ, 1970–1980.

ТАРАНЕНКО 2005

ТАРАНЕНКО О. О., “Сучасні тенденції до перегляду нормативних засад української літературної мови і явище пуризму”, *Мовознавство*, 3–4, 2005, 85–104.

——— 2013

ТАРАНЕНКО О., “Варіантність vs. стабільність у структурі українсько-російського «суржика» (УРС): сукупність ідіолектів vs. соціолект”, in: G. HENTSCHEL, Hrsg., *Variation und Stabilität in Kontaktvarietäten: Beobachtungen zu gemischten Formen der Rede in Weißrussland, der Ukraine und Schlesien* (= *Studia Slavica Oldenburgensia*, 21), Oldenburg, 2013, 27–60.

ТИМЧЕНКО, 1–2

ТИМЧЕНКО Є. К., *Історичний словник українського языка*, 1–2, Київ, 1930–1932.

ТРУБ 2000

ТРУБ В. М., “Явище «суржика» як форма просторіччя в ситуації двомовності”, *Мовознавство*, 1, 2000, 46–58.

ФАСМЕР, 1–4

ФАСМЕР М., *Этимологический словарь русского языка*, О. Н. ТРУБАЧЕВ, пер., доп., Б. А. ЛАРИН, ред., 2-е изд., 1–4, Москва, 1986–1987.

ФИЛИН 1972

ФИЛИН Ф. П., *Происхождение русского, украинского и белорусского языков*, Ленинград, 1972.

ХМЕЛЬКО 2004

ХМЕЛЬКО В. Є., “Лінгво-етнічна структура України: регіональні особливості й тенденції змін за роки незалежності”, *Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”*, 32: *Соціологічні науки*, 2004, 3–15.

ШЕВЕЛЬОВ 2001

ШЕВЕЛЬОВ Ю., *Я – мене – мені... (і довкруги). Спогади*, 1: *В Україні*, Харків, Нью-Йорк, 2001.

AUER 1990

AUER P., “A Discussion Paper on Code Alternation,” in: *Workshop on Concepts, Methodology and Data*, Basel, January 1990, 1990, 69–87.

BERNSAND 2001

BERNSAND N., "Surzhyk and National Identity in Ukrainian Nationalist Language Ideology," *Forum*, 17, 2001, 38–47.

BESTERS-DILGER 2009

BESTERS-DILGER J., ed., *Language Policy and Language Situation in Ukraine. Analysis and Recommendations*, Frankfurt a. Main, Berlin, Wien, etc., 2009.

BILANJUK 2005

BILANJUK L., *Contested Tongues: Language Politics and Cultural Correction in Ukraine*, Ithaca (NY), 2005.

BRACKI 2009

BRACKI A., *Suržyk – historia i terażniejszość*, Gdańsk, 2009.

CLYNE 1992

CLYNE M. G., ed., *Pluricentric Languages. Different Norms in Different Countries*, Berlin, New York, 1992.

DANYLENKO 2007

DANYLENKO A., "The Ukrainian Language in Documents and in Reality," *Harvard Ukrainian Studies*, 29/1–4, 2007, 421–429.

——— 2008

DANYLENKO A., "The Formation of New Standard Ukrainian: From the History of an Undeclared Contest Between Right- and Left-Bank Ukraine in the 18th c.," *Die Welt der Slaven*, 53, 2008, 82–115.

——— 2010

DANYLENKO A., "The Ukrainian Bible and the Valuev circular of 18 July 1863," *Acta Slavica Iaponica*, 28/1, 2010, 1–21.

DEL GAUDIO 2006

DEL GAUDIO S., "On the Nature of Suržyk: Diachronic Aspects," *Wiener Slawistischer Almanach*, 58, 2006, 235–249.

——— 2008

DEL GAUDIO S., "Лексичні діалектизми в суржыку," *Wiener Slawistischer Almanach*, 60, 2008, 355–362.

——— 2009

DEL GAUDIO S., "Роль «славеноросского языка» в истории развития украинского и русского языков," *Wiener Slawistischer Almanach*, 64, 2009, 227–256.

——— 2010

DEL GAUDIO S., *On the Nature of Suržyk: A Double Perspective* (= Wiener Slawistischer Almanach. Sonderbände, 75), München, Berlin, Wien, 2010.

——— 2012

DEL GAUDIO S., "The Russian Language in Ukraine: some unsettled questions about its status as a national variety," in: R. MUHR, ed., *Non-dominant Varieties of Pluricentric Languages. Getting the Picture. In Memory of Prof. Michael Clyne*, Wien et al., 2012, 207–227.

——— 2013

DEL GAUDIO S., "Russian as a Non-dominant Variety in Post-Soviet States: A Comparison," in: R. MUHR, C. AMORÓS NEGRE, C. FERNÁNDEZ JUNCAL, K. ZIMMERMANN, E. PRIETO, N. HERNÁNDEZ, eds., *Exploring Linguistic Standards in Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages*, Frankfurt a. Main et. al., 2013, 343–363.

——— 2014

DEL GAUDIO S., "An Alternative Interpretation of Suržyk: Dialectal and Diachronic Aspects," in: G. HENTSCHEL, O. TARANENKO, S. ZAPRUDSKI, Hrsg., *Trasjanka und Suržyk – gemischte*

- weißrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Weißrussland und der Ukraine?* Frankfurt a. Main et. al., 2014, 289–305.
- 2015
DEL GAUDIO S., “Linguistic Ideology and Language Changes in Contemporary Ukrainian Grammar and Lexis,” *Die Welt der Slaven*, 60, 2015, 145–165.
- DEL GAUDIO, IVANOVA 2015
DEL GAUDIO S., IVANOVA O., “A Variety in Formation? Morphosyntactic Variation in Ukrainian-Russian Speech and Press,” in: R. MUHR, D. MARLEY, H. L. KRETZENBACHER, A. BISSOONAUTH, eds., *Pluricentric Languages. New Perspectives in Theory and Description*, Frankfurt a. Main, 2015, 169–193.
- DEL GAUDIO, TARASENKO 2009
DEL GAUDIO S., TARASENKO B. V., “Suržyk: Topical Questions and Analysis of a Concrete Case,” in: [BESTERS DILGER 2009, 327–354].
- FLIER 1998
FLIER M. S., “Suržyk: The Rules of Engagement”, *Harvard Ukrainian Studies* 22, 1998, 113–136.
- 2008
FLIER M. S., “Suržyk or Suržyks,” in: G. HENTSCHEL, S. ZAPRUDSKI, eds., *Belarusian Trasjanka and Ukrainian Suržyk: Structural and Social Aspects of Their Description and Categorization* (= *Studia Slavica Oldenburgensia*, 17), Oldenburg, 2008, 39–56.
- 2012
FLIER M. S., “Suržyk at the Top: The Linguistic Dimension of Kučmagate,” in: A. DANYLENKO, S. VAKULENKO, Hrsg., *Studien zu Sprache, Literatur und Kultur bei der Slaven: Gedenkschrift für George Y. Shevelov aus Anlass seines 100. Geburtstages und 10. Todestages*, München, Berlin, 2012, 245–251.
- HORBATSCH 1987
HORBATSCH O., “Die neueren Entwicklungstendenzen in der ukrainischen Schriftsprache,” in: *Jahrbuch der Ukrainekunde*, München, 1987, 211–223.
- 1988
HORBATSCH O., “Das ukrainisch-russische Sprachgemisch («suržyk») und seine stilistische Funktion im Werk von V. Vynnyčenko und O. Kornijčuk,” in: *Slavistische Studien zum X. Internationalen Slavistenkongress in Sofia*, Köln, Wien, 1988, 25–41.
- MOSER 2008
MOSER M., *Taras Ševčenko und die moderne ukrainische Schriftsprache – Versuch einer Würdigung*, München, 2008.
- MOSER 2011
MOSER M., “[rez:] Salvatore Del Gaudio, *On the Nature of Suržyk: A Double Perspective*,” *Wiener Slavistisches Jahrbuch*, 57, 2011, 245–255.
- MUHR 2005
MUHR R., “Language Attitudes and Language Conceptions in Non-dominant Varieties of Pluricentric Languages,” in: R. MUHR, Hrsg., *Standardvariationen und Sprachideologien in verschiedenen Sprachkulturen der Welt. Standard Variations and Language Ideologies in different Language Cultures around the World*, Wien, 2005, 11–20.
- SHEVELOV 1966
SHEVELOV G. Y., *Die ukrainische Schriftsprache 1798–1965: ihre Entwicklung unter dem Einfluß der Dialekte*, Wiesbaden, 1966.
- 1979
SHEVELOV G. Y., *A Historical Phonology of the Ukrainian Language*, Heidelberg, 1979.

References

- Antonenko-Davydovych B. D., *Iak my hovorymo*, Kiev, 1991.
- Auer P., "A Discussion Paper on Code Alternation," in: *Workshop on Concepts, Methodology and Data, Basel, January 1990*, 1990, 69–87.
- Belikov V. I., Krysin L. P., *Sotsiolingvistika*, Moscow, 2001.
- Bernsand N., "Surzhyk and National Identity in Ukrainian Nationalist Language Ideology," *Forum*, 17, 2001, 38–47.
- Besters Dilger J., ed., *Language Policy and Language Situation in Ukraine. Analysis and Recommendations*, Frankfurt a. Main, Berlin, Wien, etc., 2009.
- Bevzenko S. P., Hryshchenko A. P., Lukinova T. B., Nimchuk V. V., Rusaniv's'kyi V. M., *Istoriia ukrains'koï movy. Morfolohiia*, Kiev, 1978.
- Bilanjuk L., *Contested Tongues: Language Politics and Cultural Correction in Ukraine*, Ithaca (NY), 2005.
- Bracki A., *Suržyk – historia i terażniejszość*, Gdańsk, 2009.
- Braha I., "Ukrains'ko-rosiis'kyi surzhyk v sotsio-komunikatyvniï sytuatsii rynku," in: *Mova i suspil'stvo*, 2, Lviv, 2011, 19–126.
- Britsyn V. M., ed., *Puti povysheniia kul'tury russkoi rechi na Ukraine*, Kiev, 1986.
- Britsyn V. M., Saplin Yu., Trub V. M., "[rev.]: Salvatore Del Gaudio, «On the Nature of Suržyk: A Double Perspective» (= Wiener Slawistischer Almanach, 75)," *Movoznavstvo*, 3, 2011, 91–92.
- Clyne M. G., ed., *Pluricentric Languages. Different Norms in Different Countries*, Berlin, New York, 1992.
- Danylenko A., "The Ukrainian Language in Documents and in Reality," *Harvard Ukrainian Studies*, 29/1–4, 2007, 421–429.
- Danylenko A., "The Formation of New Standard Ukrainian: From the History of an Undeclared Contest Between Right- and Left-Bank Ukraine in the 18th c.," *Die Welt der Slaven*, 53, 2008, 82–115.
- Danylenko A., "The Ukrainian Bible and the Value circular of 18 July 1863," *Acta Slavica Iaponica*, 28/1, 2010, 1–21.
- Del Gaudio S., "On the Nature of Suržyk: Diachronic Aspects," *Wiener Slawistischer Almanach*, 58, 2006, 235–249.
- Del Gaudio S., "Dialektna vzaiemodiia u tvorenni surzhyku," in: *Lingvistychni doslidzhennia*, Khar'kov, 2007, 7–13.
- Del Gaudio S., "Leksychni dialektizmy v surzhyku," *Wiener Slawistischer Almanach*, 60, 2008, 355–362.
- Del Gaudio S., "Rol' «slavenorosskogo iazyka» v istorii razvitiia ukrainskogo i russkogo iazykov," *Wiener Slawistischer Almanach*, 64, 2009, 227–256.
- Del Gaudio S., "Ob ukrainskom variante russkogo iazyka: spornye voprosy," in: A. N. Rudyakov, ed., *Georusistika. Pervoe Priblizhenie*, Simferopol, 2010, 69–74.
- Del Gaudio S., *On the Nature of Suržyk: A Double Perspective* (= Wiener Slawistischer Almanach. Sonderbände, 75), München, Berlin, Wien, 2010.
- Del Gaudio S., "Vzaiemodiia mizh surzhykom ta dialektamy," *Mova i kul'tura*, 13/8 (144), 2010, 136–146.
- Del Gaudio S., "O variativnosti russkogo iazyka na Ukraine," *Izvestiia Rossiiskoi akademii nauk. Seriia literatury i iazyka*, 2, 2011, 28–36.
- "Chy maie surzhyk systematychnyi kharakter i chy mozna hovoryty pro «hramatyku?»" in: *Movoznavstvo. Zbirnyk naukovykh statei. VII Mizhnarodnyi konhres ukrainistiv (2008)*, Kiev, 2012, 41–50.
- Del Gaudio S., "The Russian Language in Ukraine: some unsettled questions about its status as a national variety," in: R. Muhr, ed., *Non-dominant Varieties of Pluricentric Languages. Getting the Picture. In Memory of Prof. Michael Clyne*, Wien et al., 2012, 207–227.
- Del Gaudio S., "Russian as a Non-dominant Variety in Post-Soviet States: A Comparison," in: R. Muhr, K. Amorós Negre, C. Fernández Juncal, K. Zimmermann, E. Prieto, N. Hernández, eds., *Exploring Linguistic Standards in Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages*, Frankfurt a. Main et al., 2013, 343–363.
- Del Gaudio S., "An Alternative Interpretation of Suržyk: Dialectal and Diachronic Aspects," in: G. Hentschel, O. Taranenko, S. Zaprudski, Hrsg., *Trasjanka und Suržyk – gemischte weißrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Weißrussland und der Ukraine?* Frankfurt a. Main et al., 2014, 289–305.
- Del Gaudio S., "Suržhik v sisteme sootnosheniia ukrainskogo i russkogo iazykov," in: *Russkii iazyk: istoricheskie sud'by i sovremennost'*, Moscow, 2014, 625–626.
- Del Gaudio S., "Linguistic Ideology and Language Changes in Contemporary Ukrainian Grammar and Lexis," *Die Welt der Slaven*, 60, 2015, 145–165.
- Del Gaudio S., Ivanova O., "A Variety in Formation? Morphosyntactic Variation in Ukrainian-Russian Speech and Press," in: R. Muhr, D. Marley, H. L. Kretzenbacher, A. Bissoonauth, eds., *Pluricentric Languages. New Perspectives in Theory and Description*, Frankfurt a. Main, 2015, 169–193.
- Del Gaudio S., Tarasenko B. V., "Surzhyk: aktualni pytannia ta analiz konkretnoho prykladu," in: J. Besters-Dilger, ed., *Movna polityka ta movna sytuatsiia v Ukraini. Analiz i rekomendatsii*, Kiev, 2008, 316–331.
- Del Gaudio S., Tarasenko B. V., "Suržyk: Topical Questions and Analysis of a Concrete Case," in: J. Besters-Dilger, ed., *Language Policy and Language Situation in Ukraine. Analysis and Recommendations*, Frankfurt a. Main et al., 2009, 327–354.

- Demchenko V., "Pro znachennia termina koine v sotsiolingvistytsi," in: *Mova i suspil'stvo*, 3, Lviv, 2012, 54–58.
- Doleshal U., Dubichinsky V., Reuter T., "Surzhyk: a Lexico-Grammatical and Sociolinguistic Analysis (on the Basis of Authentic Material from a TV-show)," *Russkii iazyk v nauchnom osveshchenii*, 2 (22), 2011, 247–259.
- Dyka L. V., "Surzhyk i dynamika hovirkovoho movlennia," *Mahisterium*, 43, 2011, 27–29.
- Filin F. P., *Proiskhozhdenie russkogo, ukrainskogo i beloruskogo iazykov*, Leningrad, 1972.
- Flier M. S., "Surzhyk: The Rules of Engagement", *Harvard Ukrainian Studies* 22, 1998, 113–136.
- Flier M. S., "Surzhyk or Surzhyks," in: G. Hentschel, S. Zaprudski, eds., *Belarusian Trasjanka and Ukrainian Surzhyk: Structural and Social Aspects of Their Description and Categorization* (= Studia Slavica Oldenburgensia, 17), Oldenburg, 2008, 39–56.
- Flier M. S., "Surzhyk at the Top: The Linguistic Dimension of Kučmagate," in: A. Danylenko, S. Vakulenko, Hrsg., *Studien zu Sprache, Literatur und Kultur bei der Slaven: Gedenkschrift für George Y. Shevelov aus Anlass seines 100. Geburtstages und 10. Todestages*, München, Berlin, 2012, 245–251.
- Gerd A. S., "Dialekt – regiolekt – prostorechie," in: *Russkii iazyk v ego funkcionirovanii*, Moscow, 1998, 20–21.
- Hnatkevych Yu., *Unykaimo rusyizmiv v ukrains'kii movi!* Kiev, 2000.
- Hnatyuk L. P., "Movna svidomist' u suchasni linhvistychnii paradyhmi," in: *Ukrains'ke movoznavstvo*, 34, Kiev, 2005, 3–8.
- Hofeneder F., "Radiants'ka movna polityka v Ukraïni. Pereklady tvoriv Lenina ukrains'koiu 1930-kh ta 1950-kh rr.," *Dyvoslovo*, 4, 2010, 37–47.
- Horbatsch O., "Die neueren Entwicklungstendenzen in der ukrainischen Schriftsprache," in: *Jahrbuch der Ukrainekunde*, München, 1987, 211–223.
- Horbatsch O., "Das ukrainisch-russische Sprachgemisch («surzhyk») und seine stilistische Funktion im Werk von V. Vynnychenko und O. Kornijčuk," in: *Slavistische Studien zum X. Internationalen Slavistenkongress in Sofia*, Köln, Wien, 1988, 25–41.
- Iermolenko Ie. S., ed., *Kul'tura movy na shchoden'*, Kiev, 2000.
- Izhakevich G. P., ed., *Kul'tura russkoi rechi na Ukraine*, Kiev, 1976.
- Karavans'kyi S., *Sekrety ukrains'koi movy*, Kiev, 1994.
- Khmel'ko V. Ie., "Linhvo-etnichna struktura Ukraïny: rehional'ni osoblyvosti i tendentsii zmin za roki nezalezhnosti," *Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu "Kyievo-Mohylians'ka akademiia"*, 32: *Sotsiolohichni nauky*, 2004, 3–15.
- Koznars'kyi T., "Notatky na berehakh makabresok," *Krytyka*, 5, 1998, 14–19.
- Kurokhtina T. N., "K voprosu ob opredelenii poniatii «surzhik»," *Slavianovedenie*, 3, 2012, 93–101.
- Laryn B., "Movnyi pobut mista," *Chervonyi shliakh*, 5–6, 1928, 190–198.
- Masenko L. T., *Mova i Polityka*, Kiev, 2004.
- Masenko L., *Surzhyk: mizh movoiu i iazykom*, Kiev, 2011.
- Masenko L., Kubaichuk V., Demska-Kulczycska O., eds., *Ukrains'ka mova u XX storichchi: istoriia linhvotsydu: dokumenty i materialy*, Kiev, 2005.
- Moser M., *Taras Ševčenko und die moderne ukrainische Schriftsprache – Versuch einer Würdigung*, München, 2008.
- Moser M., "[rez:] Salvatore Del Gaudio, *On the Nature of Surzhyk: A Double Perspective*," *Wiener Slavistisches Jahrbuch*, 57, 2011, 245–255.
- Moser M., *Taras Shevchenko i suchasna ukrains'ka mova: sprobа hidnoi otsinky*, V. Kamyanets, transl., Lviv, 2012.
- Muhr R., "Language Attitudes and Language Conceptions in Non-dominant Varieties of Pluricentric Languages," in: R. Muhr, Hrsg., *Standardvariationen und Sprachideologien in verschiedenen Sprachkulturen der Welt. Standard Variations and Language Ideologies in different Language Cultures around the World*, Wien, 2005, 11–20.
- Ohienko I., *Istoriia ukrains'koi literaturnoi movy*, Kiev, 2004.
- Okara A., "Poltavs'kyi «surzhyk» ta dukhovne plebeystvo," *Slovo i chas*, 12, 2000, 52–56.
- Palins'ka O., "Klasychnyi l'vivs'kyi rehiolekt i ioho suchasni interpretatsii," in: *Mova i suspil'stvo*, 1, Lviv, 2010, 174–180.
- Pivtorak H. P., *Pokhodzhennia ukraïntsv, rosiiian, bilorusiv ta ikhnikh mov: myfi i pravda pro tr'okh brativ slov'ians'kykh zi "spil'noi kolysky"*, Kiev, 2001.
- Radchuk V., "Surzhyk iak nedopereklad," *Ukrains'ka mova ta literatura*, 11, 2000, 3–4.
- Rusaniv's'kyi V. M., *Istoriia ukrains'koi literaturnoi movy*, Kiev, 2002.
- Serbens'ka O., ed., *Antysurzhyk. Vchymosia vchlyvo povodytys' i pravyl'no hovoryty*, Lviv, 1994.
- Serbens'ka O., "Surzhyk: «nyz'ka mova», bezladych movna patolohiia?" in: *Movni konflikty i harmonizatsiia suspil'stva*, Kiev, 2002, 90–94.
- Shevelov G. Y., *Die ukrainische Schriftsprache 1798–1965: ihre Entwicklung unter dem Einfluß der Dialekte*, Wiesbaden, 1966.
- Shevelov G. Y., *A Historical Phonology of the Ukrainian Language*, Heidelberg, 1979.
- Shevelov G. Y., *Ia – mene – meni... (i dovkruihu)*. *Spohady*, 1: *V Ukraïni*, Kharkov, New York, 2001.
- Stavits'ka L., "Krovozmisne dytia dvomovnosti," *Krytyka*, 10, 2001, 14–15.
- Taranenko O. O., "Suchasni tendentsii do perehliadu normatyvnykh zasad ukrains'koi literaturnoi movy i iavysheche puryzmu," *Movoznavstvo*, 3–4, 2005, 85–104.
- Taranenko O. O., "Variantnist' vs. stabil'nist' u strukturi ukrains'ko-rosiis'koho «surzhyku» (URS):

sukupnist' idiolektiv vs. sotsiolekt," in: G. Hentschel, Hrsg., *Variation und Stabilität in Kontaktvarietäten: Beobachtungen zu gemischten Formen der Rede in Weißrussland, der Ukraine und Schlesien* (= *Studia Slavica Oldenburgensia*, 21), Oldenburg, 2013, 27–60.

Trub V. M., "Iavyshche «surzhyku» iak forma prostorichchia v sytuatsii dvomovnosti," *Movoznavstvo*, 1, 2000, 46–58.

Tymchenko Ie. K., *Istorychnyi slovnyk ukraïns'koho iazyka*, 1–2, Kiev, 1930–1932.

Vasmer M., *Etimologicheskii slovar' russkogo iazyka*, O. N. Trubachev, transl., B. A. Larin, ed., 2nd ed., 1–4, Moscow, 1986–1987.

Zhovtobriukh M. A., Volokh O. T., Samiilenko S. P., Slyn'ko I. I., *Istorychna hramatyka ukraïns'koi movy*, Kiev, 1980.

Сальваторе Дель Гаудіо, PhD

Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут Філології,
доцент кафедри теорії та практики перекладу з романських мов ім. М. Зерова
01601 Київ, бульв. Т. Шевченка, 14
Україна/Ukraine
sadega@hotmail.com

Received on March 30, 2015



Encyclopedia of Baltic
Mythology in Czech, or
“As Some Sleep, Others
Must Keep Vigil. . .”

Rimantas Balsys

Klaipėda University, Klaipėda,
Republic of Lithuania

Энциклопедия балтской
мифологии по-чешски,
или “Пока одни
спят, другие обязаны
бодрствовать. . .”

Римантас Бальсис

Клайпедский университет, Клайпеда,
Литовская Республика

BĚŤÁKOVÁ M. E., BLAŽEK V., *Encyklopedie baltské mytologie*, Praha, Libri,
2012, 288 stran, ISBN 978-80-7277-505-7

In 2012 the Czech scholars Marta Eva Běťáková and Václav Blažek prepared and published an encyclopedia of Baltic mythology in the Czech language [BĚŤÁKOVÁ, BLAŽEK 2012]. This is a welcome and significant event given the dearth of publications in other languages about Baltic mythology in recent years. Mythology is the core of a people’s worldview, a species of figurative thinking offering solutions to major philosophical and ideological problems. Conversely, the expression of a community’s or a people’s culture is the primary source for learning about that community. To put it another way, if you want to learn about any people thoroughly, about their way of life, their system of values, and their modern existence and perspectives, you have to begin with their mythology.

One can agree partially with the compilers of this encyclopedia in their claim that this is the first such book of its kind, offering etymological interpretations of Baltic mythologems based on primary sources. It must be admitted that, up to now, there has been a lack of attention to the etymology of different mythologems, gods, goddesses, mythical beings, ghosts, and so on in encyclopedias and dictionaries published in Russian, Latvian, and Lithuanian [MYTHS 1980; RELDICT 1991; ME 1993–1994; ME 1997–1999; BERESNEVIČIUS 2001], and these publications present Baltic mythology at rather variable levels of quality and from many different points of view. Works by

certain investigators stand at a higher level, including those by K. BŪGA [1958–1961], V. JACKEVIČIUS [1952], V. MAŽIULIS [1988–1997], V. TOPOROV [1975–1990], and a few others, but none of these could be ascribed to the category of encyclopedia.

Marta Eva Běřáková and Václav Blažek selected the usual structure for publications of this nature: the encyclopedia is made up of a foreword; an explanation of how to use the work (briefly surveying the phonetic features of the Lithuanian and Latvian languages, problems in translation from one language to another, and so on); a dictionary of mythologems arranged alphabetically; appendices (a list of Old Prussian deities and the legend of the founding of Vilnius); and a bibliography (chronological lists of sources and their abbreviations, a list of literature used, and a list of abbreviations for the most-cited works).

The dictionary of terms describing Baltic mythology (mythologems, theonyms, euphemisms, entities, and so forth) constitutes the major part of the encyclopedia, both in terms of volume and meaning. Exhaustive and comprehensive presentation of information is the task and goal for any encyclopedia, although of course the compilers reserve the right to choose what is more important and what is less, and those topics deemed more important are usually presented more comprehensively than those deemed less so. This selection process thus carries with it an important responsibility on the part of the compilers. An encyclopedia is not really thorough if the authors fail to touch upon the criteria used for researching and selecting the entries used in the work—without such an explanation, the reader is left with unanswered questions.

One such question is why the entries do not include or discuss the names of deities listed by Jonas Łasicki (Jan Łasicki) in *De Diis Samagitarum* (presented here in the original orthography): *Datanus, Dvargonth, Dugnai, Gondu, Guboi, Klamals, Kremata, Kurvvaiczin Eraiczin, Lavvkatimo, Peffeias, Pizio, Priparjci, Salaus, Sidzium, Simonaitem, Siriczius, Srutis, Szlotrazis, Tiklis, Tratitas Kirbixtu, Tverticos, Waizganthos, Warpulis, Vblanicza, Ventis Rekičiouum, Vetustis* [ŁASICKI 1969: 40–44] (see also [VĚLIUS 2001, 2: 571–603]). This omission is especially noticeable because these theonyms (euphemisms) were presented in the work by V. Jackevičius noted above, and this work, in turn, was used by Juozas JURGINIS [1963] and other investigators. Jurgis Pabrėža used many of these names of gods to name plants (and thus preserved them for future generations) in his creation of a list of systematized plant nomenclature in the first half of the 19th century [PABRIEŽA 1900]. Furthermore, the authors of the encyclopedia under review reference more than one of these theonyms in their quotations from Łasicki's work in the original language [ŁASICKI 1969: 42–43]. Of course one could claim that one or another of these names became theonyms and were entered on the lists of deities by mistake, or that this was an intentional deception by Łasicki's informants, who collected material in Žemaitija (Samogitia) in the 16th century, but this does not alleviate our concerns. All possible misunderstandings, mistakes, and other such confusions are subjects for research, and thus suitable for inclusion in the encyclopedia as descriptions of theonyms, including controversies, possible falsifications, and the like. Incidentally, three recent publications should be mentioned (two of which, one must note, post-date the publication of this encyclopedia) which more or less solve the entire question of Łasicki's work and the verification of the different deities listed therein [MIKHAILOV 1997; ALIŠAUSKAS 2012A; 2012B].

Along these same lines, it is not clear why the editors of this encyclopedia failed to include the names of deities first referenced by yet another 16th-century author,

Maciej Strykowski: *Goniglis, Gulbi Dievos, Prokorimos, Swieczpunscynis, Seimi devos, Zemiennik* [VĒLIUS 2001, 2: 499–570]. All of these theonyms (euphemisms) have received treatment by scholars of Baltic mythology, who have discussed their functions, probable etymologies, and their connections with other gods and Christian saints, the latter group gradually assuming some of the duties of the ancient Baltic gods after the introduction of Christianity in Lithuania in 1387 and in Žemaitija (Samogitia) in 1413.¹

It is regrettable that—beyond those mentioned above—the names of many other gods and mythical beings were not included in this encyclopedia. Among the more important left out are *Kiškių dievas*, first mentioned in the mid-13th century [VĒLIUS 1996, 1: 260–261]; *Lauksargis* (*lauka/jargus*), described by Martynas Mažvydas [Martinus Mossvidius] in 1557 [VĒLIUS 2001, 2: 186]² (although the text of Mažvydas's preface, which refers to this theonym, is quoted on p. 219 of the encyclopedia); the deities *Ladum, Ladonem, Ledy*, and *Ladony*, first referenced by Marcin Kromer and other authors in the 16th century [IBID.: 414–419]; *Diedewayte*, first appearing in a letter by the amtmann of Labguva dated November 26, 1571 [IBID.: 226–228]; *Pagirnej* or *Dugnai*, appearing in a report by the Jesuits of the Vilnius Collegium in 1601 [IBID.: 621]; *Dirvuolira*, appearing for the first and only time in the 1605 annual report by the Jesuits of the Vilnius Collegium [IBID.: 624]; the goddess of fecundity of domestic animals, *Gothio* or *Gotha* [VĒLIUS 2003, 3: 143, 148] and the god of discord *Zallus* [IBID.: 148], first referred to by Matas Pretorijus (Matthaeus Praetorius) at the end of the 17th century; and *Bibcziu Bobelis, Sambarj̄s*, and *Czuze/Guze*, mentioned by Jokūbas Brodovskis (Jacob Brodowsk̄y) [VĒLIUS 2005, 4: 19].

It is true that the authenticity of some of the gods and goddesses named above (*Kiškių dievas, Dirvuolira*, and *Sambarj̄s*), their exact functions (in the case of *Pagirnej* and *Dugnai*), and even their ascription to the Balts (*Ladum, Ladonem, Ledy*, and *Ladony*) are still being discussed and, it seems, will continue to be topics of interest in the future if new sources are uncovered or new arguments made—nevertheless, this is not sufficient reason to omit them in the registry of names of deities in an encyclopedia of Baltic mythology.

What could (and probably should) be considered in this context is whether this sort of publication ought to include the names of mythical entities originating in different types of literature in the 19th century (mainly legends and other tales), or the titles of holiday characters (spirits), or, for that matter, the names of gods and mythical beings which appeared in Baltic mythology as a result of the writings of Romantic mythologers (Teodoras Narbutas, Adomas Laurynas Jucevičius, Simonas Daukantas, and others). These include the names of different crop spirits (*nuogalis, dirikas, dirvonakis, žaliaakis, ruginis, žvaginis*, and others) [BALSYS 2010: 157, 242–243]; synonyms for the Grim Reaper-type goddess of death; names of personified diseases (*Kaulinyčia, Pavietrė, Kapinių žmogus, Kolerą, Maro mergos*, and others) [KERBELYTĖ 2002: 74–116]; the guardians of bodies of water and fish and kings of the fish (*Ponas Drukėlis, Rundonėlis, Akmenialis, Ploštarkanis, Šventas Viešbonas, alkis, traukutis*, and others) [BALYS 2000:

¹ For more on this, see [BALSYS 2010: 48–50, 110–117, 173–176, 201–205, 424–426].

² Incidentally, M. Mažvydas's *Lauksargis* is to be identified with J. Łasiccki's *Laukpatis* (*Lawkpatimo*).

15; LEBEDYS 1976: 213; LKŽ, 1: 104]; various types of mermaids (*čeltyčios, narės, rusalkos, sirenos, and gudelkos*) [JUCEVIČIUS 1959: 79–85; VĒLIUS 1979: 29–30; KERBELYTĖ 2002: 180–182]; mythical characters of calendrical folklore and calendrical and work holidays (*Juodas Kudlotas, Morė, Gavėnas, plonis, and kuršis*); the figures of *Praamžius* and *Praurimė* described by Teodoras Narbutas (Teodor Narbutt); Adomas Laurynas Jucevičius's *Dzīvsvytis*, Simonas Daukantas's *Gražulė*, and many others.

It would have been possible to avoid the question of whether these names could (or should) have been left out of this encyclopedia if not for what I would consider one very important consideration. Some of the names mentioned by T. Narbutas and A. L. Jucevičius, and other names of folkloric characters (especially from Latvian mythical folklore) *do* appear in the dictionary, including Narbutas's *Medžiojma, Milda, and Kaunis*; A. L. Jucevičius's *Jūratė, Kastytis, Audėtoja, and Suverptoja*; and the Latvian mythical folklore characters *Gaujas māte, Miega mate, Miežu māte, and Naudas māte* (the authenticity of the latter, incidentally, was doubted even back at the beginning of the 20th century by Peteris Šmits [ŠMITS 2004: 129–131]).

A similar point might be made about another stratum of figures referenced in the encyclopedia, that of different soothsayers, sorcerers, clairvoyants, and fortune-tellers. Most of the fortune-tellers described in the encyclopedia (*medžioriai, seitonys, vandelučiai, lekutonys, neručiai, vėjonys, and žvėronys*) are known from the works of Matas Pretorijus, although Pretorijus preserved for us many more names of magicians than we find in the encyclopedia. Other types of magicians—*paukštučiai, udburtuliai, vidurionys*, and others—go wholly unmentioned.

The same fate befell the ancient servants of the cult of the Balts. While the encyclopedia does include *Kravis, vaidelotai, Maldinatajs* ("lotyšsky, duch, ktery mate"), it omits the *Tulissones* and *Ligaschones* known from a 13th-century source, the *Treaty of Christburg*; the *viršaitis* (*Wourschkaity*) from the *Sūduva Book*; and the *maldininkas* (*Maldikkas, Maldininker*) from the works by Matthaues Praetorius.

Several euphemisms for *Velnias* and *Perkūnas* crop up in the encyclopedia: *Jupis, Bauba, Baubutis, and Būkas; Dundulis, Dundutis, Dudutis, and Dūdu senis* appear as separate mythical names. These are, of course, not all of the euphemisms used for *Velnias* and *Perkūnas*. It would probably be useful here to recall that Norbertas Vėlius compiled a registry of the names of *Velnias* found in Lithuanian folklore and oral tradition [VĒLIUS 1987: 33–38]. Although it might have been inappropriate to include his entire list in the encyclopedia, it would nevertheless have been useful to indicate Vėlius's work and to note that there is a plethora of names for *Velnias* in folklore and the spoken language, providing several as examples. The same applies to the names of *Perkūnas* in the folklore. These names can be found in the works of Jonas BALYS [1998] and Nijolė LAURINKIENĖ [1996], and it would have been enough to give a similar explanation for both sets of names and provide references to works verifying this.

There are mythologems in the encyclopedia which give rise to the question of why other mythologems of the same sort were not included:

a) p. 110 mentions *lískový keř*, "filbert tree," but the encyclopedia nowhere mentions that the oak is associated with *Perkūnas*, the linden with *Laima*, or the elderberry bush with *Puškaitis*, and so forth;

b) p. 120 references *medvěd* (Lith. *lokys*, Latin *lakis*, Old Prus. *clokis*), whereas p. 207 references *vlk* (Lith. *vilkas*), but nothing is said about *žirgas, ožys, elnias, or jautis*;

c) p. 130 has an entry for the scholar *Narbutt, Teodor*, and p. 161 for *Pumpurs, Andrejs*, but it would be just as worthwhile for such an encyclopedia to include entries for *Matthaeus Praetorius*, *Jan Łasicki*, *Maciej Strykowski*, *Gothards Fridrihs Stenders*, *Jekabas Lange*, *Pēteris Šmits*, *Simonas Stanevičius*, *Adomas Laurynas Jucevičius*, *Simonas Daukantas*, *Johann Vilhelm Mannhardt*, and many others.

A few finer points:

a) in the discussion of the functions of the god *Tavvals*, it would have been helpful to have explained errors in translation passed from the work of one investigator to another [BALSYS 2010: 171–172];

b) it is not really clear how the authors came up with *Veliuona* from J. Łasicki's theonym *Vielona*. *Veliuona* is actually the name of a town in the Jurbarkas district of Lithuania, while *Veliona* (cf. Lith. *velionis*) is the goddess of death [BŪGA 1958, 1: 516–517];

c) in discussing the mythologems of *Mėnuo* (p. 124) and *nebeskā svatba* (pp. 133–141), the authors use the song “*Mėnuo Saulužę vedė*” (The Moon Married the Sun) from a collection by L. Rēza, although it was demonstrated long ago that this text is a reworking of a Latvian song;

d) one senses a lack of attention toward the main holy sites of the Balts (the sanctuaries of *Romow*, *Rickoyto*, and *Perkūnas*) described in the written sources from the 14th to 16th centuries;

e) some of the articles (entries), in terms of their scope and quality of research, differ greatly from presentations in other comparable academic studies, for example, the lengthy treatments in the encyclopedia under review of the subjects **Dēivas* (pp. 57–64), *nebeskā svatba* (pp. 133–141), and *Perkūnas* (pp. 148–156).

None of these criticisms and notes should be considered a reproach and they are only partially intended for the authors of the Czech-language encyclopedia of Baltic mythology under discussion here. These observations are addressed primarily to Lithuanian and Latvian scholars of Baltic mythology. I believe this work by our Czech colleagues will provide a much-needed stimulus to Lithuanian and Latvian scholars who have forgotten that a serious encyclopedia of Baltic mythology based on the latest research is long overdue. This is a project dreamt of by Jonas BALYS [2000] and Algirdas Julijus GREIMAS [2005: 729, 750], recalled again over a decade ago [VAITKEVIČIENĖ 2000], and apparently then forgotten for some time. Recently, Rolandas Kregždys, contemplating this titanic undertaking, has made a good start with his recently published articles and the first volume of *Baltų mitologemų etimologinis žodynas* (Etymological Dictionary of Baltic Mythologems), published in 2012 [KREGŽDYS 2008A; 2008B; 2010A; 2010B; 2012]. As the saying goes, “While some sleep, others must keep vigil.”

Bibliography

ALIŠAUSKAS 2012A

ALIŠAUSKAS V., “Dievai po Lietuvos dangumi, 1619 metai,” *Naujasis Židinys-Aidai*, 2, 2012, 95–102.

——— 2012B

ALIŠAUSKAS V., *Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus: tekstas ir kontekstai*, Vilnius, 2012.

BALSYS 2010

BALSYS R., *Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, dvasios: nuo apeigos iki prietaro (antrasis pataisytas ir papildytas leidimas)*. Klaipėda, 2010.

BALYS 1998

BALYS J., *Raštai*, 1, R. REPŠIENĖ, red., Vilnius, 1998.

——— 2000

BALYS J., *Raštai*, 2, R. REPŠIENĖ, red., Vilnius, 2000.

BERESNEVIČIUS 2001

BERESNEVIČIUS G., *Trumpas lietuvių ir prūsų religijos žodynas*, Vilnius, 2001.

BĚŤÁKOVÁ, BLAŽEK 2012

BĚŤÁKOVÁ M. E., BLAŽEK V., *Encyklopedie baltské mytologie*, Praha, 2012.

BŪGA 1958–1961, 1–3

BŪGA K., *Rinkiniai raštai*, Z. ZINKEVIČIUS, sud., 1–3, Vilnius, 1958–1961.

GREIMAS 2005

GREIMAS A. J., *Lietuvių mitologijos studijos*, K. Nastopka, red., Vilnius, 2005.

JACKEVIČIUS 1952

JASKIEWICZ W. C., "A Study in Lithuanian Mythology: Jan Lasicki's Samogitian Gods," *Studi Baltici*, 1/9, 1952, 65–106.

JUCEVIČIUS 1959

JUCEVIČIUS L. A., *Raštai*, Vilnius, 1959.

JURGINIS 1969

JURGINIS J., "Tyrinėjimų apžvalga," in: [LASICKIS 1969: 59–87].

KERBELYTĖ 2002

KERBELYTĖ B., *Lietuvių paskojamosios tautosakos katalogas*, 3, Vilnius, 2002.

KREGŽDYS 2008A

KREGŽDYS R., "Teonimų, minimų «Sūduvių knygelėje», etimologinė analizė — dievybių funkcijos, hierarchija: *Puschayts, Puschkayts*," *Res humanitariae*, 3, 2008, 49–74.

——— 2008B

KREGŽDYS R., "Teonimų, minimų «Sūduvių knygelėje», etimologinė analizė — dievybių funkcijos, hierarchija: *Bardoayts, Gardoayts, Perdoayts*," *Res humanitariae*, 4, 2008, 79–106.

——— 2010A

KREGŽDYS R., "Prūsų dievybė," *Curche. Kultūrologija*, 18: *Istorinės vietos, atmintys, tapatumai*, Vilnius, 2010, 90–106.

——— 2010B

KREGŽDYS R., "M. Strykowskiho veikalas *Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi teonimai*," *Chaurirari. Acta Linguistica Lithuanica*, 62–63, 2010, 50–81.

——— 2012

KREGŽDYS R., *Baltų mitologemų etimologinis žodynas*, 1: *Kristburgo sutartis*, 2012.

LASICKIS 1969

LASICKI POLONI J., *Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus*, Vilnius, 1969.

LAURINKIENĖ 1996

LAURINKIENĖ L., *Senovės lietuvių dievas Perkūnas: kalboje, tautosakoje, istoriniuose šaltiniuose*, Vilnius, 1996.

LEBEDYS 1976

LEBEDYS J., *Lietuvių kalba XVII–XVIII a. viešajame gyvenime*, Vilnius, 1976.

LKŽ, 1

Lietuvių kalbos žodynas, 1, Vilnius, 1968.

MAŽIULIS 1988–1997

MAŽIULIS V., *Prūsų kalbos etimologinis žodynas*, 1–4, Vilnius, 1988–1997.

ME 1993–1994

AKMENTIŅŠ R., red., *Mitoloģijas enciklopēdija*, 1–2, Rīga, 1993–1994.

ME 1997–1999

BUTKUS A., spec. red., *Mitoloģijas enciklopēdija*, 1–2, iš latvių k. vertė I. T. ERMANYTĖ, L. KUDIRKIENĖ, R. KVAŠYTĖ, Ž. O. MARKEVIČIENĖ, D. MURMULAITYTĖ, I. N. SISAITĖ, G. ŠLAPELYTĖ, R. ZAJANČKAUSKAITĖ, Vilnius, 1997–1999.

МИХАЙЛОВ 1997

МИХАЙЛОВ N., “Vieno šaltinio lingvistinės-mitologinės reabilitacijos klausimu. Jono Lasickio De Diis Samagitarum,” *Naujasis Židinys-Aidai*, 11–12, 1997, 449–454.

МУТΗΣ 1980

ТОКАРЕВ С. А., гл. ред., *Мифы народов мира*, 1–2, Москва, 1980.

PABRIEŽA 1900

PABRIEŽA J. A., *Botanika arba Taislius auguminis. Parašyta kun. Ambražiejaus Pabriežos*, Shenandoah, Pa., 1900.

RELDICT 1991

PETRAITIS R., sudar., *Religijotyros žodynas*, Vilnius, 1991.

ŠMITS 2004

ŠMITS P., *Latvių mitologija*, iš latvių k. vertė D. RAZAUSKAS, Vilnius, 2004.

ТОПОРОВ 1975–1990

ТОПОРОВ В. Н., Прусский язык: словарь, 1–5, Вяч. Вс. ИВАНОВ, отв. ред., Москва, 1975–1990.

VAITKEVIČIENĖ 2000

VAITKEVIČIENĖ D., “Tautosaka ir mitologija: žodyno projektas,” in: *Tautosakos darbai*, 12 (19), Vilnius, 2000, 48–51.

VĖLIUS 1979

VĖLIUS N., red., *Laumių dovanos. Lietuvių mitologinės sakmės*, Vilnius, 1979.

— 1987

VĖLIUS N., *Chtoniskasis lietuvių mitologijos pasaulis. Folklorinio velnio analizė*, Vilnius, 1987.

— 1996–2005, 1–4

VĖLIUS N., red., *Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai*, 1–4, Vilnius, 1996–2005.

References

Akmentiņš R., red., *Mitoloģijas enciklopēdija*, 1–2, Rīga, 1993–1994.

Ališauskas V., “Dievai po Lietuvos dangumi, 1619 metai,” *Naujasis Židinys-Aidai*, 2, 2012, 95–102.

Ališauskas V., *Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus: tekstas ir kontekstai*, Vilnius, 2012.

Balsys R., *Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, dvasios: nuo apeigos iki prietaro (antrasis pataisytas ir papildytas leidimas)*. Klaipėda, 2010.

Balys J., *Raštai*, 1, R. Repšienė, red., Vilnius, 1998.

Balys J., *Raštai*, 2, R. Repšienė, red., Vilnius, 2000.

Beresnevičius G., *Trumpas lietuvių ir prūsų religijos žodynas*, Vilnius, 2001.

Běťáková M. E., Blažek V., *Encyklopedie baltské mytologie*, Praha, 2012.

Butkus A., spec. red., *Mitoloģijas enciklopēdija*, 1–2, iš latvių k. vertė I. T. Ermanyte, L. Kudirkienė,

R. Kvašytė, Ž. O. Markevičienė, D. Murmulaitytė, I. N. Sisaitė, G. Šlapelytė, R. Zajančkauskaitė, Vilnius, 1997–1999.

Būga K., *Rinktiniai raštai*, Z. Zinkevičius, sud., 1–3, Vilnius, 1958–1961.

Greimas A. J., *Lietuvių mitologijos studijos*, K. Nastopka, red., Vilnius, 2005.

Jaskiewicz W. C., “A Study in Lithuanian Mythology: Jan Lasicki’s Samogitian Gods,” *Studi Baltici*, 1/9, 1952, 65–106.

Jucevičius L. A., *Raštai*, Vilnius, 1959.

Jurginis J., “Tyrinėjimų apžvalga,” in: Lasicii Poloni J., *Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus*, Vilnius, 1969, 59–87.

Kerbelytė B., *Lietuvių paskojamosios tautosakos katalogas*, 3, Vilnius, 2002.

Kregždys R., “Teonimų, minimų «Sūduvių knygelėje», etimologinė analizė — dievybių funkcijos,

hierarchija: *Puschayts, Puschkayts*," *Res humanitariae*, 3, 2008, 49–74.

Kregždys R., "Teonimų, minimų «Sūdavių knygelėje», etimologinė analizė – dievybių funkcijos, hierarchija: *Bardoayts, Gardoayts, Perdoyts*," *Res humanitariae*, 4, 2008, 79–106.

Kregždys R., "Prūsų dievybė," *Curche. Kultūrologija*, 18: *Istorinės vietos, atmintys, tapatumai*, Vilnius, 2010, 90–106.

Kregždys R., "M. Strykowski veikalo *Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi* teonimai," *Chaurirari. Acta Linguistica Lithuanica*, 62–63, 2010, 50–81.

Kregždys R., *Baltų mitologemų etimologinis žodynas*, 1: *Kristburgo sutartis*, 2012.

Lasicii Poloni J., *Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus*, Vilnius, 1969.

Laurinkienė L., *Senovės lietuvių dievas Perkūnas: kalboje, tautosakoje, istoriniuose šaltiniuose*, Vilnius, 1996.

Lebedys J., *Lietuvių kalba XVII–XVIII a. viešajame gyvenime*, Vilnius, 1976.

Mažiulis V., *Prūsų kalbos etimologinis žodynas*, 1–4, Vilnius, 1988–1997.

Mikhailov N., "Vieno šaltinio lingvistinės-mitologinės reabilitacijos klausimu. Jono Lasickio De Diis Samagitarum," *Naujasis Židinys-Aidai*, 11–12, 1997, 449–454.

Pabrieža J. A., *Botanika arba Taislius auguminis. Parašyta kun. Ambražiejaus Pabriežos*, Shenandoah, Pa., 1900.

Petraitis R., sudar., *Religijotyros žodynas*, Vilnius, 1991.

Šmits P., *Latvių mitologija*, iš latvių k. vertė D. Razauskas, Vilnius, 2004.

Tokarev S. A., ed., *Mify narodov mira*, 1–2, Moscow, 1980.

Toporov V. N., *Prusskii iazyk: slovar'*, 1–5, Vyach. Vs. Ivanov, ed., Moscow, 1975–1990.

Vaitkevičienė D., "Tautosaka ir mitologija: žodyno projektas," in: *Tautosakos darbai*, 12 (19), Vilnius, 2000, 48–51.

Vėlius N., red., *Laumių dovanos. Lietuvių mitologinės sakmės*, Vilnius, 1979.

Vėlius N., *Chtoniškas lietuvių mitologijos pasaulis. Folklorinio velnio analizė*, Vilnius, 1987.

Vėlius N., red., *Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai*, 1–4, Vilnius, 1996–2005.

Prof. Dr. **Rimantas Balsys**

Klaipėdos Universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, dekanas

Baltų kalbotyros ir etnologijos katedros profesorius

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda

Lietuva / Lithuania

rimantas.balsys@ku.lt

Received on March 15, 2015



**GADŽIJEVA S., KOVAČEVIĆ A., MIHALJEVIĆ M.,
POŽAR S., REINHART J., ŠIMIĆ M., VINCE J.,
*Hrvatski crkvenoslavenski jezik***

M. MIHALJEVIĆ, ur., Zagreb, 2014, 420 str., ISBN 978-953-169-289-2

Татьяна Игоревна Афанасьева

С.-Петербургский государственный
университет, С.-Петербург, Россия

Tatiana I. Afanasyeva

St. Petersburg State University,
St. Petersburg, Russia

Книга “Хорватский церковнославянский язык” [НСЈ 2014], выпущенная авторским коллективом в Старославянском институте Загреба, — несомненно, большое событие в славистической науке. В ней подведены итоги изучения отдельных памятников, написанных хорватской глаголицей, — это справочник, в котором собраны сведения по основным изданиям и языку глаголических церковнославянских текстов. Впервые составлено полное описание языка этих памятников на всех уровнях (от фонетического до синтаксического). Проделанный труд позволит в дальнейшем совершить качественный переход в данной научной отрасли от этапа практических наблюдений к этапу теоретического синтеза. Хочется от души поздравить авторский коллектив с успешным завершением столь важной работы!

Данная книга представляет собой грамматику литературного языка, зафиксированного в письменных памятниках эпохи средневековья. Во введении, написанном Миланом Михалевичем, представлены все важнейшие теоретические дефиниции, положенные в основу выделения самого понятия “хорватский церковнославянский язык”, а также принципы описания его грамматической и лексической системы. Выделение изводов церковнославянского языка подчас является спорной проблемой: так, например, весьма сложно отделить македонский (западноболгарский) извод от восточноболгарского. Хорватский извод, как справедливо замечает автор, гораздо легче вычленяется в самостоятельный, потому что имеет два важных дифференциальных признака: он сохраняет глаголическую азбуку на протяжении всего исторического периода и имеет корпус

текстов, связанных с Римским обрядом католической церкви. Надежных исторических свидетельств о деятельности учеников Кирилла и Мефодия в хорватских землях не сохранилось, однако имеется ряд фрагментов в Житии Наума, в которых некоторые ученые усматривают указание на далматинских учеников Солунского братав. С лингвистической точки зрения базой хорватского церковнославянского языка, несомненно, является Кирилло-Мефодиевская традиция, потому что она хорошо сохраняется в старейших хорватских богослужебных рукописях. В дальнейшем македонско-солунский язык-основа все больше подвергается влиянию местного наречия — прежде всего чакавского диалекта. Авторами грамматики вводятся два понятия: “староцерковнославянский” язык — язык глаголических рукописей старославянского периода X–XI вв., и его преемник — церковнославянский язык хорватской редакции, представленный более поздними памятниками, написанными “угловатой” глаголицей (XIII–XVI вв.). Во введении также дается очерк истории хорватского церковнославянского языка от древнейшей фиксации на рубеже XI–XII вв. до попытки его возрождения в богослужении во второй половине XIX в. в кругу епископа Йосипа Штросмайера, однако для изучения выбирается классический период — XII–XVI вв. Диахронический принцип, то есть учет старославянских данных, дает возможность авторам использовать устоявшиеся в науке модели описания языковых явлений на всех уровнях.

Первая глава “Памятники” (“Spomenici”, с. 23–48) посвящена описанию источников: фрагментов и полных рукописей, содержащих тексты на церковнославянском языке. Самый ранний из них — Будапештский фрагмент — датируется рубежом XI–XII вв., позднейшие — это печатные миссал 1531 г. и breviарий 1561 г. В качестве источника нормы в грамматике используются только литургические тексты в составе богослужебных книг и сборников. Нелитургические сборники не вошли в корпус церковнославянских текстов, хотя и приводятся среди иллюстративных примеров в [RCJHR], поскольку они написаны народным языком (на чакавском диалекте) и содержат незначительное число церковнославянских элементов. Грамматика и Словарь церковнославянского языка хорватской редакции [RCJHR] имеют общую источниковую базу (107 рукописей и печатных изданий) и вместе составляют комплексное лингвистическое описание.

Глава “Письменность и фонологическая система” (“Pismo i fonemski sustav”, с. 49–90) посвящена хорватской глаголической азбуке и системе фонем церковнославянского языка. Все буквы алфавита и их фонетическое и цифровое значение представлены в таблице. Далее авторы подробнее останавливаются на редко употребляющихся в источниках буквах, рассматривая “юсы”, “зело”, “еры”, старые начертания для фонем *m* и *i*, оставшиеся как рудименты старославянской письменности. Приводятся примеры дублетных написаний букв, причем всегда указываются числовые показатели: сколько раз та и или иная редкая буква встречается в памятниках хорватского церковнославянского корпуса. В отдельном параграфе описаны ключевые фонетические явления: рефлекс фонемы /ѣ/, судьба редуцированных гласных и плавных согласных в церковнославянском языке хорватского извода. Приведены основные сведения о лигатурах, знаках интерпункции и диакритике, использующихся в рукописях.

Раздел морфологии церковнославянского языка хорватского извода разделен на параграфы соответственно частям речи: имена (существительные, местоимения,

прилагательные, числительные: “Imenice”, с. 91–132; “Zamjenice”, с. 133–150; “Pridjevi”, с. 151–188; “Brojevi”, с. 189–204), глаголы (“Glagoli”, с. 205–260), наречия (“Prilozi”, с. 261–268), предлоги (“Prijedlozi”, с. 269–285), междометия (“Uzvići”, с. 287–293), частицы (“Čestice”, с. 295–301) и союзы (“Veznići”, с. 303–304). Для знаменательных частей речи приведены грамматическая характеристика, система формообразования и словообразования. Каждый пример снабжен адресом (сокращенное название памятника и страница, на которой встретился данный пример).

Раздел “Синтаксис” (“Sintaksa”, с. 305–364) грамматического справочника, написанный Йоганнесом Райнхартом, демонстрирует разумный, но практически не использовавшийся в XX в. подход к описанию синтаксиса старославянского языка — по модели соответствующих разделов описания классических языков, латинского и греческого, — что, на мой взгляд, является правильным и удачным решением. Новый по сравнению с классическими литературный язык, каким являлся старославянский, не имел развитой системы подчинительной и сочинительной связи, поэтому многие синтаксические конструкции копировались с языка оригинала, а потом постепенно приживались в языке, претерпевая разного рода трансформации. Описание церковнославянского языка через синтаксис падежей, инфинитивных и абсолютных конструкций является весьма эффективным средством для обучения чтению и переводу. Данный раздел мал по объему, но при этом очень информативен: здесь приводятся сведения о членах предложения, порядке слов, типах предложения; но большую часть занимает описание значения падежей. При чтении церковнославянских текстов именно синтаксис наиболее важен для их понимания. Большое количество иллюстративных примеров помогает читателю разобраться в нюансах употребления тех или иных синтаксических конструкций.

Последний раздел — “Лексика” (“Leksik”, с. 365–392) — также, на мой взгляд, написан удачно. Лексический материал приведен здесь в соответствии с “пластами” разного периода: праславянская лексика, моравизмы, охридская и преславская лексика, слова, проникшие в литературный язык из местных говоров. Заимствованная лексика также представлена слоями разного времени: это грецизмы и латинизмы, а также протобулгаризмы и слова итальянского, германского и венгерского происхождения.

Хочется еще раз отметить логичность и системность подачи и изложения материала в данном грамматическом справочнике. Это именно справочное пособие, а не теоретическая грамматика, и оно рассчитано на специалистов как начинающих, так и квалифицированных, на тех, кому нужно получить практические сведения об употреблении тех или иных форм, слов и написаний в церковнославянском языке хорватского извода. Все разделы подчинены единой диахронической концепции, связанной с тем, что корни церковнославянского языка — общего литературного языка для славян в эпоху средневековья — в его хорватском варианте уходят в старославянский язык. В славистической науке это, пожалуй, первое системное описание средневекового церковнославянского языка, сложившегося в определенном регионе. Думается, что данная грамматика подвигнет к разработке и созданию грамматик изводов церковнославянского языка, сформировавшихся в других славянских странах — в Древней Руси, Сербии и Болгарии.

На сегодняшний день грамматическое описание имеет только старославянский язык, а его преемник, церковнославянский язык национальных изводов, практически не подвергался систематизации. В XX в. в силу идеологических причин само понятие церковнославянского языка в России и в политически зависящих от нее странах не использовалось. Вместо него изучались национальные языки в диакрии, описание которых справедливо именовалось исторической грамматикой. Круг текстов для изучения истории языка, однако, не всегда выбирался корректно. Так, для описания древнейшего состояния русского языка использовались такие памятники, как Остромирово и Мстиславово евангелия, Изборник 1076 года, Успенский сборник, — классические образцы церковнославянского языка, который на русской почве впитывал в себя национальные языковые черты. Местные языковые особенности в большей степени отражались в области фонетики, реже — в морфологии, поэтому справочники и учебники по исторической грамматике уделяли внимание именно этим двум языковым уровням, лексика и синтаксис описывались крайне скупо или не описывались вовсе¹. Это привело к качественному подъему в области историко-фонетических штудий, однако изучение лексики и синтаксиса церковнославянского языка надолго приостановилось. В настоящее время высокий статус церковнославянского языка как литературного языка эпохи средневековья, на который делались переводы с классических и европейских языков и на котором создавались произведения христианской литературы, не подлежит сомнению. И описание всех его национальных изводов является актуальной задачей современной славистики.

Библиография

Борковский, Кузнецов 1963

Борковский В. И., Кузнецов П. С., *Историческая грамматика русского языка*, Москва, 1963.

Горшкова, Хабургаев 1981

Горшкова К. В., Хабургаев Г. А., *Историческая грамматика русского языка*, Москва, 1981.

Иванов 1983

Иванов В. В., *Историческая грамматика русского языка*, 2-е изд., испр. и доп., Москва, 1983.

——— 1995

Вялкина Л. В., Иванов В. В., Иорданиди С. И., Крысько В. Б., Силина В. Б., Сумникова Т. А., *Древнерусская грамматика XII–XIII вв.*, В. В. Иванов, отв. ред., Москва, 1995.

НСЈ 2014

GADŽIJEVA S., KOVAČEVIĆ A., MIHALJEVIĆ M., POŽAR S., REINHART J., ŠIMIĆ M., VINCE J., *Hrvatski crkvenoslavenski jezik*, M. MIHALJEVIĆ, ur., Zagreb, 2014.

РСЈНР

Rjecnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, 1–19–, Zagreb, 2000–2012–.

¹ Разделы “Лексика” и “Синтаксис” отсутствуют, например, в [Горшкова, Хабургаев 1981; Иванов 1995]; нет раздела “Лексика” в [Борковский, Кузнецов 1963; Иванов 1983].

References

Borkovskiy V. I., Kuznetsov P. S., *Istoricheskaia grammatika russkogo iazyka*, Moscow, 1963.

Gadžijeva S., Kovačević, Mihaljević M., Požar S., Reinhart J., Šimić M., Vince J., *Hrvatski crkvenoslavenski jezik*, M. Mihaljević, ur., Zagreb, 2014.

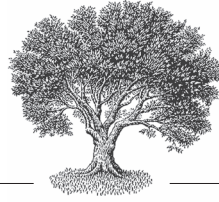
Gorshkova K. V., Khaburgaev G. A., *Istoricheskaia grammatika russkogo iazyka*, Moscow, 1981.

Ivanov V. V., *Istoricheskaia grammatika russkogo iazyka*, 2nd ed., Moscow, 1983.

Vyalkina L. V., Ivanov V. V., Iordanidi S. I., Krysko V. B., Silina V. B., Sumnikova T. A., *Drevnerusskaia grammatika XII–XIII vv.*, Moscow, 1995.

Татьяна Игоревна Афанасьева, доктор филол. наук
доцент кафедры русского языка филологического факультета
С.-Петербургский государственный университет
199034 С.-Петербург, Университетская наб., 11
Россия/Russia
palaeoslavistica@gmail.com

Received on September 21, 2015



НЕЛЮБА А., РЕДЬКО Є.,
Лексико-словотвірні інновації (2014). Словник

А. НЕЛЮБА, заг. ред., Харків, Харківське історико-філологічне товариство, 2015, 220 с. ISBN 978-966-1630-27-6

Виктор Васильевич Шаповал

Московский городской
педагогический университет,
Москва, Россия

Viktor V. Shapoval

Moscow City Teacher Training
University, Moscow, Russia

Неология как область актуальной лексикографии имеет большие перспективы и немалые проблемы, которые в апреле 2015 г. обсуждались на международной конференции “Современные проблемы лексикографии” в С.-Петербурге (см., например, статьи [Буцева 2015; Дмитриев 2015; Козулина 2015; Янурик 2015] и другие в: [СПЛ 2015]). При решении этих проблем весьма полезным может быть учет опыта соседних славянских стран, поскольку при значительной общности и сходстве процессов в лексической инноватике подходы к фиксации и изучению этого материала кое в чем заметно отличаются.

Седьмая книга словаря “Лексико-словотвірні інновації” [ЛСІ-7] отражает словарные новшества, зафиксированные в течение 2014 года и представленные в различных стилях и разновидностях украинского языка. Концепция этого словаря была предложена проф. Анатолием Николаевичем Нелюбой и реализуется под его общей редакцией с соавторами начиная с 2004 г. Книга с материалами 2014 года подготовлена им в соавторстве с Евгением Александровичем Редько. Ранее вышли следующие книги того же словаря: [ЛСІ-1; ЛСІ-2; ЛСІ-3; ЛСІ-4; ЛСІ-5; ЛСІ-6].

Таким образом, достоинством данного словарного проекта является долговременность и следование выработанной концепции. Характерно для неографии и вполне обоснованное стремление через короткое время повторить издание словарного материала уже с учетом накопленных уточнений. Значительная часть инноваций, накопленных за двадцатилетие и описанных ранее в словарях серии [ЛСІ], нашла отражение в новом издании “Словотворчість незалежної України. 1991–2011” [СНУ 2012].

Сходным образом в русской лексикографии вслед за серией “Новые слова и значения” [НСЗ-60, НСЗ-70, НСЗ-80] выходит опирающийся на накопленный

опыт “Словарь новых слов русского языка”, охвативший материал с середины 50-х до середины 80-х годов минувшего столетия [СНС 1995]. Есть и другой пример двойного словарного описания: Т. Н. Буцева указывает, что только благодаря использованию при создании НСЗ-80 материалов ежегодных выпусков “Новое в русской лексике. Словарные материалы” [НРЛ] удалось практически раздвинуть рамки выборки до целого десятилетия [Буцева 2011: 86]. До этого приходилось в основном “подбирать лексику, пропущенную толковыми словарями” [там же: 87].

Следует отметить, что словарная фиксация лексико-словообразовательных инноваций ощутимо отличается от составления словарей новых слов и значений, хорошо известных нам более пространственных продуктов неологии, хотя и заметно совпадает с последними в силу существенной общности объекта описания.

Первое отличие, которое бросается в глаза, — оперативность фиксации. В русской лексикографии изначально существовала ориентация на отражение лексических инноваций по десятилетиям, как в упомянутой серии “Новые слова и значения”. Только с 1977 года появляются выпуски серии “Новое в русской лексике. Словарные материалы” [НРЛ-77; НРЛ-94], однако ограниченные возможности при отборе материала, конечно, не позволяли всегда четко различать новое и ранее не зафиксированное слово. “Можно утверждать, что и выпуски прежней серии «Новое в русской лексике. Словарные материалы», по сути своей, не являются словарями инноваций конкретного года” [Буцева 2011: 88].

Сходные проблемы при определении границ объекта описания отмечаются и в украинской неографии. Показательно, что инновации двадцатилетия 1983–2003 гг. отражены в первой книге словаря [ЛСІ-1], объем которой (136 страниц) позволяет прикидочно говорить примерно о 1300 единицах. Однако в этом своем первом словаре А. Н. Нелюба описал только те новообразования, которые не фиксировались другими словарями неологизмов [СНУ 2012: 8]. А за первые годы XXI столетия, как отмечает автор, были опубликованы словари новой лексики украинского языка различных авторов [Віняр, Шпачук 1–2; Колоіз 2003; Мазурик 2002; Нови 2010; НСЗ 2009; Стишов 2003]. Данный список демонстрирует, насколько активно разными авторами разрабатываются различные вопросы украинской неографии.

Полнота подобного словаря — это относительный параметр, зависящий как от охваченных источников, так и от методики мониторинга и принципов отбора лексики, подпадающей под определенные критерии. Видимо, при всей верности концепции, заявленной в первой книге словаря, на возрастающий объем словаря повлияло то, что за десятилетие заметно более распространенными стали электронные ресурсы и, в частности, СМИ.

Так, и русский словарь НСЗ-90 “был существенно доработан с учетом данных сетевых источников” [Буцева 2011: 87], что дало в результате три тома общим объемом более 2550 страниц, что заметно превышает суммарный объем словарей предыдущих трех десятилетий.

Новые технические возможности значительно расширяют потенциальный объем словаря инноваций, поскольку учитывают порой даже такие единицы, которым никогда не суждено появиться в речи еще раз. И это меняет смысл оперативной лексикографии: “Конечно, не все фиксированные единицы станут достоянием узуса, однако в совокупности они отражают еще и скрытые ресурсы,

возможности словообразовательной номинации украинского языка,” — справедливо отмечает А. Н. Нелюба [СНУ 2012: 3].

Актуальные словообразовательные процессы, включая авторское и экспрессивное словотворчество, отражают восприятие людьми различных событий и процессов современности. Трудно сказать, насколько полно небольшому авторскому коллективу в принципе удастся отразить инновации заявленного типа, однако следует отметить, что словарь материалов 2014 года [ЛСІ-7] от предыдущих книг отличает заметно больший объем: 220 страниц против 172 страниц материалов 2012–2013 гг. [ЛСІ-6]. Таким образом, в словаре материалов 2014 года [ЛСІ-7] насчитывается около 2000 единиц, а в предыдущей книге, представившей материал двух лет, — около 1600 единиц [ЛСІ-6]. Более ранние выпуски при пересчете на год оказываются еще тоньше.

Оперативное описание такого большого объема материала было бы затруднительно без выработки четкой схемы словарной статьи, которая всегда имеет стандартную четырехкомпонентную структуру с соответствующей шрифтовой разметкой и разбивкой по строкам: 1) дериват и его мотиватор (мотиваторы), 2) словообразовательное значение деривата, 3) иллюстративный контекст использования, 4) источник [СНУ 2012: 4].

Одним из отличий рецензируемого словаря является внимание к словообразовательным связям, описанным в первой строке словарной статьи в виде дериватологической формулы. Несколько ускоряет работу лексикографа отсутствие детализированной дефиниции, которое компенсируется обязательностью наличия иллюстративного контекста.

В стандартном случае отношения производности указываются стрелочкой (←), напр.: “**Айдáривець** <айдáривец> ← **Айдáр** р’/р¹” [ЛСІ-7: 10]. Сегментом “р’/р” экономно обозначается наличие фоне(ма)тической вариативности в финали производящей основы.

Стандартная дефиниция в этом словаре стремится точно определить результат словообразовательного процесса, в рамках которого в потенции могут быть допустимы различные конкретные семантические реализации, например:

Мережóлог ← **мереж(á)** | Особа-дослідник мереж ‘лицо, изучающее сети’ [ЛСІ-7: 119]. При этом только из контекста становится ясно, что “*політолухами і мережологами*” ‘политологами и «интернетологами»’ изучаются сети не рыболовные и электрические, а социальные и виртуальные.

Мексикáнськість ← **мексикáнськ(ий)** | Предметнена ознака, названа прикметником *мексикáнський* ‘опредмеченный признак, названный прилагательным *мексиканский*’ [ЛСІ-7: 119]. Контекст показывает, что речь не о сомбреро и прочих атрибутах экзотического плана, а о синдроме социальной группы, утратившей свободу и стремление за нее бороться.

¹ В данном случае следует учитывать, что в украинском перед [i] (исторически происходящим из [o]) нормативно [p] и приемлемо [p’], учитывая отстаиваемый орфописателями “нормативний характер розрізнення твердих і м’яких приголосних перед [i] залежно від походження останнього” [Калашник 2011: 296]. В словаре было бы слишком расточительно вдаваться в такие детали, поэтому знаком [’] обозначены как мягкие, так и некоторые смягченные согласные (но не обозначается смягчения *г, к, х, ж, ч и ш*).

Сковородинізація ← “**сковородинізувати**” <в кавчыках-лапках дан потенциальный член словообразовательной цепочки> ← **Сковород(á)**

Опредметнена дія (процес), пов’язана зі [sic! — В. Ш.] Г. Сковородою (поширення творів Г. Сковороди).

Сковородинізацію *України не треба відкладати*. . . ‘опредмеченное действие (процесс), связанное с Г. Сковородой (распространение его трудов)’: *сковородинизацию *Украины не нужно откладывать* [ЛСІ-7: 180].

Здесь можно было бы указать и еще один промежуточный член словообразовательной цепочки — прилагательное *сковородінівський* ‘сковородианский’ (если воспользоваться для русского толкования редким прилагательным). Однако такого рода детализация в стандартных цепочках носит факультативный характер, потенциальный компонент может никогда не реализоваться.

Все приведенные примеры показывают, что задача такого типа дефиниции — наметить семантические границы, в которых возможна реализация актуального лексического значения конкретного новообразования.

Еще одной особенностью издания является его злободневность, которая позволяет судить об активных словообразовательных процессах минувшего года буквально через несколько месяцев после истечения периода наблюдений. Это дает возможность обращаться к еще свежему опыту непосредственного восприятия новостей и других элементов актуального социокультурного контекста, что облегчает описание нового слова. Конечно, более пространным лексикографическим проектам трудно угнаться за подобной оперативностью реакции. С другой стороны, эти качества живого материала определяют и потенциальную опасность недоучета того, что по мере забвения актуального контекста читателю потребуется дополнительная информация для понимания словарной статьи. Какая именно, составитель словаря сегодня трудно предсказать. В общем, можно надеяться, что иллюстративный контекст и указание источника позволят в этом случае найти недостающие сведения.

Иллюстративные цитаты с точным адресом позволяют проверить в сетевых источниках многое, но далеко не всё. Целый ряд необычных единиц взят из художественных изданий, доступных пока только в традиционной бумажной форме.

Наряду с собственно словарем [ЛСІ-7: 7-215], в котором лексический материал представлен по алфавиту, в данной книге, как и в предыдущих, имеется “Перечень использованных словообразовательных средств”, включающий:

- “Префиксальные средства” [ЛСІ-7: 216];
- “Конфиксальные средства” [ЛСІ-7: 216-217];
- “Суффиксальные средства” [ЛСІ-7: 217-219];
- “Новые словообразовательные основы” [ЛСІ-7: 219].

И в седьмой книге соблюден принцип, в соответствии с которым в реестре не отражены сложные словообразовательные основы (словосочетания и предложно-субстантивные сочетания), поскольку их словообразовательная история не восстанавливается однозначно; исключение сделано для иноязычных сложных основ [ЛСІ-7: 219].

Заметную часть словаря инноваций составляют прозрачные по составу частей и их суммарному значению слова: *бітлолюб* ‘битлолюб’ (русское толкование также реально: Гугл — 1000, Яндекс — 200 [далее в формате 1000/200]), *бліцшиїк*

‘блицпшик’ (русское слово встретилось только в контекстах, связанных с Украиной: 9/8) [ЛСІ-7: 29], *вангува́ти* ‘ванговать (= пророчествовать)’ (43000/370000)² [ЛСІ-7: 33], *геоци́дисти* ‘геноцидисты’ (данные по двум языкам трудно развести) [ЛСІ-7: 47], *гіперсо́н* ‘чрезвычайно крепкий сон (сторожа)’ [ЛСІ-7: 51], *дебі́лшбу* ‘шоу дебилов’ [ЛСІ-7: 56] и мн. др. Некоторые данные из русского интернета показывают большее или меньшее распространение точных аналогов украинских слов.

Правописание в заглавном слове (нормативное) и цитате (ситуативное) иногда различаются:

Ава́ківка ‘мова / язык Авакова’ “була азаровка <язык Азарова>, а тепер аваковка”;

Антискрипа́ль ‘антискрипач, противоположное к *скрипач*’, в контексте имеется упоминание (с дефисом) “анти-скрипача, у якого «скрипка скрипить», а не видає чарівливі звуки” [ЛСІ-7: 18];

Артъярма́рок ← **я́рма́рок** | Ярма́рок, пов’язаний із артом ‘ярмарка, связанная с «искусством»’ [ЛСІ-7: 20]. В контексте новое слово представлено с подчеркивающим структуру словосложения дефисом — *арт-ярмарок*.

Нельзя не согласиться с подобным орфографическим плюрализмом: с одной стороны, словарь как инструмент кодификации призван блюсти орфографические нормы, но с другой — сохранение авторского написания в цитате позволяет более корректно представлять аутентичный материал источника, что немаловажно и для успешного поиска цитаты в интернете, если возникнет такая необходимость. Строгая документация первых фиксаций столь неустойчивого с точки зрения графического оформления лексического материала важна и для лексикологов; в конечном счете нельзя заранее предсказать ни судьбу новообразования, ни рамки вариативности его написания в случае возрастания его употребительности.

Как показывает словарь, чрезвычайно распространены всякого рода “дву-слойные” экспрессивные инновации, с трансформацией как в начале, так и в конце основы, нередко подчеркнутые особенностями написания и прочтения.

Обычно такие номинации характеризуются негативной коннотацией и порой приближаются к границе допустимого:

Дурналі́стика ← [**дурн(á) журна**]лі́стика | Ослівлення словосполучення *дурна журналістика* ‘универбация словосочетания *глупая журналистика*’ [ЛСІ-7: 66];

Дупута́т ← [**дуп(а) + деп**]ута́т *ý/у* | Депутат-ду́па ‘депутат-задница’ [ЛСІ-7: 66].

Нередко такое новообразование также стилизуется как бы под описку или ослышку, как, например:

Губерна́тхорь ← **губерна́[тор] + тхорь** *ó/о* <формула показывает, что *тхорь* (диал., укр. лит. *тхір*) при наложении основ теряет ударение> | Губернатор-хорь ‘губернатор-хорь’ [ЛСІ-7: 54].

Однако чаще слова приводятся с указанием на актуализированный “мерцающий” состав в графике, например:

АдвоКАТ ← **адво[ка́т + кат]** | Адвокат-кат ‘адвокат-палач’ [ЛСІ-7: 9].

² Яндекс лучше учитывает русские глагольные формы, поэтому такая разница.

Нетрудно заметить, что те же способы сегментации слова, актуализирующие произвольные смысловые ассоциации, встречаются в современных русских текстах, в публицистике, часто в заголовках, например: *БУШевали*, шрифтовым выделением связываемое с фамилией американского президента [Николина 2007: 219].

Подобная двойная мотивация может трансформировать вид исходного слова, сохраняя его узнаваемость, например:

Бійціця ← **боєць** *é/ε ц' /ц о/i* | Жінка-боєць 'женщина-боец' [ЛСІ-7: 29].

Судя по другим примерам, ожидалось бы указание на дополнительную мотивацию словом *ціця* 'титька', поскольку здесь не обнаруживается иных причин блокирования регулярного чередования *ц' /ч*, с учетом потенциального **бійціця* от *боєць*, ср. укр. пару *купець* — *купціця* 'купчиха', русское студенческое в 1970-е годы *бойчиха* 'девушка-боец (стройотряда)'.

Нетрудно заметить, что сходные явления вошли в последние десятилетия и в русский язык публицистики и СМИ (т. е. они стали допустимыми в печатных изданиях), а в устной речи они наблюдались и ранее.

При всей потенциальности установления отношений производности для уникальных новообразований реконструкция словообразовательной основы иногда может быть предложена и другая:

Багаторосія ← **багát(а) Росія** +o+ *á/a í/i* 'богатая Россия' [ЛСІ-7: 21],

слово встречено в контексте "*Малоросію, Багаторосію*", который, думается, указывает и на актуализацию антонимии *мало* — *багато* 'много', т. е. предположительно от **багát(о) Росії** 'много России / Многороссия'. Верность словообразовательной модели названий территорий на *-росія* объясняет, конечно, и расположение ударения.

В одном случае можно указать на оговорку в толковании:

Добківна ← **Добкін** | Дружина М. Добкіна (український політик). . . *добківна з огірками*. . . 'супруга Добкина' [ЛСІ-7: 61],

более точное толкование — 'дочь Добкина', судя по малопродуктивной ныне (кроме отчеств) суффиксации, а 'супруга Добкина' в традиционной системе номинации членов семьи — *Добкова, Добчиха*. Обращение к источнику в интернете (Петрович, "Весняні думки про мімікрію", портал "Дурдом": <https://durdom.in.ua/>) позволяет подтвердить исправление толкования, а также уточнить дату публикации 30 марта 2013 г., что указывает на то, что не только материалы 2014 г. использованы в словаре, но и несколько более ранние. В обсуждении заметки автор с ником Karl Marks пишет то, что спровоцировало ответ автора материала со словом *Добківна*: "Якби д о н ь к а Добкіна серед інших виклала світліну з дачі, де вона поливає огірки, то це була б мімікрія (= Если бы дочь Добкина среди других выложила фотографию с дачи, где она поливает огурцы, то это была бы мимикрия)".

Незначительная опечатка может быть отмечена в следующей словарной статье:

Часомólка ← **мол-ó(ти) час** +o+o/ o/ó *á/a* | Предмет, який *молоте* час [ЛСІ-7: 207].

Неверное толкование, точнее ‘предмет, который мелет время’ (‘предмет, который молотит время’ — это **часомолотка*). От укр. глагола *молотити* 3 л. ед. ч. *молотить* (*молоте* — форма диалектно-просторечная); от укр. инфинитива *молоти* (русс. *молоть*) 3 л. ед. ч. *меле* ‘мелет’.

В одном стихотворном контексте, как кажется, реконструируется другое ударение:

Ясногоріти — ? [мотивация неясна] ? [толкование неясно] *Хтось знав, як ти мені говориш — Ніжноутариш, ясногориш І як та свічка гориш* (Б. Чепурко. Наварія) [ЛСІ-7: 215].

Рифма *говориш — ясногориш* указывает скорее на ударение *яснобрити*. В соседстве с *гориш* ‘горишь’ для окказионального глагола маловероятна тавтологическая производность, т. е. *ясногорити*, возможно, надо понимать не как производное от *ясно горіти*, а как производное от *Ясна Гора* ‘одаривать благодатью, подобно Ченстоховской иконе Богородицы в Ясной Гуре’.

Понятно, что некоторые слова попадают в словарь позже, чем закрепляются в сфере неформального общения. Так, например:

Апофігій ← **а[по]гій** + **[пóфіг]** ó/o | Апогей, за якого всім “пофіг” ‘апогей, при котором всім всё равно (пофиг)’ [ЛСІ-7: 19].

Похожее слово было в ходу раньше, например, повесть ‘Апофегей’ Ю. М. Полякова (1989) о драматическом выборе между карьерой и чувством в годы позднего застоя.

Борцун ← **борець** e/ø ц’/ц | Зневажливо-іронічне до *борець* ‘презрительно-ироническое к борцу’ [ЛСІ-7: 30].

В Гугле *борцун* встречается около 25 000, в Яндексe 16 000, в силу тождественности написания украинский и русский материал не разделяется.

Компактное представление нового лексического материала позволяет делать выводы об изменении в продуктивности или в моде на те или иные словообразовательные форманты. Например, *Євро-* в наблюдаемый период является префиксоидом, с участием которого произведено очень много новообразований — 66 слов [ЛСІ-7: 69–76]. Впрочем, за 2012–2013 гг. зафиксировано 69 новообразований с тем же формантом [ЛСІ-6: 47–54]. Иногда этот формант присоединяется к словам, которые редко принимают участие в словообразовании по моделям, характерным для интернациональной терминологии:

Єврощастя ← **щастя** | Щастя з Європи ‘счастье из Европы’ [ЛСІ-7: 76].

Факультативное замечание с точки зрения читателя касается оформления заглавных слов. Заглавные и строчные буквы при оформлении нарицательных и собственных имен существительных в позиции заглавного слова не различаются, что соответствует правилу оформления начала предложения. В данном случае при обилии трансформированных антропонимов и других имен собственных в словаре (*Дездемонка* [ЛСІ-7: 57], *Зоокарпаття* ← **[зоо + За]карпаття** [ЛСІ-7: 84] и мн. др.) такое решение представляется не очень удобным. Возможно, имело бы смысл ориентироваться на практику этимологических словарей, где запись

апеллятивной лексемы в начале предложения, коим является словарная статья или ее часть, начинается со строчной буквы.

Очевидно, статус зафиксированных неологизмов может меняться, может уточняться их описание, но “несомненным является и тот факт, что с помощью таких словарей можно в деталях и нюансах писать и изучать «текущую» историю сообщества, историю, которую нельзя переписать” [СНУ 2012: 3].

Бібліографія

Буцева 2011

Буцева Т. Н., “О названии словарей новых слов русского языка в аспекте эволюции их содержания”, *Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского*, 2/6, 2011, 85–89.

——— 2015

Буцева Т. Н., “«Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х гг. XX в.» Тома 2, 3 (к выходу из печати)”, в: [СПЛ 2015: 32–33].

Віняр, Шпачук 1–2

Віняр Г. М., Шпачук Л. Р., *Словник новотворів української мови кінця XX століття*, 1–2, Кривий Ріг, 2000–2002.

Дмитриев 2015

Дмитриев Д. В., “Фасетное зонирование лексики в электронных словарях”, в: [СПЛ 2015: 64–65].

Калашник 2011

Калашник В. С., “Тверда вимова зубних приголосних перед [i] в сучасній українській мові (теоретичний та ортологічний аспекти)”, в: *Він же, Людина та образ у світі мови: вибрані статті*, Харків, 2011, 295–299.

Козулина 2015

Козулина Н. А., “О проекте толкового словаря новых эзотерических терминов”, в: [СПЛ 2015: 95–96].

Колоіз 2003

Колоіз Ж. В., *Тлумачно-словотвірний словник оказіоналізмів*, Кривий Ріг, 2003.

ЛСІ-1

Нелюба А., *Лексико-словотвірні інновації (1983–2003): Словник*, Харків, 2004.

ЛСІ-2

Нелюба А., Нелюба С. *Лексико-словотвірні інновації (2004–2006): Словник*, Харків, 2007.

ЛСІ-3

Коротич К., Лук'яненко С., Нелюба А., Нелюба С., Трифонов Р., *Лексико-словотвірні інновації (2007): Словник*, А. Нелюба, заг. ред., Харків, 2009.

ЛСІ-4

Нелюба А., Нелюба С., *Лексико-словотвірні інновації (2008–2009): Словник*, А. Нелюба, заг. ред., Харків, 2010.

ЛСІ-5

Нелюба А., Нелюба С., *Лексико-словотвірні інновації (2010–2011): Словник*, А. Нелюба, заг. ред., Харків, 2012.

ЛСІ-6

Нелюба А., Редько Є., *Лексико-словотвірні інновації (2012–2013): Словник*, А. Нелюба, заг. ред., Харків, 2014.

ЛСІ-7

НЕЛЮБА А., РЕДЬКО Є., *Лексико-словотвірні інновації (2014): Словник*, Харків, 2015.

МАЗУРИК 2002

МАЗУРИК Д., *Нове в українській лексиці. Словник-довідник*, Львів, 2002.

НИКОЛИНА 2007

НИКОЛИНА Н. А., “Сегментация слова в современных текстах”, в: А. Д. ШМЕЛЕВ, отв. ред., *Вопросы культуры речи*, 9, Москва, 2007, 217–226.

НОВІ 2010

БАЛОГ В. О., ЛОЗОВА Н. Є., ТИМЕНКО Л. О., ТИЩЕНКО О. М., *Нові й актуалізовані слова та значення: словникові матеріали (2002–2010)*, О. М. Тищенко, відп. ред., Київ, 2010.

НРЛ-77

КОТЕЛОВА Н. З., ПЕТУШКОВ В. П., ШТЕЙНСАПИР Ю. Е., ГЕРАСИМОВА Н. Г., *Новое в русской лексике. Словарные материалы-1977*, Н. З. Котелова, ред., Москва, 1980.

НРЛ-94

КОЗУЛИНА Н. А., АЛАТОРЦЕВА С. И., ДЕНИСЕНКО Ю. Ф., ЛЕВАШОВ Е. А., БУЦЕВА Т. Н., БОЯРКИНА В. Д., ХОЛОДОВА Е. П., *Новое в русской лексике. Словарные материалы-1994*, Ю. Ф. Денисенко, ред., С.-Петербург, 2006.

НСЗ-60

КОТЕЛОВА Н. З., СОРОКИН Ю. С., ред., *Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов*, Москва, 1971.

НСЗ-70

КОТЕЛОВА Н. З., ред., *Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов*, Москва, 1984.

НСЗ-80

ЛЕВАШОВ Е. А., ред., *Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 80-х годов*, С.-Петербург, 1997.

НСЗ-90

БУЦЕВА Т. Н., гл. ред., *Новые слова и значения: словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов XX века*, 1–3, С.-Петербург, 2009–2014.

НСЗ 2009

ТУРОВСЬКА Л. В., ВАСИЛЬКОВА Л. М., *Нові слова і значення. Словник*, Л. О. СИМОНЕНКО, відп. ред., Київ, 2009.

СНС 1995

КОТЕЛОВА Н. З., ред., *Словарь новых слов русского языка: Середина 50-х – середина 80-х годов*, С.-Петербург, 1995.

СНУ 2012

НЕЛЮБА А., *Словотворчість незалежної України. 1991–2011: Словник*, Харків, 2012.

СПЛ 2015

КРЫЛОВА О. Н., отв. ред., *Современные проблемы лексикографии: Материалы конференции*, С.-Петербург, 2015.

СТИШОВ 2003

СТИШОВ О. А., *Українська лексика кінця XX століття (на матеріалі мови засобів масової інформації)*, Київ, 2003.

ЯНУРИК 2015

ЯНУРИК С., “Проблемы лексикографического представления нетранслитерированных новых англицизмов в современных русских словарях разного типа”, в: [СПЛ 2015: 206–208].

References

- Alatortseva S. I., Boyarkina V. D., Butseva T. N., Denisenko Yu. F., Kholodova E. P., Kozulina N. A., Levashov E. A., *Novoe v russkoi leksike. Slovarnye materialy-1994*, Yu. F. Denisenko, ed., St. Petersburg, 2006.
- Baloh V. O., Lozova N. Ie., Tymenko L. O., Tyshchenko O. M., *Novi i aktualizovani slova ta znachennia: slovnykovi materialy (2002–2010)*, O. M. Tyshchenko, ed., Kiev, 2010.
- Butseva T. N., “O nazvanii slovarei novykh slov russkogo iazyka v aspekte evoliutsii ikh soderzhaniia,” *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo*, 2/6, 2011, 85–89.
- Butseva T. N., ed., *Novye slova i znacheniia: slovar'-spravochnik po materialam pressy i literatury 90-kh godov XX veka*, 1–3, St. Petersburg, 2009–2014.
- Butseva T. N., “«Novye slova i znacheniia. Slovar'-spravochnik po materialam pressy i literatury 90-kh gg. XX v.» Toma 2, 3 (k vykhodu iz pechati),” in: O. N. Krylova, ed., *Sovremennye problemy leksikografii*, St. Petersburg, 2015, 32–33.
- Gerashimova N. G., Kotelova N. Z., Petushkov V. P., Shteinsapir Yu. E., *Novoe v russkoi leksike. Slovarnye materialy-1977*, N. Z. Kotelova, ed., Moscow, 1980.
- Dmitriev D. V., “Fasetnoe zonirovaniie leksiki v elektronnykh slovoriakh,” in: O. N. Krylova, ed., *Sovremennye problemy leksikografii*, St. Petersburg, 2015, 64–65.
- Janurik Sz., “Problemy leksikograficheskogo predstavleniia netransirirovannykh novykh anglistsizmov v sovremennykh russkikh slovoriakh raznogo tipa,” in: O. N. Krylova, ed., *Sovremennye problemy leksikografii*, St. Petersburg, 2015, 206–208.
- Kalashnyk V. S., *Liudyna ta obraz u sviti movy: vybrani statii*, Kharkov, 2011.
- Koloiz Zh. V., *Tlumachno-slovotvirnyi slovnyk okazionalizmiv*, Krivoi Rog, 2003.
- Korotych K., Luk'ianenko S., Neliuba A., Neliuba S., Tryfonov R., *Leksyko-slovotvirni innovatsii (2007): Slovnyk*, A. Neliuba, ed., Kharkov, 2009.
- Kotelova N. Z., ed., *Novye slova i znacheniia: Slovar'-spravochnik po materialam pressy i literatury 70-kh godov*, Moscow, 1984.
- Kotelova N. Z., ed., *Slovar' novykh slov russkogo iazyka: Seredina 50-kh – seredina 80-kh godov*, St. Petersburg, 1995.
- Kotelova N. Z., Sorokin Yu. S., eds., *Novye slova i znacheniia. Slovar'-spravochnik po materialam pressy i literatury 60-kh godov*, Moscow, 1971.
- Kozulina N. A., “O proekte tolkovogo slovaria novykh ezotericheskikh terminov,” in: O. N. Krylova, ed., *Sovremennye problemy leksikografii*, St. Petersburg, 2015, 95–96.
- Levashov E. A., ed., *Novye slova i znacheniia: Slovar'-spravochnik po materialam pressy i literatury 80-kh godov*, St. Petersburg, 1997.
- Mazuryk D., *Novye v ukrains'kii leksytsii. Slovnyk-dovidnyk*, Lviv, 2002.
- Neliuba A., *Leksyko-slovotvirni innovatsii (1983–2003): Slovnyk*, Kharkov, 2004.
- Neliuba A., *Slovotvorchist' nezaleznoi Ukraïny. 1991–2011: Slovnyk*, Kharkov, 2012.
- Neliuba A., Neliuba S., *Leksyko-slovotvirni innovatsii (2004–2006): Slovnyk*, Kharkov, 2007.
- Neliuba A., Neliuba S., *Leksyko-slovotvirni innovatsii (2008–2009): Slovnyk*, A. Neliuba, ed., Kharkov, 2010.
- Neliuba A., Neliuba S., *Leksyko-slovotvirni innovatsii (2010–2011): Slovnyk*, A. Neliuba, ed., Kharkov, 2012.
- Neliuba A., Red'ko Ie., *Leksyko-slovotvirni innovatsii (2012–2013): Slovnyk*, A. Neliuba, ed., Kharkov, 2014.
- Neliuba A., Red'ko Ie., *Leksyko-slovotvirni innovatsii (2014): Slovnyk*, Kharkov, 2015.
- Nikolina N. A., “Segmentatsiia slova v sovremennykh tekstakh,” in: A. D. Shmelev, ed., *Voprosy kul'tury rechi*, 9, Moscow, 2007, 217–226.
- Styshov O. A., *Ukrains'ka leksyka kintsia XX stolittia (na materialy movy zasobiv masovoï informatsii)*, Kiev, 2003.
- Turovs'ka L. V., Vasylykova L. M., *Novi slova i znachennia. Slovnyk*, L. O. Symonenko, ed., Kiev, 2009.
- Viniar H. M., Shpachuk L. R., *Slovnyk novotvoriv ukrains'koï movy kintsia XX stolittia*, 1–2, Krivoi Rog, 2000–2002.

Доц. Виктор Васильевич Шаповал, канд. филол. наук
 Московский городской педагогический университет,
 доцент кафедры методики преподавания истории
 129226 Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 4
 Россия/Russia
 liloro1@yandex.ru

Received on June 7, 2015

In memoriam



Памяти академика Милко Матичетова (1919–2014)

Светлана Михайловна Толстая
Институт славяноведения РАН,
Москва, Россия

In Memoriam of Milko Matičetov (1919–2014)

Svetlana M. Tolstaya
Institute for Slavic Studies of the
Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia



5 декабря 2014 года окончилась долгая, яркая жизнь выдающегося словенского ученого — этнолога, фольклориста и языковеда Милко Матичетова. Родившийся на крайнем западе словенской этнической территории, в области Крас, он с юных лет стал неутомимым исследователем народной культуры, работая сначала среди словенцев в Италии (особенно в области Резия), а затем и во многих краях Словении. Образование по специальности “Классическая и новая филология” Матичетов получил в университете Падуи, окончив его во время войны. Война не обошла его стороной: он примкнул к партизанам, стал танкистом и воевал в Далмации и Герцеговине. Еще в школьные годы Матичетов начал записывать словенские песни, сказки, предания, обычаи и публиковать их в рукописных

сборниках. В 1944 г. в люблянском журнале “Этнолог” вышла его первая собственно научная работа “Резьянская эпическая песня” (“Rezijanska pripovedna pesem”).

С 1945 по 1952 гг. Матичетов работал в Словенском этнографическом музее, изучая фольклор, материальную и духовную культуру разных (преимущественно западных) областей Словении. В 1952 г. он был принят на работу в Институт словенской этнографии Словенской академии наук, где проработал до самого ухода на пенсию. Здесь были созданы самые значительные его труды, здесь под руководством академика И. Графенауэра им была написана и успешно защищена в 1955 г. докторская диссертация “Сожженный и возродившийся человек” (“Sežgani in prerojeni človek”), здесь же была написана его известная работа, посвященная народным легендам о короле Матьяше, и многие другие труды. Матичетов неустанно занимался полевой работой, искал и находил талантливых народных рассказчиков и певцов, годами поддерживал с ними связь, публиковал записанные от них тексты и очерки о них. Его стараниями был собран богатый фольклорный материал, вписавший словенскую традицию в контекст мирового фольклора; целый ряд сюжетов был впервые зафиксирован им в словенской традиции и введен в международный фольклорный каталог. Матичетова интересовали прежде всего прозаические жанры (сказки, легенды, предания), но он занимался также песнями, пословицами, загадками, заговорами, обрядовым фольклором, народной демонологией. В своих работах он следовал принципам финской школы, сочетая исторический подход с географическим; его волновали проблемы полевой фольклористики, методы записи, публикации и текстологии фольклорных текстов, вопросы популяризации народного творчества — им была создана серия телевизионных фильмов о народных сказочниках.

Помимо филологической фольклористики, Матичетов занимался чисто этнографическими темами. В 1954 г. он разослал по всей Словении анкету с вопросами об обычае так называемого вторичного погребения и собрал уникальный по своей полноте и точности материал, который обобщил в обширной статье в “Словенском этнографе” (1955) под названием “Обмытые и завернутые в полотно черепа у словенцев” (“Umita in v prt zavita lobanja pri Slovencih”). Эта работа существенно дополнила имевшиеся данные об этом обычае из других регионов Балкан. Он писал также об обрядах вызывания дождя, приготовлении рождественского хлеба, пасхальных яиц и др. Ряд его публикаций посвящен вопросу этногенеза словенцев.

Немалое внимание уделял М. Матичетов лингвистическим темам: его интересовали обрядовая терминология, лексика и этимология, грамматика и орфография, ономастика (топонимия и антропонимия), народная астрономия (названия звезд и созвездий), которой он посвятил целую серию статей, мифологическая лексика и др. В одной из ранних работ (1955) он дал глубокий этнолингвистический анализ диалектных названий рождественского хлеба (*poprtnik*, *poprtnjak*, *podprtnik*), связав их с обычаем покрывать хлеб на праздничном столе скатертью (*prt*). Многие темы разрабатывались им комплексно, в широкой лингвокультурологической перспективе. Одним из увлечений последнего периода жизни ученого был образ стрекошущего жучка — цикады или сверчка (*škržad*), его номинации в разных языках и диалектах, связанные с ним верования разных народов мира (от Древней Греции до Китая и Австралии), этнографические

сведения об употреблении цикад в пищу, поэтический образ цикады, цикада в изобразительном искусстве и т. д. Этой теме посвящено не менее десяти публикаций Матичетова на рубеже веков.

Особое место в научном наследии М. Матичетова занимают его работы о языке и фольклоре Резии, региона со славянским населением в Италии, оторванного от метрополии и потому сохранившего множество архаичных черт словенского языка и культуры. В 1994 г. ему было присвоено звание почетного гражданина Резии. Этой областью Матичетов с энтузиазмом занимался с юных лет и до конца своих дней, опубликовал десятки статей и несколько книг, посвященных ей. Он записывал и издавал сказки о животных (“Zverinice iz Rezije” 1973, 2-е изд. 2010, 3-е изд. 2014), составил антологию резьянской лирики (“Rožice iz Rezije” 1972), резьянскую библиографию (“Bibliografija ragonata” 1981), публиковал статьи о народных рассказах и легендах, записал около 3000 фольклорных текстов. Помимо публикаций и исследований по резьянскому фольклору, он участвовал в подготовке к изданию резьянских материалов И. А. Бодуэна де Куртенэ, который вслед за И. И. Срезневским, открывшим Резию для славистов, посетил этот край в 1872 г. и не мог не заразиться резьянской темой. Бодуэн работал в Резии вплоть до середины 1890-х гг. и оставил бесценные полевые записи резьянской речи и этнографические материалы, которые хранятся в архиве Российской академии наук в Петербурге. Еще в середине 1960-х годов ХХ в. Н. И. Толстой опубликовал в Москве фрагмент “Резьянского словаря” Бодуэна де Куртенэ, после чего Словенская академия наук приняла решение подготовить этот словарь к изданию совместно с Академией наук СССР. С советской стороны руководителем проекта был назначен Н. И. Толстой, которому поручалась обработка рукописи Бодуэна и редакция русской части словаря, со словенской — М. Матичетов, который должен был дать перевод резьянских слов и примеров на словенский литературный язык и перевод заглавных слов на итальянский язык. Работа над этим изданием растянулась на полвека, на завершающем этапе в ней приняли большое участие А. Д. Дуличенко и П. Вайс. Словарь все еще не издан, хотя работа над ним завершена. Остается надеяться, что он все-таки увидит свет, и труд Бодуэна де Куртенэ станет доступен широкому кругу славистов. Более счастливой была судьба рукописных диалектных и этнографических материалов Бодуэна: их часть, оставшаяся неопубликованной, была подготовлена к печати Л. Спиноцци-Монай (Liliana Spinozzi Monai) и издана с комментариями М. Матичетова (Baudouin de Courtenay: *Materiali za južnoslovansko dialektologijo in etnografijo IV. Ljudska besedila v prozi in verzih, zbrana v Nadiških dolinah leta 1873*. Trst, 1988); см. также изданный Л. Спиноцци-Монай бодуэновский словарь терского диалекта (*Il Glosario del dialetto del Torre di Jan Baudouin de Courtenay*, Udine, San Pietroburgo, Ljubljana, 2009).

Научная деятельность М. Матичетова не ограничивалась Словенией. Он был членом многих международных обществ, участником крупных научных форумов и изданий в разных странах. В международном труде “Энциклопедия сказки” ему принадлежит разработка нескольких сюжетов (АТ 1910 “Медведь в упряжке” и АТ 1529 “Вор-осел”), а также статьи о фольклористах И. Графенауэре и М. Бошкович-Стулли. Множество статей о собирателях и исследователях словенского народного языка и фольклора — своих предшественниках и современниках (М. Мурко, К. Штрекеле, Я. Келемине, Й. Глонаре, М. ПлETERШНИКЕ,

Л. Кретценбахере, Н. Курете, В. Новаке и др.) — были опубликованы им в различных словенских и зарубежных журналах и сборниках.

Деятельность М. Матичетова на ниве словенской фольклористики и этнографии принесла ему заслуженное общественное признание: он стал лауреатом многих премий и обладателем словенских и международных почетных наград. В 1995 г. он был избран членом-корреспондентом, а в 2001 г. действительным членом Словенской академии наук и искусств.

М. Матичетов был одним из самых активных и авторитетных в Словении организаторов и популяризаторов науки, он был среди учредителей и редакторов журнала “Словенский этнограф” (с 1951 по 1962 гг.), с 1975 по 1985 гг. состоял главным редактором журнала “Traditiones”, участвовал в издании антологий фольклорных текстов (сказок и песен) и энциклопедий, читал лекции, давал интервью, постоянно откликаясь на работы своих словенских и зарубежных коллег, переводил работы иностранных авторов. Своими глубокими и разносторонними научными трудами, организационной и издательской деятельностью он поднял словенскую науку о народной культуре на новый уровень и сделал ее достоянием европейской и мировой научной традиции. Неоценимы его вклад в теорию и практику собирательской полевой работы и его роль в освоении и включении в научный оборот резьянского и фриульского фольклорного богатства. Своим научным энтузиазмом он заражал коллег и учеников, которые сохранят о нем благодарную память.

Библиография

- МАТИЧЕТОВ М., “Umita in v prt zavita lobanja pri Slovencih,” *Slovenski etnograf*, 8, 1955, 231–254.
- МАТИЧЕТОВ М., “Kralj Matjaž v luči novega slovenskega gradiva in novih raziskavanj,” v: *Razprave II. razreda SAZU*, 4, 1958: 101–156.
- МАТИЧЕТОВ М., *Sežgani in prerogeni človek. Der verbrannte und wiedergeborene Mensch* (= Dela II. razreda SAZU, 15, Inštitut za slovensko narodopisje, 4), Ljubljana, 1961.
- МАТИЧЕТОВ М., “Pri treh Boganjčarjih, ki znajo «lagati»,” *Slovenski etnograf*, 18–19, 1965–1966, 81–114.
- МАТИЧЕТОВ М., “Pregled ustnega slovstva Slovencev v Reziji. Referat za VI. mednarodni slavistični kongres v Pragi 1968,” *Slavistična revija*, 16, 1968, 203–229.
- МАТИЧЕТОВ М., “La leggenda di «Giosafat e Berlaam» a Resia, tipico esempio di tradizione discendente,” v: *Studi di letteratura popolare friulana*, 2, Udine: *Società filologica Friulana*, 1970, 32–64.
- МАТИЧЕТОВ М., KUMER Z., MERHAR B., VODUŠEK V., *Slovenske ljudske pesmi*, 1: *Pripovedne pesmi*, 1, Ljubljana, 1970.
- МАТИЧЕТОВ М., prev., prir., *Rožice iz Rezije [Ljudske lirične pesmi]*, Koper, Trst, Ljubljana, 1972.
- МАТИЧЕТОВ М., prev., ur., *Zverinice iz Rezije*, Ljubljana, Trst, 1973.
- МАТИЧЕТОВ М., “Zvezdna imena in izročila o zvezdah med Slovenci,” v: DOMINKO FR., ur., *Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike. = History reviews-science and technology*, 2, Ljubljana, 1974, 43–90.
- МАТИЧЕТОВ М., “Bedenice. Imena, pesniško in obredno izročilo o tem cvetju na Slovenskem in pri sosedih v hrvaški Istri,” *Traditiones*, 5–6 (1976/77), 1979, 277–300.
- МАТИЧЕТОВ М., *Resia. Bibliografia ragionata (1927–1979)*, Udine, 1981.

- MATIČETOV M., KUMER Z., MERHAR B., VODUŠEK V., *Slovenske ljudske pesmi*, 1: *Pripovedne pesmi*, 2, Ljubljana, 1981.
- MATIČETOV M., "Poesia d'autore nel dialetto sloveno della Resia," *La Battanta. (Fiume)*, 18 (63/64), 1982, 115–128.
- MATIČETOV M., "Pesmi o Marku (Knezu, Kraljeviču ipd.) na Slovenskem," *Traditiones*, 13, 1984, 49–58.
- MATIČETOV M., "Čudne navade za klicanje dežja. Z ognjem na vodi v Kotu," *Traditiones*, 13, 1984, 195–196.
- MATIČETOV M., "Prezrta objava devet ziljskih pesmi, z vtisi I. Sreznoveškega ob reju pod lipo, zbijanju sode ipd.," *Slavistična revija*, 32, Ljubljana, 1984, 337–355.
- MATIČETOV M., "O bajnih bitjih Slovencev s pristavkom o Kurentu," *Traditiones*, 14, 1985, 23–32.
- MATIČETOV M., "Jozafat in Berlaam v Reziji," *Trinkov koledar*, Gorica, Čedad, 1985, 122–157.
- MATIČETOV M., ur., STANKO VUK, *Ljubezenska pisma*, Trst, Ljubljana, 1986.
- MATIČETOV M., MAILLY A., BOLTE J., *Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie* (= II biancospino. Collana di studi e testi etnografici, 2), Gorizia, 1986.
- MATIČETOV M., ed., STANKO VUK, *Scritture d'amore*, Trieste, 1986.
- MATIČETOV M., "Po sledovih medveda s Križne gore. Mednarodni pravljčni motiv AT 1910 v hagiografiji, ikonografiji, literaturi in ustnem izročilu," *Loški razgledi*, 34, 1987, 163–200.
- MATIČETOV M., folk. komen., "Baudouin de Courtenay Jan Niecisław in Lilliana Spinozzi Monai," v: *Materiali za južnoslovansko dialektologijo in etnografijo IV. Ljudska besedila v prozi in verzih, zbrana v Nadiških dolinah leta 1873. = Materiali per la dialettologia e l'etnografia slava meridionale. Testi popolari in prosa e in versi raccolti in Val Natisone nel 1873*, Trst, 1988, [213]–238.
- MATIČETOV M., "О мифических существах у словенцев и специально о Куренте," v: Н. И. Толстой, отв. ред., *Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и методы*, Москва, 1989, 88–100.
- MATIČETOV M., ur., *Venetovanje. Prispevki k razmerju Veneti – Slovani*, Ljubljana, 1990.
- MATIČETOV M., DAPIT R., "Toponimi resiani in una stampa per liti della fine del Settecento," *Linguistica*, 34/2, 1994, 81–126.
- MATIČETOV M., "O Videnskem rokopisu (VR)," v: Е. Е. Левкиевская, отв. ред., *Славянские этюды. Сборник к юбилею С. М. Толстой*, Москва, 1999, 286–288.
- MATIČETOV M., "Škržadja pravda," *Fontana*, 29/30, 1999, 133–143.
- MATIČETOV M., "S škržadi od Korinta do Istre in k Vipavi – Soči – Nadiži. Semantične povezave," *Traditiones*, 33/1, 2004, 155–174.
- SPINOZZI MONAI L., *Il Glossario del dialetto del Torre di Jan Baudouin de Courtenay*, Udine, San Pietroburgo, Ljubljana 2009.

References

- Matičetov M., "Umita in v prt zavita lobanja pri Slovincih," *Slovenski etnograf*, 8, 1955, 231–254.
- Matičetov M., "Kralj Matjaž v luči novega slovenskega gradiva in novih raziskavanj," in: *Razprave II. razreda SAZU*, 4, 1958: 101–156.
- Matičetov M., *Sežgani in prerojeni človek. Der verbrannte und wiedergeborene Mensch* (= Dela II. razreda SAZU, 15, Institut za slovensko narodopisje, 4), Ljubljana, 1961.

- Matičetov M., "Pri treh Boganjčarjih, ki znajo «la-gati»," *Slovenski etnograf*, 18–19, 1965–1966, 81–114.
- Matičetov M., "Pregled ustnega slovstva Slovencev v Reziji. Referat za VI. mednarodni slavistični kongres v Pragi 1968," *Slavistična revija*, 16, 1968, 203–229.
- Matičetov M., "La leggenda di «Giosafat e Berlaam» a Resia, tipico esempio di tradizione discendente," in: *Studi di letteratura popolare friulana*, 2, Udine: Società filologica Friulana, 1970, 32–64.

Matičeto M., Kumer Z., Merhar B., Vodušek V., *Slovenske ljudske pesmi*, 1: *Pripovedne pesmi*, 1, Ljubljana, 1970.

Matičeto M., ed., *Rožice iz Rezije [Ljudske lirične pesmi]*, Koper, Trst, Ljubljana, 1972.

Matičeto M., ed., *Zverinice iz Rezije*, Ljubljana, Trst, 1973.

Matičeto M., "Zvezdna imena in izročila o zvezdah med Slovenci," in: Dominko Fr., ur., *Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike. = History reviews-science and technology*, 2, Ljubljana, 1974, 43–90.

Matičeto M., "Bedenice. Imena, pesniško in obredno izročilo o tem cvetju na Slovenskem in pri sosedih v hrvaški Istri," *Traditiones*, 5–6 (1976/77), 1979, 277–300.

Matičeto M., *Resia. Bibliografija ragonata* (1927–1979), Udine, 1981.

Matičeto M., Kumer Z., Merhar B., Vodušek V., eds., *Slovenske ljudske pesmi*, 1: *Pripovedne pesmi*, 2, Ljubljana, 1981.

Matičeto M., "Poesia d'autore nel dialetto sloveno della Resia," *La Battanta. (Fiume)*, 18 (63/64), 1982, 115–128.

Matičeto M., "Pesmi o Marku (Knezu, Kraljeviču ipd.) na Slovenskem," *Traditiones*, 13, 1984, 49–58.

Matičeto M., "Čudne navade za klicanje dežja. Z ognjem na vodi v Kotu," *Traditiones*, 13, 1984, 195–196.

Matičeto M., "Prezrta objava devet ziljskih pesmi, z vtisi I. Sreznoveškega ob reju pod lipo, zbijanju soda ipd.," *Slavistična revija*, 32, Ljubljana, 1984, 337–355.

Matičeto M., "O bajnih bitjih Slovencev s pristavkom o Kurentu," *Traditiones*, 14, 1985, 23–32.

Matičeto M., "Jozafat in Berlaam v Reziji," *Trin-kov koledar*, Gorica, Cividale del Friuli, 1985, 122–157.

Matičeto M., ed., Stanko Vuk, *Ljubezenska pisma*, Trst, Ljubljana, 1986.

Matičeto M., Maily A., Bolte J., eds., *Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie* (= II biancospino. Collana di studi e testi etnografici, 2), Gorizia, 1986.

Matičeto M., ed., Stanko Vuk, *Scritture d'amore*, Trieste, 1986.

Matičeto M., "Po sledovih medveda s Križne gore. Mednarodni pravljичni motiv AT 1910 v hagiografiji, ikonografiji, literaturi in ustnem izročilu," *Loški razgledi*, 34, 1987, 163–200.

Matičeto M., comment., "Baudouin de Courtenay Jan Niecisław in Liliana Spinozzi Monai," in: *Materiali za južnoslovansko dialektologijo in etnografijo IV. Ljudska besedila v prozi in verzih, zbrana v Nadiških dolinah leta 1873. = Materiali per la dialettologia e l'etnografia slava meridionale. Testi popolari in prosa e in versi raccolti in Val Natisone nel 1873*, Trst, 1988, [213]–238.

Matičeto M., "O mificheskikh sushchestvakh u sloventsev i spetsial'no o Kurente," in: N. I. Tolstoy, ed., *Slavianskii i balkanskii fol'klor. Rekonstruktsiia drevnei slavianskoi dukhovnoi kul'tury: istochniki i metody*, Moscow, 1989, 88–100.

Matičeto M., ed., *Venetovanje. Prispevki k razmerju Veneti – Slovani*, Ljubljana, 1990.

Matičeto M., Dapit R., "Toponimi resiani in una stampa per liti della fine del Settecento," *Linguistica*, 34/2, 1994, 81–126.

Matičeto M., "O Videnskem rokopisu (VR)," in: E. E. Levkieskaya, ed., *Slavianskie etiudy. Sbornik k iubileiu S. M. Tolstoi*, Moscow, 1999, 286–288.

Matičeto M., "Škržadja pravda," *Fontana*, 29/30, 1999, 133–143.

Matičeto M., "S škržadi od Korinta do Istre in k Vipavi – Soči – Nadiži. Semantične povezave," *Traditiones*, 33/1, 2004, 155–174.

Spinozzi Monai L., *Il Glossario del dialetto del Torre di Jan Baudouin de Courtenay*, Udine, San Pietroburgo, Ljubljana, 2009.

Светлана Михайловна Толстая, доктор филол. наук

Институт славяноведения РАН,

зав. Отделом этнолингвистики и фольклора

119991, Москва, Ленинский проспект, 32 А

Россия/Russia

smtolstaya@yandex.ru

Фотография с сайта generacije.zrc-sazu.si

Received on March 5, 2015

Периодическое издание

SLOVĚNE = СЛОВѢНЕ
INTERNATIONAL JOURNAL OF SLAVIC STUDIES
Vol. 4. № 2

Институт славяноведения РАН, 2015

Подписано в печать 28 • XII • 2015 г. Формат 70 x 100 1/16.
Объём 17,25 печ. л. Бумага офсетная 80 г/м². Тираж 300 экз.
Институт славяноведения РАН. 119991, Москва, Ленин-
ский просп., д. 32-А. Отпечатано в типографии "Белый
ветер". Москва, ул. Щипок, д. 28, <http://wwprint.ru/>